

ЕВГЕНИЙ КАРНОВИЧ

ЛЮБОВЬ  
И КОРОНА

Любовь и корона //Панорама, Москва, 1995

ISBN: 5-85220-480-3

FB2: Ego <ego1978@mail.ru >, 28 December 2007, version 1.0

UUID: 5779ad16-fe30-102a-9d2a-1f07c3bd69d8

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

# Евгений Петрович Карнович

## Любовь и корона

Роман весьма известного до революции прозаика, историка, публициста Евгения Петровича Карновича (1824 – 1885) рассказывает о дворцовых переворотах 1740 – 1741 годов в России. Главное внимание уделяет автор личности «правительницы» Анны Леопольдовны, оказавшейся на российском троне после смерти Анны Иоановны.

Роман печатается по изданию 1879 года.

# Содержание

I	0006
II	0023
III	0031
IV	0043
V	0059
VI	0076
VII	0089
VIII	0103
IX	0118
X	0132
XI	0144
XII	0158
XIII	0173
XIV	0187
XV	0197
XVI	0212
XVII	0226
XVIII	0239
XIX	0254
XX	0267
XXI	0277
XXII	0291
XXIII	0303
XXIV	0315
XXV	0329

XXVI . . . . .	0343
XXVII . . . . .	0358
XXVIII . . . . .	0373
XXIX . . . . .	0385
XXX . . . . .	0400
XXXI . . . . .	0410
XXXII . . . . .	0422
XXXIII . . . . .	0438
XXXIV . . . . .	0451
XXXV . . . . .	0464
XXXVI . . . . .	0478
XXXVII . . . . .	0493
XXXVIII . . . . .	0508
XXXIX . . . . .	0523
XL . . . . .	0536
XLI . . . . .	0550
XLII . . . . .	0566
XLIII . . . . .	0580
XLIV . . . . .	0594
XLV . . . . .	0607
XLVI . . . . .	0621
УЗОРЫ РОМАНИСТА (Взгляд Евгения Карновича на историю) . . . . .	0635

**Евгений Петрович Карнович**  
**Любовь и корона**  
*Исторический роман из*  
*времен императрицы Анны*  
*Иоановны и регентства*  
*принцессы Анны*  
*Леопольдовны.*

Слишком сто сорок лет тому назад, по дороге между Стрельною и Петергофом, в местности в ту пору еще глухой и безлюдной, стоял небольшой деревянный дом. Он был расположен на возвышении, от которого шел пологий спуск, поросший густой травой и примыкавший к красивому, обширному лугу, омываемому взморьем. С виду дом этот не отличался ничем особенным от обыкновенных городских и деревенских помещичьих построек того времени. Около него не было видно ни следов искусства, ни затейливой отделки окружавшей его дикой местности, так как владельцам дома, по суровости северного климата, казались странными и даже смешными какие-либо затраты на внешние, только летние украшения их местопребывания. Зато внутреннее расположение, отделка и убранство этого дома говорили о том, что в нем жили люди, привыкшие к большим удобствам домашнего быта, нежели те, с какими были знакомы тогдашние русские, хотя бы и владевшие значительным состоянием. И в са-

мом деле, в этот удобно устроенный, небольшой дом переселялись, для житья на короткое петербургское лето, супруги-иностранцы, постоянно проживавшие в Петербурге. Пользоваться летом чистым загородным воздухом им, впрочем, особенной надобности не представлялось, так как и сама столица была еще в ту пору, собственно, большой деревней, и в ней легко было найти такие околотки, в которых можно было наслаждаться и сельским простором, и ничем не стесняемым привольем. Не этого, впрочем, желали обитатели загородного дома, нами описанного: они искали полного уединения, надеясь совершенно избавиться от стеснений, неизбежно сопровождающих пребывание в обществе и в особенности при дворе. Более же всего им хотелось отделаться хоть на некоторое время от непрерывного докучливого посещения разных непрошенных и неожиданных гостей, так как в ту пору, к которой относится наш рассказ, радушный прием знакомых каждый день считался одним из главных условий общественной жизни в Петербурге.

Загородный дом, о котором идет речь, был

уютен и вместителен; в нижнем его этаже были небольшая зала, две приемные, спальни — одна для хозяев и четыре на случай приезда гостей из города. Кабинет домовладельца помещался в мезонине; столы в кабинете были завалены бумагами, письмами, счетами и конторскими книгами, а передняя была заставлена шкапами и ящиками, наполненными книгами и ландкартами. Все это свидетельствовало о деловых и разнообразных занятиях хозяина дома. Хотя убранство дома и не отличалось вовсе роскошью, но зато порядок и чистоту можно было назвать образцовыми, и эти признаки домашнего благоустройства составляли резкую противоположность тому, что встречалось обыкновенно в домах тогдашних даже самых богатых и знатных петербургских бар.

В расстоянии верст семи от этого дома был Петергоф, где в те годы двор проводил большую часть лета. В Петергофе и тогда был уже большой сад с великолепными фонтанами и водометами; но дворец представлял невзрачное здание с низкими и маленькими комнатами, в которых, впрочем, было много хоро-



ших, но испортившихся картин, вследствие небрежного за ними присмотра. Кроме дворца, в Петергофе были уже построены два хорошеньких домика, называвшиеся Марли и Монплеизир; этот последний был отделан еще Петром Великим в голландском вкусе; а на берегу канала, проведенного от дворца к взморью, стояло несколько домиков, занимаемых на лето лицами, бывшими близкими ко двору.

Неотдаленность двора не особенно, впрочем, беспокоила наших дачников, желавших уединиться от большого света. Государыня проводила время в Петергофе на деревенский образец, и потому ежедневных собраний у нее в эту пору не было, а давались только, да и то изредка, празднества по какому-нибудь особенному торжественному случаю.

Стоял жаркий июньский день, и хозяйка загородного дома, женщина лет тридцати пяти, не красавица собою, но с приятным и умным лицом британского типа, видимо, поджидала к себе кого-то в гости. По временам она выглядывала в растворенное окно по направлению дороги к Петергофу и, завидев

ехавший оттуда большой экипаж, вышла на крыльцо, чтобы встретить подъезжавших гостей. Спустя немного времени, к крыльцу подъехала тяжелая громадная с зеркальными стеклами карета, окрашенная желтовато-золотистой краской. На ярком фоне этой краски были рукой искусного живописца изображены зелень, цветы, виноградные листья и гроздь, арабески и купидоны, а на дверцах кареты виднелись большие черные двуглавые орлы. Вдобавок к этим геральдическим украшениям и зеленые с золотым галуном ливреи двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, указывали, что приехавшая с такой обстановкой из Петергофа гостья занимала не последнее место в придворном штате императрицы Анны Иоановны.

Проворно соскочившие с запяток гайдуки высадили из кареты довольно уже пожилую даму, отличавшуюся величавой осанкой и сохранившую еще следы прежней, по всей вероятности, замечательной красоты. Несмотря на летний зной и на загородную поездку, приехавшая гостья, придерживаясь правил тогдашнего придворного этикета, была одета

по-городскому. На ней было тяжелое шелковое платье, обложенное по корсажу и по подолу широким золотым позументом; волосы ее, обращенные в высокую модную прическу, были напудрены. В руке, обтянутой лайковой перчаткой с длинной шелковой бахромой, она держала огромный веер.

Хозяйка дома приняла знатную гостью не с холодным официальным почетом, но с тем радушным дружеским уважением, каким обыкновенно пользуются люди, внушающие к себе расположение своими собственными личными качествами.

После обычных приветствий и расспросов гостыи о муже хозяйки дома, – который, как оказалось, уехал еще со вчерашнего вечера в город по своим делам и еще не возвращался оттуда, – между хозяйкой и гостьей начался, частью на английском, частью на французском языке, обычный и в ту пору разговор о погоде и знакомых. Разговор обо всем этом стал, по-видимому, истощаться, когда хозяйка обратилась к своей гостье с вопросом:

– А что же подельывает ваша принцесса? – сказала хозяйка.

– Моя принцесса? – переспросила гостья, боязливо осматриваясь кругом.

– Да, – не без некоторой настойчивости подтвердила хозяйка.

– Она... – замялась приезжая дама.

– Извините меня за этот вопрос, но я обращаюсь к вам с ним не из одного пустого любопытства. Я понимаю очень хорошо, что вы затрудняетесь в обществе рассказывать о том, что делается у вас при дворе... Здесь страна сильно развитого шпионства, и осторожность ваша вполне благоразумна, – сказала хозяйка, вставая с кресла и заглядывая в смежную комнату, как будто опасаясь, нет ли там какого-нибудь свидетеля их разговора, хотя, как казалось, уже тот язык, на котором они вели его, достаточно мог обеспечивать собеседниц от подслушивания их речей агентом тайной канцелярии.

– По моей привязанности и дружбе к вам, – продолжала хозяйка, садясь на прежнее место, – я хотела даже нарочно приехать к вам в Петергоф, но боялась возбудить подозрение и подать повод к пустым толкам. Я хотела видиться с вами, чтобы передать вам об одном

дошедшем до меня слухе, выдуманном, конечно, злыми языками...

– О каком? – встрепенувшись, спросила гостья.

– Говорят, граф Линар...

– Граф Линар?.. О, это пустая детская забава. Надобно чем-нибудь развлечь бедную девушку. Вы знаете, миледи, очень хорошо всю обстановку здешнего двора, тяжелый и суровый нрав императрицы, подозрительность герцога и, конечно, имеете общее понятие о характере моей воспитанницы. Ее надобно чем-нибудь оживить в те годы, когда грезы и мечты начинают тревожить воображение девушки. Мы сами женщины и должны помнить наше прошлое. Принцесса постоянно грустит, скучает, задумывается, и я боюсь, что характер ее совершенно испортится, а между тем, кто знает, – добавила гостья, еще более понизив голос, – какой высокий жребий ожидает ее и, быть может, даже в недалеком будущем... Здоровье императрицы, говоря между нами, несмотря на ее могучую натуру, стало не слишком надежно. Об этом, конечно, не позволяют говорить теперь и что она была

больна – о том объявят разве только после ее кончины... Но откровенность за откровенность; меня чрезвычайно удивляет, откуда вы могли узнать то, что я считаю непроницаемой тайной, скажите, от кого вы слышали насчет графа Линара...

– Доверяя вам вполне, я не буду делать из моего ответа на ваш вопрос никакой тайны перед вами. О том, что принцесса Анна с некоторого времени занята графом Линаром, или, сказать прямее, страстно влюблена в него, говорил мне вчера мой муж и поручил мне поскорее передать вам об этом слухе, дошедшем до него совершенно случайно.

– О, милый и любезный баронет! Недаром же он слывет в Петербурге самым сметливым и проницательным дипломатом. От наблюдений его не ускользают даже сердечные дела, имеющие, впрочем, иной раз большое влияние и на политические события. Но «un homme prevenu en vaut deux», говорят его соотечественники, и это в большей части случаев бывает совершенно верно. Я очень благодарна баронету за его внимание и за откровенность, но посудите сами, миледи, о моем

затруднительном положении. Я иностранка без всяких личных и родственных связей при здешнем дворе, попавшая случайно в наставницы и руководительницы, быть может, будущей русской самодержицы. Я волей-неволей поставлена в необходимость угождать ей, заискивать ее расположение, ее дружбу, и вот почему, с моей стороны, приходится допускать некоторую, хотя, по-видимому, и не слишком уместную снисходительность. Впрочем, в настоящем случае, скажу вам, миледи, нет решительно ничего серьезного и не может быть ничего опасного для принцессы. Любовь ее к графу Линару не более как пустая шалость, как маленькое развлечение для бедной девушки, которую хотят выдать замуж насильно не только за нелюбимого, но даже за презираемого ею человека...

– Да, этот брак, как кажется, не предвещает ничего хорошего в будущем. Теперь принцесса еще очень робка, но нельзя сказать, что из нее будет потом; нынешнее же ее положение весьма незавидно. Она прежде всего жертва политических соображений и холодных расчетов, которые, однако, как известно, не все-

гда благополучно сводятся к концу. Принцесса живет во дворце императрицы, на правах родной дочери; на нее смотрят теперь, как на наследницу русского императорского престола. Какая великая будущность для скромной немецкой принцессы! Но в то же время, как сурово обходятся с ней, а между тем она теперь уже в таком возрасте, что могла бы пользоваться некоторой свободой и заявить о себе чем-нибудь, тем более что, благодаря вам, ее воспитывали с большой заботой. Жаль, впрочем, что в ней нет ни особенной красоты, ни грации и что до сих пор она не выказала никакого блестящего качества.

– Это справедливо, но зато в сущности принцесса – доброе создание, хотя, говоря по правде, она вовсе и не рождена для короны. Она, кажется, была бы гораздо счастливее в скромной обстановке с человеком, которому предалась бы от всего сердца. Какая, однако, резкая разница между ею и цесаревной Елизаветой...

– Что за прелесть Елизавета! – почти вскрикнула в восторге хозяйка. – Вот красавица, так красавица: бела необыкновенно, пре-



красные волосы, большие и живые глаза, хорошенький ротик, зубы как жемчуг. Хотя она, как кажется, и расположена к полноте, но зато как стройна она теперь! Как хорошо она танцует! Я никогда и нигде еще не видела, чтобы какая-либо из женщин могла сравниться с нею в ловкости и грациозности. Образованием ее также, по-видимому, не пренебрегли: она говорит по-французски, по-итальянски и по-немецки. А какой у нее веселый характер, как она обходится с каждым и ласково, и вежливо, и как она ненавидит все натянутые придворные церемонии...

– Да, она очаровательная женщина, но я думаю, что на такой хорошенькой и ветреной головке едва ли долго удержался бы тяжелый царский венец, – заметила гостя, отрицательно покачивая головой.

– О, ваша принцесса держит себя совсем иначе: она не по летам степенна, говорит вообще мало и, как мне передавали, никогда будто бы не смеется. Это мне кажется, впрочем, неестественным в такой молодой девушке и происходит, по моему мнению, – прошу извинить, я, вероятно, ошибаюсь, – скорее от

тупости, нежели от рассудительности.

– В этом случае я с вами не совсем согласна, миледи, – вежливо возразила гостья. – Принцесса Анна в свои годы довольно умна, но только по характеру, несмотря на ее серьезный вид, она еще совершенный ребенок: она вспыльчива, капризна и, главное, изумительно беспечна. От этих недостатков теперь едва ли возможно отучить ее, тем более что все обстоятельства ее жизни до сих пор складывались так, что могли развить в ней скорее дурные стороны, нежели хорошие качества. Насколько я могла убедиться, в ней есть одна отличительная черта: она под равнодушной, холодной наружностью скрывает сердце, способное пламенно любить. Покойная герцогиня Макленбургская много виновата в том, что в малолетство своей дочери не заботилась о ее воспитании, а направить ее в ту пору на хорошую дорогу было бы не слишком трудно. В ней все-таки есть много хороших задатков. Наружность ее, правда, не отличается особенной красотой, но зато она чрезвычайно статна, и редко можно встретить девушку с такой гибкой и тонкой талией. Заметьте, что она во-

обще небрежна в своем наряде, и для нее надеть корсет и причесать волосы по моде – истинное мучение. Я с ней постоянно ссорюсь из-за этого. Скажу еще вам, что некоторые, как, например, молодой граф Миних, находят ее даже красавицей, но зато многим не нравится ее всегда задумчивый и печальный вид, а у нас в Германии существует поверье, что такое постоянное выражение лица бывает предвестником бедственной жизни. Что будет дальше – угадать трудно, но теперь мне жаль мою бедненькую принцессу, и вот почему, сказать между нами, я не препятствую ее невинным письменным сношениям с графом Линаром. Я делаю вид, будто ничего не знаю. Они начались без всякого моего участия, и те практические соображения, о которых я вам говорила прежде, заставляют меня не ссориться с принцессой. Притом как же и поступить мне: не явиться же к императрице или к герцогу в качестве доносчицы на принцессу?.. Наконец, я имею в виду, что она скоро выйдет замуж и тогда, как это обыкновенно бывает, легко забудет нынешнюю любовь. Я пыталась недавно разговариваться с государыней о неже-

лании принцессы вступить в предполагаемый брак, но она холодно и резко отклонила этот разговор, приведя какую-то русскую поговорку, смысл которой: стерпится – слюбится.

Во время этого разговора послышался перед домом шум подъезжавшего экипажа. Хозяйка взглянула в окно.

– А вот и мой муж возвратился из города, – сказала она, – он будет очень рад, что застал вас еще здесь.

Приведя в порядок свой туалет, потерпевший несколько в дороге, баронет появился в гостиной. Он был щеголеватым, красивым мужчиной средних лет, его наружность, а также живость и бойкость его манер обнаруживали его французское происхождение. Наговорив гостье разных почтительных любезностей, он принялся передавать ей только что слышанные им городские новости, затем заговорил с ней о политических делах и о своих коммерческих операциях. То серьезная, то шутливая беседа хозяев с гостьей длилась довольно долго. Проводив гостью, баронет сказал жене, что ему нужно приготовить к зав-

трашнему дню несколько депеш, и предложил ей, не захочет ли она отправить с ними и свои письма. Затем он пошел наверх в свой кабинет и засел там за своими бумагами, а жена его принялась писать письмо к своей лондонской приятельнице. В письме этом были между прочим следующие строки:

«Госпожа Адеркас, гувернантка принцессы Анны, родилась в Пруссии и осталась вдовой после генерала, который, кажется, был родом француз. Она была с ним во Франции, в Германии и в Испании. Она очень хороша собою, хотя уже не молода, и обогатила свой природный ум чтением. Так как она долго жила при разных дворах, то ее знакомства искали лица всевозможных званий, что и развило в ней умственные способности и суждения. Разговор ее может нравиться и принцессе, и жене торговца, и каждая из них будет удовлетворена ее беседой. В частном разговоре она никогда не забывает придворной вежливости, а при дворе – свободы частного разговора; в беседе она, как кажется, всегда ищет случая научиться чему-нибудь от тех, с кем разговаривает. Я думаю, однако, что найдется очень ма-

ло лиц, которые сами не научились бы от нее чему-нибудь. Самые приятные часы с тех пор, как я живу в Петербурге, я провела с нею, хотя обязанности ее не позволяют мне пользоваться ее беседой так часто, как я желала бы, но когда это случается, то я провожу время и приятно, и поучительно».

Письмо это в особом конверте было вложено в большой пакет, на котором значилось, что он посылается от баронета Рондо, английского резидента в Петербурге.

К началу августа императрица Анна Иоановна со своим малочисленным двором переехала по обыкновению в Петербург, в так называемый Летний дворец, чтобы там провести конец теплого времени года. Летний дворец был построен в 1711 г. Петром Великим, в углу, образуемом Летним садом и Фонтанкой. Почти до сих пор он сохранился в своем первоначальном виде. По случаю празднества бракосочетания герцога Голштинского с цесаревной Анной Петровной, при Екатерине I, рядом с этим Летним дворцом была выстроена большая деревянная галерея с четырьмя залами по бокам. Галерея эта по приказанию императрицы Анны Иоановны была сломана в 1731 году, и на ее месте выстроили новый деревянный дворец, очень плохой архитектуры, существовавший до воцарения Елизаветы Петровны.

Наступила осень, и императрица переехала на зимнее житье. Прежний каменный двухэтажный дворец, находившийся на берегу Невы на углу Зимней канавы и Большой

Миллионной, с его пристройками на том месте, где ныне находится Эрмитаж, казался Анне Ивановне и тесным, и неудобным. Поэтому она для зимнего своего пребывания выбрала в 1732 году обширный дом адмирала графа Апраксина, подаренный им в 1728 году императору Петру II и стоявший почти на том же месте, где ныне находится Зимний дворец.

Живя в городе, императрица каждый день в 8 часов утра была уже на ногах и, окончив свой утренний туалет, начинала с 9 часов принимать своих министров или у себя в кабинете или в манеже, к которому приучил ее Бирон, страстный охотник до верховой езды, отлично обучавший самых непокорных коней.

Было пасмурное ноябрьское утро, и свечи еще горели в покоях императрицы, когда к ней с докладом явился второй кабинет-министр граф Андрей Иванович Остерман. Несмотря на любовь императрицы к роскошной одежде, министр приехал к государыне одетым крайне неряшливо, в полинялом кафтане какого-то светло-бурого цвета, в жабо не первой белизны, в плохо напудренном и на-



бок надетом парике, в грязноватых чулках и поистоптанных башмаках. Государыня, зная скупость Остермана, снисходительно смотрела на такое отступление от правил придворного этикета, требовавшего изящества и порядка в одежде.

– Ну что, Андрей Иванович, – сказала ему императрица, покончив с ним разговор о подписанных ею бумагах, – слава Богу, дело наше устроилось: подождем еще немного, да и свадьбу сыграем. Слишком скоро покончить нельзя. Готовила я Аннушке приданое давно, а все-таки оказывается, что нужен был год, чтобы выдать ее замуж, как следует выдать богатую невесту. Да и теперь еще кое-чего не успели приготовить в Париже. Спишись-ка об этом с князем Кантемиром, да пусть он побольше закупит перчаток, да чулков и мне, и невесте. Праздники будут у нас большие. Кажись, я и приказывала тебе прошлый раз об этом?..

– Я уже и исполнил повеление вашего величества, и мне остается только радоваться, что Бог благословил намерения ваши.

– Помню я, Андрей Иванович, как ты и стар-

ший Левенвольд, когда вы узнали, что я ни за что не хочу второй раз выходить замуж, стали заговаривать со мной о необходимости унаследования престола.

– Тогдашние обстоятельства, ваше величество, требовали этого безотлагательно...

– Правда твоя, правда, – густым голосом, почти что басом проговорила Анна Иоановна. – Ведь вот поди, кажись, какое легкое дело выдать замуж племянницу, да и она не бесприданница какая-нибудь, и дети бы от брака с нею хорошо устроены были, а сколько, однако, нам пришлось хлопотать.

– Различные инфлуенции и конъюнктуры европейских дворов много тому препятствовали, – заметил с глубокомысленным видом Остерман.

– То-то и есть, а все устроилось бы гораздо легче, если бы я Аннушку прямо объявила моей наследницей. Да ты и Левенвольд отклонили меня от этого.

– К сему, ваше величество, побуждало нас искреннее желание блага России... Несмотря на усердные моления верноподданных, жизнь царей в руках Господних, и если бы, от

чего Боже сохрани, ее высочество еще безбрачная неожиданно сделалась преемницей вашей, то, не говоря о том, что на российском престоле не утвердилось бы мужское поколение, цесаревна Елизавета...

– Знаю, что ты мне хочешь сказать, Андрей Иванович, – прервала императрица, нахмутив свои густые брови.

– Кроме того, отец принцессы...

– Этот старый негодник забрался бы к нам и начал бы хозяйничать по-своему...

– Так точно, ваше величество. Притом принцесса Анна Леопольдовна, объявленная лично наследницей... – проговорил, заминаясь, министр.

– Небось, зазналась бы передо мной?.. Нет, Андрей Иванович, никогда бы этому не быть... Плохо, видно, вы еще меня знаете, – проговорила императрица и, выпрямившись во весь свой огромный рост, взглянула суровыми глазами на оторопевшего Остермана. – Все это пустяки! Никому баловаться и своевольничать я не позволю, – добавила она твердым голосом, погрозив пальцем. – При дворе и в городе, чего доброго, пожалуй, иное

думают и толкуют теперь себе под нос, что вот, мол, не захотела принцесса пойти замуж за принца Курляндского – и не пошла, и тетка ничего с нею поделать не могла...

Остерман, очень хорошо знавший истинную причину нерасположения императрицы к этому браку, поспешил льстиво заметить, что в этом случае высочайшая премудрость ее величества была лучшей руководительницей.

– А сказать тебе по правде, – начала императрица ласковым тоном, – ведь и настоящий-то жених не ахти какой. Навязал нам его римский император; захотел получше устроить своего племянника, и не отослала я назад его в неметчину потому только, что не хотела вздорить с венским двором, а то давным бы давно с глаз моих его прогнала. Неказист он больно, и говорю я близким ко мне, как ты, людям без всякой утайки: принц Антон также мало мне нравится, как и своей невесте, да что будешь делать? – высокие особы не всегда по склонности браком соединяются. Вот хоть бы я и сама: покойный дядя мой Петр Алексич, – царство ему небесное, – выдал меня за

герцога, не спрося меня, мил ли мне жених или нет. А все же я охотно пошла за него. Горемычное житье было наше, когда мы после царя-родителя сиротами остались. Брат твой у нас учителем был, и он все хорошо знать должен. Кто только нас не обижал тогда, и надлежащих нам по рождению титулов даже не давали, а звали попросту Иоановными. Да и во вдовстве моем разве мало я всякого горя и принижения натерпелась...

Императрица тяжело вздохнула и немного призадумалась. В памяти ее быстро ожили те дни, когда она, пленившись блестящим Морицем Саксонским, с такой радостью готова была отдать ему свое сердце, свободное еще от полновластного владычества Бирона.

– Много, много в жизни своей я натерпелась, – начала она. – Бывало, приеду сюда из Митавы, так словно какая-нибудь челобитница из подлого народа; то к светлейшему князю Александру Данилычу, то к другим знатым персонам ходишь, чтобы какую-нибудь тысчонку рублевиков выпросить: да и ту с попреками неохотно давали... А вот как посмотришь, то не только все хорошо обошлось, но

еще и самодержавствовать мне Господь Бог привел.

– Он взыскал ваше величество своею милостью для славы и счастья российского отечества, – подхватил Остерман, низко склоняясь перед императрицей.

– Устал ты, Андрей Иванович, поезжай домой да отдохни.

– С рабским моим усердием на службе все-милостивейшей моей государыни никакой усталости никогда не чувствую...

– Спасибо тебе за твою службу...

Остерман хотел было стать на колени, но ноги его дрожали, и он испустил тихий, сдержанный, быть может, и притворный стон.

– Не нужно, не нужно, – сказала императрица и протянула ему свою большую руку, которую Остерман поцеловал с благоговением.

Анна Иоановна милостиво кивнула ему головой на прощание.

В ту пору, к которой относится наш рассказ, жизнь в Петербурге отличалась, между прочим, и тем, что в здешних даже самых знатных домах утро начиналось гораздо ранее, нежели теперь, и сообразно со вставанием спозаранку распределялся весь день. Так, императрица Анна Иоановна постоянно обедала в полдень. Прихода ее в столовую ожидал Бирон со своим семейством и, кроме этих лиц, никого никогда не бывало за ежедневным обедом государыни. Даже для принцессы Анны Леопольдовны, жившей в одном дворце с императрицей, держали особый стол. У принцессы вообще не бывал никто из посторонних, и все ее общество ограничивалось воспитательницей, безразлучной ее подругой, фрейлиной баронессой Юлианой Менгден, да несколькими камер-юнгферами. Принцессу держали во дворце под строгим надзором. Императрица и Бирон допытывались беспрестанно у приставленных к принцессе соглядатаев о том, кто из чужих людей был в течение дня в ее покоях. За случайны-

ми посетителями и посетительницами Анны Леопольдовны учреждался тотчас же бдительный надзор, и они могли быть уверены, что имена их значатся в списках тайной канцелярии в числе так называвшихся тогда «намеченных» людей, т. е. таких оподозренных личностей, которых при каком-нибудь особом случае следовало немедленно притянуть к допросам и пыткам. Разумеется, что такой строгий надзор за принцессой был учрежден в политических видах, но в этом отношении он был совершенно излишен, так как Анна Леопольдовна вовсе и не думала заниматься политическими делами. Надзор этот оказался, однако, недействительным на те случаи, когда, как говорится, девушку под замком не удержишь.

На придворных балах и в близком к императрице кружке принцесса встречала изящного, щеголеватого польско-саксонского посланника графа Морица-Карла Линара. Он был воспитанником известного ученого Бюшинга и при высоком образовании отличался светской любезностью, усвоенной им при дрезденском дворе, который в ту пору сопер-



ничал с версальским в отношении лоска и блеска. Современные сказания не оставили описания наружности графа Линара, и портрета его нам видеть не приводилось, но, судя по общим отзывам современников, Линар был такой красавец, что при своем появлении заставлял трепетать все женские сердца. В Петербург приехал Линар уже не юношей, но мужчиной в полном цвете красоты и молодости: ему было тогда с лишком тридцать лет, так что он шестнадцатью годами был старше принцессы Анны. В длинной веренице дам и девиц, плененных Линаром, была и принцесса. Неизвестно, когда и как началось между ними сближение; неизвестно также, увлекался ли граф Линар Анной, как страстно полюбившей его девушкой, и платил ей взаимной страстью, или же в пылкой ее любви он видел только удовлетворение своего тщеславия и суетности. Быть может, таинственность и опасность такой любви придавали, в глазах Линара, особый, привлекательно-романтический оттенок сближению с принцессой: самолюбию победоносного красавца могло быть очень приятно присоединить к числу

изнывавших по нему дочерей Евы и будущую, по всей вероятности, наследницу русской короны. Между ней и Линаром завязались письменные сношения. Не имея случая часто видеться, принцесса и граф обменивались между собой записочками, которые не дошли до нас, и потому нельзя знать, содержали ли они в себе только пустые весточки друг о друге или были наполнены пламенными признаниями и взаимными клятвами любить друг друга вечно, до гробовой доски. Какого бы, впрочем, содержания ни была эта переписка, она довольно долго велась между принцессой и графом, и если верить дошедшим до нас сказаниям, то г-жа Адеркас в разговоре своем с леди Рондо не была вполне откровенна. Наставница принцессы не только снисходительно, как на детскую забаву, как на невинное развлечение, смотрела на каллиграфические упражнения своей питомицы, но даже сама способствовала передаче пересылаемых с той и другой стороны цидулок. Статься может и то, что такие послания, проходя предварительно через цензуру наставницы, ограничивались только тем, что в от-

ношении любви не имело никакого существенного значения, и потому гувернантка принцессы, побывавшая при разных европейских дворах того времени, где девическая скромность – хотя бы и принцесс – не считалась необходимой добродетелью, не видела особенной важности в маленьких грешках своей царственной воспитанницы.

Но возвратимся к Анне Иоановне.

Постоянные ее обеды с семейством Бирона не бывали только в самые торжественные дни. В эти дни государыня кушала в публичке. Тогда она садилась на трон, устроенный под великолепным бархатным балдахином, украшенным золотым шитьем и такими же кистями, имея около себя с одной стороны цесаревну Елизавету Петровну, а с другой принцессу Анну Леопольдовну. На этих торжественных обедах выказывалась вся роскошь и пышность тогдашнего петербургского двора. На столах блестели и изящный богемский хрусталь, и севрский фарфор, и серебро, и золото в изобилии, поражавшем иностранных гостей. Но всех тогда поражало еще более одно особое обстоятельство: Бирон на это время

сходил с высоты своего величия. Он являлся тут не застольным бесцеремонным собеседником императрицы, но почтительно прислуживал ей в звании обер-камергера, которое он сохранил за собой и по получении герцогского сана. В последние годы царствования Анны Иоановны торжественные обеды давались очень редко, по всей вероятности, ввиду того, чтобы не низводить владетельного герцога Курляндского на степень простого царедворца.

Во время одного из тех ежедневных обедов, о которых мы упомянули выше, сидели за одним столом с императрицей герцог с герцогиней, двое из сыновей и дочь Гедвига. Бирон и его семейство говорили обыкновенно по-немецки, так как государыня, хотя сама и затруднялась совершенно свободно объясняться на этом языке, но очень хорошо понимала, что говорили другие. Во время обеда речь зашла случайно о графе Линаре.

– Почитай, что он теперь у нас первый красавец в Петербурге, – сказала императрица.

– Правда, ваше величество, за это он и пользуется такими успехами у здешних дам и

девиц, – подхватила герцогиня.

– У нас насчет дам не всегда счастливо сходит с рук, – сказала, улыбаясь, Анна Иоановна, – особенно если кто-нибудь проболтается. Вот когда я жила в Москве, то там завелся один господин, – да ты, герцог, его знал, – большой ходок по этой части. Он и стал было хвалиться своими проказами с дамами, с которыми встречался в знакомом доме. Дошло это хвастовство его до мужей, и вот тогда и жены, и мужья согласились проучить молодца, чтобы он не хвастал по-пустому, если ничего не было, а если и было, то умел бы молчать. Одна из барынь пригласила к себе этого кавалера будто бы поужинать с ней наедине. Разумеется, он не отказался, а когда приехал, то она и принялась выговаривать ему, что он больно болтлив. Он было стал отнекиваться, а в это время вошли другие дамы со своими обиженными мужьями и уличили его. Тогда порешили с этим хватом произвести расправу, и произвели ее и сами барыни, и их служанки: просто-напросто высекли молодца, да так, что он несколько дней провалялся в постели.

Анна Иоановна, любившая почему-то повторять этот рассказ, засмеялась густым смехом.

– Это уж слишком по-московски, – заметил язвительно герцог.

– Ну, острастка иногда не мешает, – проговорила герцогиня, – вот хоть бы граф Линар...

Герцог быстро взглянул на жену, показывая ей глазами на сидевшую за столом принцессу Курляндскую и тем давая знак герцогине, чтобы она прекратила начатый разговор. В свою очередь императрица пытливо посмотрела на герцога, который движением физиономии дал понять императрице, что он после поговорит с нею о графе Линаре, и затем перевел речь на любимый свой предмет – на лошадей, принявшись с жаром знатока и любителя оценивать прекрасные стати тех из них, которые на днях присланы были ему в подарок от короля прусского.

Императрица слушала толки герцога довольно рассеянно. Заметно было, что начатый и так таинственно прерванный разговор о Линаре занимал ее более, нежели приевшиеся уже ей рассказы герцога о лошадях, сбруе,

манеже и конюхах. Видно было, что она с трудом сдерживала врожденное и теперь сильно возбужденное любопытство; и действительно она хотела, чтобы ей поскорее разъяснили какие-то темные намеки, сделанные герцогиней насчет графа Линара. Она понимала, что герцогиня проговорила неосторожно, преждевременно и что здесь кроется что-то, ей пока еще неизвестное.

По окончании обеда императрица перешла с Бироном в другую комнату, и здесь герцог наедине передал ей дошедшие на днях до него от его собственных лазутчиков сведения о сношениях принцессы Анны Леопольдовны с Линаром. Он просил государыню подождать с решением этого дела до вечера, так как к этому времени надеялся представить ее величеству несомненные доказательства виновности легкомысленной принцессы. После продолжительного разговора по этому поводу императрица поручила Бирону, чтобы он, на всякий случай, приказал графу Остерману и начальнику тайной канцелярии, генералу Ушакову, явиться к ней во дворец на сегодняшнее вечернее собрание, сказав, что она

сообразно с тем, что окажется по делу принцессы, даст каждому из них особое повеление.

Погрозив расправиться со всеми виновными как следует, Анна Иоановна принялась внимательно рассматривать ружье, только что поднесенное ей тульскими оружейниками. Судя по ее замечаниям насчет ружья, можно было сказать, что она отлично знала толк в огнестрельном оружии, и в этом не было, впрочем, ничего удивительного. Известно, что она чрезвычайно любила охоту и стрельбу из ружей, в которой приобрела такую сноровку, что без промаха попадала в цель, и также очень редко случалось, чтобы выстрел ее был неудачен, если он был направлен ею в летящую птицу. Во внутренних ее покоях стояли всегда заряженные ружья; она стреляла из них через окна в пролетавших мимо дворца галок, воробьев и ласточек, а в галерее дворца было устроено стрельбище, где иногда назначалась стрельба на призы, в которой должны были принимать участие, в угоду императрице, все придворные, не исключая и дам.

Осмотрев ружье, она, как это делала каж-



дый день после обеда, сыграла с герцогом несколько партий на бильярде, показав в этой игре замечательное со своей стороны искусство. Затем, расставшись с герцогом, пошла во внутренние свои покои через комнаты герцогини.

В это время у герцогини была известная уже нам леди Рондо, которая в одном из писем к своей лондонской приятельнице передавала следующее:

«Герцогиня – большая любительница вышивания, и, узнав, что у меня есть несколько вышивок моей собственной работы, пожелала их видеть и пригласила меня к себе работать два или три раза в неделю. Я приняла это приглашение с удовольствием по двум причинам: во-первых, г. Рондо, занимающая настоящий пост, может извлечь из этого выгоды; во-вторых, мне представляется случай видеть царицу в такой обстановке, в какой иначе никак нельзя было бы видеть, потому что она постоянно проходит через ту комнату, в которой мы занимаемся рукоделием. Так как комнаты ее смежные с комнатами герцогини, то она после обеда много раз при-

ходит к нам, не обращая внимания на то, встаем ли мы перед нею или нет. Иногда она садится за пядьцы, работает вместе с нами и много разговаривает об Англии и обо всем, что касается королевы. По ее словам, она так желает видеть королеву, что охотно сделала бы полдороги ей навстречу. По-видимому, она довольна, когда я старалась говорить с нею по-русски, и так милостива, что учит меня, когда я выражаюсь худо или затрудняюсь в разговоре. Это случается очень часто, потому что я говорю по-русски плохо, хотя и понимаю, что говорят другие; мне очень приятно видеть столько добродушия в особе, имеющей такую неограниченную власть. Во время ее присутствия у герцогини бывает обыкновенно пять или шесть дам и один или два придворных кавалера, которые ведут самый обыкновенный разговор. Иногда императрица принимает в нем участие как равная, сохраняя, однако, свое достоинство, но таким образом, что при этом не чувствуется никакого стеснения».

## IV

Вечером того дня, когда императрица говорила наедине с Бироном о принцессе Анне Леопольдовне и о графе Линаре, было во дворце обыкновенное собрание.

В ту пору дворцовые собрания не отличались уже прежней беспорядочностью и полной непринужденностью, какие господствовали на дворцовых ассамблеях Петра Великого, а отчасти продолжались еще и при Екатерине I. Собрания эти не напоминали и тех шумных охотничьих пирушек, какие происходили при Петре II. В противоположность всему этому в роскошно отделанных залах дворца Анны Иоановны были тишина и чинность со стороны гостей. Строгий чопорный этикет версальского двора усваивался мало-помалу и петербургским, хотя при нем не исчезли окончательно простые, незатейливые или, вернее сказать, грубые обычаи и развлечения нашего старинного быта. В домашней своей жизни императрица Анна Иоановна была настоящей богатой русской барыней со всеми привычками и замашками

того времени, и даже долголетнее пребывание ее в Митаве, среди немцев, не отучило ее окончательно от той обстановки жизни, которую она привыкла видеть с детства в своей семье. Если, впрочем, во дворце Анны Иоановны и допускались неприличные и, по нынешним нашим понятиям, разные слишком обидные для царедворцев потехи и шутки, если она и забавлялась с шутами, шутихами, скоморохами, карлами и карлицами, – то наряду с этим пробивалось уже понятие и о том, что русский двор должен усваивать хорошие образцы и утонченный вкус западных европейских дворов. При дворе Анны Иоановны были уже актеры, а также и музыканты и певцы, выписанные из Италии в Петербург на большое жалованье. Итальянская и немецкая комедия чрезвычайно нравилась ее придворным. При ней же в 1736 году была поставлена в Петербурге первая опера.

Бирон, любимец императрицы, был большой охотник до роскоши и великолепия, и уже этого было довольно, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор самым блестящим в Европе. С этой целью употребле-

ны были большие суммы денег, но желание императрицы не легко и не скоро исполнялось. Перенимаемые у нас из Франции изысканность и щеголеватость сталкивались на каждом шагу с прежними непорядочностью и неряшливостью. И та, и другая отражались сильно не только в общественных сношениях, взаимных поступках, образе жизни, но и во всех условиях домашнего быта. Часто у иного придворного щеголя, при богатейшем кафтане, парик был прескверно вычесан, превосходную штофную материю неискусный крепостной портной портил дурным или смешным покроем, или, если чей-нибудь наряд был во всех отношениях безукоризнен, то экипаж был крайне плох, и иной вельможа в богатом французском костюме, в шелку, бархате и кружевах ехал в дрянной старой карете, которую еле волокли заморенные клячи, в изорванной упряжи, а на запятках стояли гайдуки в рваных ливреях и в дырявых сапогах; таким же нарядом отличались обыкновенно кучер и фореитор.

Отсутствие вкуса и порядочности господствовало также и в домах; в одном и том же

доме можно было найти выписанную из Парижа самую новомодную мебель, золотую и серебряную посуду в большом изобилии, шелковые обои, великолепные гобелены, редкие картины, фарфор, бронзу и ковры, а вместе с тем пыль, грязь и отвратительную нечистоту, даже в роскошно отделанных приемных покоях, не говоря уже о других принадлежностях жилья, недоступных для посторонних.

Женские наряды представляли такую же крайнюю противоположность, как и мужские; на один женский изящный туалет встречалось тогда в Петербурге десяток безобразно одетых женщин. Превосходные брюссельские и венецианские кружева нашивались на полотняные роброны, дорогой лионский бархат и шелковая материя сшивалась вместе с какой-нибудь самой простой домашней тканью. Фасоны дамских платьев, заимствованные из Франции, переделывались в Петербурге на домашний уродливый лад.

Такие противоположности одного с другим были общим явлением, и мало встречалось домов и лиц, особенно в первые годы

царствования Анны Иоановны, которые составляли бы в этом отношении заметное исключение. Только мало-помалу русская знать, а за нею и прочее дворянство стали подражать тем, у кого было более вкуса. Даже двор не мог сразу усвоить себе тот порядок и ту изящность, какие были уже тогда в других странах Европы. На это потребовались многие годы.

Между тем роскошь, хотя и безвкусная, стоила двору громадных издержек. При Анне Иоановне придворный, который в состоянии был издерживать в год только по две, по три тысячи рублей на свой гардероб, не мог еще похвастать щегольством. Все поголовно разорялись на наряды, и один тогдашний остряк заметил, что следовало бы расширить городские заставы для выпуска дворян, напяливших на себя при выезде из Петербурга целые деревни. И действительно, в ту пору люди, служившие при дворе, в течение немногих лет растрачивали свое состояние на наряды. Жалованьем никак нельзя было покрывать свои расходы по этой слишком дорогой стоившей статье, и, по словам одного современни-

ка, довольно было какому-нибудь предприимчивому французу – торговцу мод прожить года два в тогдашнем Петербурге, чтобы приобрести значительное состояние, хотя бы он начал торговлю в кредит, без копейки собственных денег.

Кроме нарядов, тогдашнюю русскую знать разоряла еще и страшная карточная игра, которая даже и при дворе велась в громадных размерах. Многих она в ту пору обогатила, но и многих разорила вконец. Тогда случалось сплошь и рядом, что при дворе в один присест проигрывали по 20000 рублей на тогдашние серебряные деньги в банк и в квинтич. В частных домах кипела непрерывная карточная игра, причем груды золота переходили из рук в руки.

Императрица, впрочем, не была охотница до игры и если играла в карты, то для того только, чтобы проиграть и тем самым наградить косвенным образом более или менее значительной суммой кого-нибудь из близких ей людей, заслуживших ее благоволение. В таких случаях она всегда сама держала банк, позволяя понтировать только тому, ко-



го вызывала к игорному столу. С государыней играли не на наличные деньги, а на марки, по предъявлении которых производились на особом столе выдачи выигранных у нее денег. Государыня получала марки, но не разменивала их на счет проигравших ей и вообще не брала денег от тех, кто ей проигрывал, хотя и любила оставаться в выигрыше.

В тот вечер, к которому относится наш рассказ, в числе приглашенных императрицей к игре лиц был и польско-саксонский посланник граф Линар. Счастье, однако, не везло ему; он ставил карту за картой, но все они были биты.

– По примете, вы, граф, должны быть очень счастливы в любви, так как все проигрываете, – не без заметной колкости, хотя и шутливым тоном сказала по-немецки императрица, обращаясь к Линару. – Я говорю, что граф счастлив в любви, – перевела она по-русски стоявшему в числе игроков князю Куракину.

– Уж если граф такой охотник играть в карты, – живо заметил князь, – то лучше было бы бросить ему любовные делишки, а то как по-

гонишься за двумя зайцами, так, чего доброго, ни одного не поймаешь.

– И это правда, – поддакнула Анна Иоановна.

– Ведь и мы, ваше сиятельство, кое-что насчет вас того знаем, – начал было Куракин, обращаясь к Линару, но императрица строгим взглядом удержала князя от дальнейшей болтовни, которая была в числе главнейших его слабостей. Анна Иоановна считала достаточным сделанного ею Линару косвенного намека и не хотела дать воли языку Куракина, имевшего привычку болтать все, что взбредет на ум.

Линар в недоумении поглядывал на императрицу и на Куракина, не догадываясь, впрочем, в чем дело.

– Продолжайте играть, граф, теперь вы, быть может, будете счастливы без меня, а ты, герцог, – сказала она стоявшему возле нее Бирону, – помечи за меня на счастье графа Линара.

Передав карты герцогу, императрица отправилась в тот угол залы, где, в отдалении от всех присутствующих, ожидали обыкно-

венно лица, которым приказано было явиться вечером во дворец по какому-нибудь особенному делу. Теперь в этом углу залы ожидали императрицу Остерман и Ушаков, вообще очень редко приезжавшие на вечерние дворцовые собрания (один из них под предлогом болезни, а другой под предлогом не терпящих отлагательства дел, безустанно производившихся в заведываемой им тайной канцелярии). Оба они, как чрезвычайно сметливые люди, очень хорошо понимали, что чем реже будут мелькать на глазах у придворных, тем менее будет неблагоприятных о них толков и тем прочнее будет положение их при дворе. Ездить же для того только, чтобы показаться императрице и герцогу, они считали для себя излишним, так как они во всякое время имели свободный доступ и к ней, и к нему и, следовательно, могли напомнить о себе всегда, когда находили нужным воспользоваться этим.

Между тем Бирон принялся исполнять данное ему императрицей поручение с жаром страстного игрока. С первого взгляда на него в эти минуты можно было убедиться,

что герцог был опытный картежных дел мастер, и, действительно, он считал потерянным тот день, когда не играл в карты, но такие дни едва ли и бывали у него во времена его величия. Он постоянно вел громадную игру и тем самым ставил в неловкое положение своих партнеров, хотя и жаждавших чести поиграть с его светлостью, но вместе с тем не желавших ни обыграть хорошенько могущественного фаворита, ни спустить в пользу его такой значительный куш, который сразу мог дать почувствовать пустоту даже в самом туго набитом кармане.

– Ну, господа, примемся за дело, – с довольным и вызывающим видом сказал герцог игрокам, почтительно стоявшим около него.

Герцог взялся за карты и затем отдался игре. Наверно, если бы кто-нибудь из старых его приятелей и знакомых взглянул в это время на него, то тотчас бы узнал в надменном и сановитом герцоге Курляндском, Лифляндском и Семигальском прежнего Бирона, без удерживавшегося в карты, на последние гроши, во время своего бурного студенчества. Из рук его, полуприкрытых манжетами из тончай-

ших кружев и искрившихся радужными огнями от множества драгоценных перстней, то плавно выскользали, то быстро выбрасывались карты на зеленое сукно. Он при каждом ударе внимательно обводил глазами тесный круг игроков и, как человек, отлично испытавший на себе волнения и раздражения, производимые огромной азартной игрой, пытливо вглядывался в выражение лица понтеров. Он напряженно следил за ходом игры: одобрял смелых игроков, подсмеивался над трусливыми, сочувствовал и выигрышу, и проигрышу. Вообще, исполняя обязанности банкюмета, он был как нельзя более на своем месте. Бирон весело шутил и острил, и хотя его шутки и остроты, как обыкновенно, были и грубы, и плоски, но лица присутствующих ослаблялись приятной улыбкой, и, вероятно, многие из них чистосердечно думали: «Право: славный малый был бы герцог, если бы он всю жизнь только то и делал, что играл бы в карты».

Во все время игры он только раз, да и то равнодушно и лениво, бросил искоса взгляд в тот отдаленный угол залы, где разговаривала

Анна Иоановна с Остерманом и Ушаковым, — но не так поглядывали на отвратительно злобную физиономию этого последнего находившиеся в зале царедворцы; многим из них невольно приходило на мысль, что, чего доброго, не нынче, так завтра их кожа и кости попадут в переделку к грозному начальнику тайной канцелярии, не любившему никому давать спуска.

Поговорив немного в зале с Остерманом и Ушаковым, императрица позвала их в соседнюю комнату и, кончив аудиенцию, подошла к столу и стала смотреть на игру, спрашивая о ее ходе и полюбопытствовав, отыгрался или нет граф Линар, которого, как оказалось, злая судьба преследовала неустанно во весь этот вечер.

В начале двенадцатого часа императрица удалилась ужинать в свои покои. Гости, поспешив забастовать игру, сели за ужин, приготовленный в одной из зал дворца, и вскоре после полуночи дворец опустел. Разъезжавшие гости шепотом толковали о расположении духа в этот вечер государыни и герцога и высказывали близким себе людям догад-

ки и предположения насчет того, о чем могла бы говорить государыня так долго с Остерманом и Ушаковым.

На другой день, чуть забрезжило утро, генерал Ушаков в сопровождении переводчика тайной канцелярии и своего адъютанта явился к г-же Адеркас и объявил ей повеление императрицы – тотчас же оставить дворец и затем немедленно отправиться за границу в сопровождении гвардии сержанта и трех капралов. Тщетно г-жа Адеркас протестовала против такой неожиданной меры. Напрасно спрашивала она Ушакова о причине внезапно постигшего ее гнева столь благоволившей к ней прежде государыни. Тщетными остались ее просьбы, как о позволении проститься с ее любимой воспитанницей, так и о разрешении объяснить лично с императрицей; на эти просьбы Ушаков отвечал решительным и грубым отказом, не допуская никаких дальнейших разговоров.

В то же самое утро граф Остерман, сидя за письменным столом в обыкновенном своем домашнем наряде – суконном красном шлафроке, подбитом лисьим мехом, – внимательно

переписывал составленную им ночью депешу к саксонскому двору о графе Линаре и предназначенную к отправке в Дрезден в тот же самый день с нарочным курьером. Остерман тщательно отделявал и оттачивал каждую фразу и подолгу взвешивал каждое слово, так как предмет депеши представлялся слишком щекотливым для того, чтобы он мог быть высказан хотя бы с малейшей необдуманностью и неловкостью.

По поводу рассказанного нами события фельдмаршал граф Миних заметил в своих «Записках» следующее: «Госпожа Адеркас, совершенно не способная к исполнению обязанностей, сопряженных с порученной ей должностью воспитательницы принцессы Анны Леопольдовны, была внезапно выслана из России с повелением никогда туда не возвращаться, причем не была даже допущена проститься с ее величеством императрицей».

Другой современник этого события, Манштейн, по поводу его написал: «Старшую воспитательницу принцессы Анны, г-жу Адеркас, обвиняли в том, что она вместо того, чтобы дать хорошее воспитание и блюсти за ее



поведением, вздумала потворствовать сношениям между принцессою и одним иностранным посланником. Когда это обнаружилось, то г-жу Адеркас немедленно уволили от должности и отправили в Германию, спустя несколько времени и посланника, мечтавшего о такой блестящей победе, удалили под предлогом какого-то поручения к его двору, с тем чтобы двор не возвращал уже его в Петербург».

При такой развязке дела герцог потирал от удовольствия руки, припоминая презрительный ответ принцессы на сделанное ей предложение вступить в брак с сыном его, принцем Петром. На рябом лице герцогини явилась приятная улыбка, когда она узнала об удалении Линара, а императрица задала хороший нагоняй племяннице за ветренность. Долго, однако, хмурился Ушаков, досадуя на то, что государыня успела узнать о шалостях принцессы помимо него. Он еще более распекал своих подчиненных и еще свирепее расправлялся со своими пациентами, вспоминая, что от него ушел такой редкий и отличный случай, который лучше всего мог бы сви-

детельствовать перед императрицей о  
неусыпной бдительности тайной канцелярии  
даже в стенах собственного ее дворца.

Прошло с лишком два года со времени высылки из Петербурга г-жи Адеркас и удаления от петербургского двора графа Линара, но участь Анны Леопольдовны не была еще решена окончательно, и жизнь принцессы тянулась из года в год прежней чередой. Хотя и говорили постоянно в придворных кружках о скором ее браке с принцем Антоном-Ульрихом Брауншвейг-Люнебургским, но совершение брака отлагалось на неопределенный срок по разным причинам, никому достоверно не известным, кроме государыни и самых приближенных к ней лиц. Между тем принцессе минуло двадцать лет; к этой поре она выровнялась и сделалась красивой девушкой. При среднем росте, она была чрезвычайно стройна и полна, но настолько, что полнота не только не портила ее стан, но даже, напротив, придавала всей ее фигуре некоторую величавость. Цвет ее лица был бледный и чрезвычайно нежный, волосы густые и темные, глаза томные и задумчивые, а черты лица хотя и не отличались правильностью, но зато

добрая улыбка и кроткий взгляд делали ее и милостивой и привлекательной, а постоянная грусть, оттенявшая лицо, возбуждала невольное участие в тех, кому приходилось видеть Анну.

Хранились ли в эту пору в ее сердце воспоминания о Линаре – это осталось тайной, которую, если принцесса, несмотря на всю свою скрытность, и поверяла кому-нибудь, то разве одной только неразлучной спутнице своей уединенной жизни Юлиане Менгден. Но если бы даже эту первую любовь молодой девушки и успело уже изгладить время, то все же предназначенный ей жених ничего не выигрывал от такой перемены в чувствах Анны Леопольдовны. Он по-прежнему не встречал к себе с ее стороны ни малейшей тени внимания и расположения и несмотря на все его желание и постоянные, все более и более усиливавшиеся попытки хоть несколько сблизиться с невестой, – холодность и нескрываемое к нему презрение принцессы обнаруживались на каждом шагу все явственнее и все резче. Но такое обращение Анны с принцем не могло уже изменить ее участи, так как вскоре

она, по политическим соображениям императрицы, должна была сделаться женой не любимого ею человека.

Впрочем, и полюбить принца Антона для молодой девушки, хотя и со свободным сердцем и даже не слишком разборчивой в выборе женихов, было трудно. Хотя принц приехал в Россию еще девятнадцатилетним юношей и прожил при петербургском Дворе в ожидании совершеннолетия невесты шесть с лишним лет, но уже ясно видно было, что он не успел даже в это довольно продолжительное время освоиться со своим положением, что он чувствовал себя не на месте и что у него не доставало ни ума, ни находчивости, чтобы приобрести себе при дворе хоть некоторый почет. Наружность принца не имела в себе ничего привлекательного: он был небольшого роста, худ, белобрыс, неловок и застенчив, и лицо его было лишено всякого выражения. Вдобавок к этому он заикался. Своей наружностью и своими неуклюжими манерами он при первом же своем появлении в Петербурге произвел самое неприятное впечатление как на невесту, так и на госуда-

рыню, которая не раз выговаривала разъезжавшему в Германии, по поручению ее, свату, графу Левенвольду, за то, что он добыл в женихи ее племяннице такого невзрачного принца. Если же принц чем и понравился императрице, то лишь тем, что казался ей человеком тихим, уступчивым и непритязательным, а такие смиренные свойства в глазах Анны Иоановны считались похвальными качествами.

– Но неужели же и в самом деле я буду когда-нибудь женой этого противного мне принца? – с выражением сильной досады говорила однажды Анна Леопольдовна своей подруге Юлиане Менгден. – Я теперь не могу смотреть на него без отвращения. Недавно как-то тетушка попыталась было похвалить мне его за тихий и спокойный нрав, но нрав-то его, помимо гадкой наружности, мне более всего и не нравится. Какой он мужчина? Чуть только на него прикрикнуть, он сейчас же и оробеет, растеряется вконец, начнет заикаться, переминаясь с ноги на ногу и не знает даже, что делать и что сказать. Если мне когда-нибудь, по воле Божьей, придется цар-

ствовать – чего я, впрочем, вовсе не желаю, – то мне будет нужен сильный и решительный друг и помощник. Вот хоть бы такой, например, человек, как фельдмаршал Миних, а то куда годится принц? Я сознаю сама очень хорошо, что у меня нет ни отважности, ни твердой воли, ни настойчивости; какой же может быть для меня поддержкой принц Антон? Он никогда ничем не сумеет распорядиться и уступит каждому, кто только пригрозит ему. И как униженно держит он себя не только перед императрицей, но и пред герцогом! При каждом приходе герцога он вскакивает с места и не осмеливается сесть, пока тот ему не позволит. Какой он для меня муж? Он в случае надобности не сумеет защитить не только свою жену, но и самого себя...

– Но кто же не боится императрицы и герцога? – заметила Юлиана, и на лице этой пригожей смуглянки появилась лукавая улыбка. – Ты сама дрожишь, когда герцог неожиданно является сюда.

– Это правда, но я женщина, и мне это позволительно. Поэтому-то мне и нужна подмога. Да ты сама, Юлиана, сколько раз ободряла

меня, и разве под твоим влиянием я оставалась такой тихой и равнодушной, какой бываю обыкновенно? Мне нужен муж, который поддерживал бы меня, когда у меня недостает твердости, а при такой поддержке я была бы способна решиться на все. Мне часто кажется, что если бы около меня был человек, которого бы я любила и уважала и в ум и мужество которого я верила бы, то никакая беда, никакая опасность не испугали бы меня.

– Однако нельзя же назвать принца трусом, – не без насмешливого, впрочем, тона заметила Юлиана. – Ведь фельдмаршал Миних во время своих походов не раз доносил императрице о его храбрости, за что принц и получил большие награды.

– О, Миних очень хитер: он знал, что такие донесения будут приятны императрице, а она, в свою очередь, рада была хоть чем-нибудь поднять при дворе этого ничтожного человека. Лживым похвалам верить не следует. Вот посмотри, что, например, пишут о принце в газетах. – Говоря это, Анна Леопольдовна выдвинула ящик рабочего своего столика и, достав оттуда номер «Петербургских ведомо-



стей», подала его Юлиане. – Прочти вслух, – сказала она своей подруге.

Юлиана прочла следующее: «Светлейший государь, князь герцог Брауншвейгский и Люнебургский не токмо от славного уже давно цесарскими и королевскими коронами произошел дома, но и собственными великими свойствами любовь всего российского народа себе получил, а притом во всех разных кампаниях, случившихся акциях, жизнь свою за честь и благополучие ее империи крайней подвергнув опасности, через свою храбрость бессмертную себе приобрел славу».

– Разве это не бесстыдная ложь! – вскрикнула принцесса, топнув ногой.

– А знаешь, – перебила Юлиана, – я давно собиралась тебе передать кое-что, но только боялась, что рассержу тебя, заговорив с тобой о принце Антоне, но так как теперь у нас уже зашла о нем речь, то я тебе скажу, кстати, вот что: при дворе толкуют, будто бы принц тебе нравится, но ты только притворялась и нарочно показывала к нему отвращение, чтобы обмануть герцога и дать ему повод подумать о том, нельзя ли будет ему женить на тебе

своего сына? Ты, говорят, делала это только с тем, чтобы иметь после случай досадить герцогу оскорбительным для него отказом.

– Ты хорошо знаешь, Юлиана, как я ненавижу герцога, – сказала принцесса, и ее обыкновенно спокойное лицо оживилось вдруг гневным выражением, – но должна знать и то, что мне никогда в голову не придут такие хитрые затеи. Мне принц просто-напросто противен, но когда герцог задумал сватать меня через Чернышеву за своего сына, этого негодяя мальчишку, то я наотрез, но без всякого умысла досадила герцогу, сказала этой непрошеной свахе, что лучше пойду на плаху, чем под венец с принцем Петром, и что я ни в каком случае не приму этого неприличного предложения. Когда же после этого заговорила со мною о том же самом государыня и затем предложила мне выбрать в мужья или принца Петра, или принца Антона, то я, не думая тогда вовсе о герцоге, а от чистого сердца, сказала ей, что если мне уж непременно приходится выбирать одного из этих женихов, то я предпочту последнего, потому что он в совершенных летах и происходит из старо-

го владельного дома.

– Да, сын Бирона хоть и наследный принц Курляндский, но все-таки не пара тебе, принцессе Мекленбургской, внучке русского царя и... и... быть может, будущей русской императрице... – шепотом и с расстановкой договорила Менгден.

– Поверь мне, дорогая моя Юлиана, что меня нисколько не прельщает ожидающее меня величие; напротив, оно только пугает меня. Как часто думаю я, зачем Господь предназначил мне такой необыкновенный, высокий жребий. Не лучше ли было бы мне остаться навсегда в моем родном маленьком городке? Мне всегда кажется, что я была бы гораздо счастливее в более скромной доле. Какая, однако, превратность в моей судьбе: привезли меня трехлетним ребенком сюда из чужа; я оставила веру, в которой родилась; почти забыла мой родной язык; меня не только разлучили с моим отцом, но и постоянно старались и стараются внушить мне, чтобы я ненавидела его, твердя, что он был мучителем моей матери. Не проходит дня, чтобы императрица не бранила его при мне и не выставля-

ла бы его каким-то диким зверем. А покойница матушка разве любила и баловала меня?.. Нет, Юлиана, тяжело, тяжело всегда жилось мне.

Анна Леопольдовна судорожно схватилась за голову, опустилась на кресло и, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Бойкая и словоохотливая подруга принцессы хотела было развлечь ее своей веселой болтовней, но принцесса упорно молчала, неподвижно оставаясь в прежнем положении.

Юлиана, слишком хорошо знавшая принцессу, не без удивления смотрела теперь на нее, так как ей ни разу не приходилось еще видеть Анну Леопольдовну, обыкновенно спокойную и равнодушную, в припадке такого сильного раздражения.

В это время кто-то тихонько постучался в дверь.

– Войди, – сказала Менгден.

Явился камердинер принцессы и доложил, что Артемий Петрович Волынский просит позволения видеть ее высочество.

Принцесса кивнула головой в знак согласия.

Тихими, мерными шагами приблизился Волынский к принцессе. Она протянула ему свою маленькую белую руку, которую он почтительно поцеловал, низко поклонившись перед принцессой, и затем отдал глубокий поклон Юлиане.

– Я осмелился явиться к вашему высочеству, дабы спросить вас, не благоугодно ли будет вам отдать мне каких-нибудь особых приказаний по случаю охоты, назначаемой ее императорским величеством?

– Ты знаешь, Артемий Петрович, что я не люблю никаких забав и если где-нибудь бываю, то всегда только поневоле.

– Очень хорошо знаю, ваше высочество, тем не менее... Но отчего вы, ваше высочество, изволите быть так сегодня недовольны? – спросил Волынский принцессу голосом, в котором слышалось непритворное участие.

– Это вы, проклятые министры, – вскрикнула запальчиво принцесса, вскочив с кресел, – это вы довели меня, по вашим расчетам, до того, что я выхожу теперь замуж за того, за кого прежде не думала выходить.

– Принимаю смелость доложить вашему

высочеству, что насчет окончательного решения о браке вашем с его светлостью принцем Антоном ничего не знал ни я, ни князь Черкасский... – при этом Волынский искоса взглянул на Менгден, как бы давая знать принцессе, что он стесняется присутствием ее подруги.

– Не бойся, говори при ней все, Артемий Петрович; у меня от нее нет никаких тайн...

– Я нисколько не виноват, – начал Волынский, – в том, что делают с вами, ваше высочество. Во всем этом воля все милостивейшей государыни, которой мы по природному нашему рабству должны покоряться, а если из министров кто и виноват, то разве один только Остерман... Впрочем, – добавил успокоительным голосом Волынский, – вашему высочеству нет особой причины так горестно кручиниться...

– Как нет? я терпеть не могу принца Антона: он весьма тих и в поступках не смел, – перебила Анна Леопольдовна.

– Хотя, действительно, в его светлости, – заметил Волынский, – и есть кое-какие недостатки, то, напротив того, в вашем высоче-

стве есть довольные благодарования, и для того можете те недостатки снабжать и предупредить своим благоразумием. Если же принц тих, то вам же лучше, потому что он в советах и в прочем будет вам послушен. Сносите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоит ваш разум и ваша честь.

– Ты умеешь красно говорить, Артемий Петрович, иногда словно по книге; но от твоих слов мне все-таки не легче. Да и кроме замужества, разве мало приходится мне терпеть? Ты знаешь, что я говорю теперь с тобою, а сама все боюсь, не подглядывают ли за мной, не подслушивают ли меня...

– Вот именно относительно этого я и желал предостеречь ваше высочество.

– Опять что-нибудь натолковали государыне? – раздраженным голосом спросила принцесса.

– Это не новость, – равнодушно заметила Юлиана, – пора бы вашему высочеству привыкнуть ко всем вздорным сплетням и не волноваться. Вы ближе всех к государыне, и вам ни в каком случае не следует никого и ничего опасаться...

– Я хотел доложить вам, – сказал шепотом Волынский, – что ваш обер-гофмаршал граф Миних лежит на ухе герцога и теперь внушает ему, что граф Линар...

– Граф Линар? – с живостью перебила принцесса, и яркая краска покрыла ее бледные щеки...

– Он недавно овдовел, – произнес Волынский, давая время оправиться принцессе и желая подготовить ее к слишком щекотливому разговору.

– Ведь он был женат на графине Флемминг? – вмешалась с той же целью догадливая Юлиана, – он не привозил жену в Петербург. Она, кажется, была дочь того министра, который ворочал всем и в Саксонии, и в Польше.

– Кажется, что так, милостивая государыня, – отвечал Волынский, обращаясь к Менгден.

Принцесса между тем успела одолеть свое смущение и, пристально смотря в лицо Волынскому, довольно спокойно спросила:

– Ну, что же граф Линар?..

– Он на днях прислал письмо к герцогу, в



котором предупреждает его о злых замыслах принца Антона против его светлости. Он, должно быть, думает, что такими внушениями если не расстроить, то, по крайности, замедлить ваш брак с принцем, а граф Миних позволил себе высказать догадку, не делается ли сие с вашего соизволения, и вызвался наблюдать за вашим высочеством...

– Что же герцог? – спросила Анна Леопольдовна.

– Показал письмо с хохотом графу Остерману и – прошу извинения за смелость моих слов – назвал его светлость принца глупым мальчишкой, грозясь, что при первом же случае публично надерет ему уши...

– И принц снесет это... непременно снесет, – сказала Анна, ударив с сердцем по столу рукою.

– Но что же делать с герцогом? – заметила, пожав плечами, Юлиана и вопросительно взглянув на Анну Леопольдовну.

– И как не стыдно вам, русским, переносить такое унижение от герцога? – проговорила насмешливо принцесса, окинув презрительным взглядом Волынского.

Наступила минута глубокого молчания. Волынский призадумался... Жестоким укором отозвались в его сердце слова принцессы; кровь хлынула ему в лицо, оно все побагровело. Волынскому и стыдно, и больно стало, что даже такая слабая, нерешительная женщина, какой слыла принцесса, может укорять его за унижение перед проходимцем, – его, русского вельможу, потомка древних бояр и знаменитых военачальников московских.

– Кто знает, ваше высочество, – заговорил как бы пророческим голосом, гордо вскинув свою голову, Волынский, – кто знает: не придет ли когда-нибудь день, – и быть может, уже близок он, – когда Волынский искупит свои тяжкие грехи перед Богом и отечеством, когда он покажет, как... – От сильного волнения Волынский не мог говорить более.

Анна Леопольдовна с удивлением взглянула на него.

– Прощайте, ваше высочество... Вы дали мне урок, которого я никогда не забуду, – проговорил расстроенный Волынский.

– Прощай, до свидания, Артемий Петрович, – сказала ему ласково принцесса, пода-

вая руку, которую Волынский поцеловал по-чтительно и крепко.

Это было последнее непубличное свидание его с принцессой. Спустя немного времени, умная и горячая голова Волынского соскочила с плеч под ударом топора; но перед казнью он на дыбе давал показания о своем свидании с принцессой, и показания эти сохранились для истории в кровавых летописях тайной канцелярии.

## VI

Летом 1739 года стали поговаривать в Петербурге о браке Анны Леопольдовны. Говорили, впрочем, об этом не без некоторой опаски, оглядываясь по сторонам из боязни, чтобы неожиданно не подвернулся какой-нибудь шпион или просто какой-нибудь негодяй, который, услышав упоминание о царской семье, готов будет крикнуть «слово и дело». Приготовления к свадьбе принцессы делались большие, и с лишком год работали только над экипажами и одеждой прислуги придворного ведомства, для того чтобы придать празднеству великолепную обстановку. Императрица Анна Иоановна как будто в последний раз готовилась показать во всем блеске роскошь и великолепие своего двора.

После долгих откладываний было наконец решено повенчать принцессу с принцем Антоном, и оставалось только уладить обряд сватовства. Но пока успели согласиться насчет этого, немало попортилось крови и желчи как у графа Остермана, так и у будущего свата со стороны принца, маркиза Ботта ди

Адорно, а также немало досады учинено было и всемилостивейшей государыне.

Упомянутый маркиз Ботта ди Адорно был посланником римско-немецкого императора при петербургском дворе, а потому условлено было, что он только на три дня примет звание чрезвычайного посла для того, чтобы просить руки принцессы Анны для принца Антона, племянника императора по его жене. Должно было, однако, для поддержания достоинства русского двора, вести дело таким образом, будто бы маркиз Ботта нарочно приехал из Вены только для исполнения этого чрезвычайного поручения. Думали, думали и наконец нашли, что в настоящем случае всего удобнее будет заменить Вену Александро-Невской лаврой. Туда на ночлег к монахам в субботу, 29-го июня, и отправился маркиз Ботта, и оттуда, в воскресенье утром, как будто приехав прямо из Вены, он имел торжественный въезд в Петербург, а в понедельник была назначена ему аудиенция у императрицы для формального сватовства.

Сватовство это происходило с большой торжественностью в присутствии всего дво-

ра. После длинной речи, сказанной послом императрице, великий канцлер граф Головкин и князь Черкасский ввели принцессу в аудиенц-залу, и когда принцесса, расстроенная и бледная, стала перед императрицей, то последняя объявила, что дала свое согласие на брак своей племянницы с принцем Антоном Брауншвейгским.

Слова эти были роковым приговором для Анны. Она с плачем бросилась на шею тетке. Заливаясь слезами и сильно дрожа, крепко прижалась к ней. Несмотря на это, императрица некоторое время сохраняла холодный, важный вид; но наконец и она не выдержала: из глаз Анны Иоановны выступили слезы, и она с заметной нежностью стала целовать свою племянницу. Несколько минут длилась эта сцена, не особенно, впрочем, поразившая своей неожиданностью придворных, знавших уже давно недружелюбные отношения невесты к жениху. Затем императрица, слегка отстранив от себя Анну, явилась снова перед присутствующими недоступной, по-видимому, ни жалости, ни состраданию. Начались поздравительные речи посла, обращенные

сперва к императрице, а потом к принцессе. Печально склонив голову, Анна вовсе не слушала напыщенного красноречия маркиза и, казалось, совершенно бессознательно исполняла все, что требовал от нее этикет и последовавший за помолвкой обряд обручения. Быть может, в это время в мыслях ее мелькал пленительный облик Линара, и сравнение с ним принца еще сильнее волновало ее.

Обручение кончилось. Цесаревна Елизавета первая подошла к принцессе, чтобы поздравить ее, и громко заплакала. Императрица взяла за руку Елизавету и отвела ее в сторону. Закрыв лицо платком, цесаревна продолжала рыдать, и слезы ее в эти минуты могли быть непритворны: сама Елизавета могла любить только без принуждения. Она высоко ценила свободу женщины и, забывая на этот раз в принцессе Анне свою соперницу по русской короне, искренне жалела о ней, как о девушке, приневоленной к браку.

Начались церемониальные поздравления. Жених, пышно разодетый в светлый шелковый кафтан, великолепно расшитый золотом, с волосами льняного цвета, завитыми в круп-

ные локоны, распущенные по плечам, стоял подле невесты. Он пытался утешить свою невесту, хотел было взять ее за руку, но принцесса быстро вырвала ее и гневно посмотрела на растерявшегося принца, который в эту минуту представлял из себя и жалкую и смешную фигуру.

По окончании поздравлений государыня удалилась в свои покои, а собрание разъехалось по домам, чтобы готовиться к свадьбе.

В среду, 3-го июля, ранним утром со стен Петропавловской крепости и валов Адмиралтейства пушечные выстрелы возвестили жителям Петербурга о имеющем быть в этот день браке принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Толпы народа со всех сторон повалили по улицам города, пустым и тихим в обыкновенное время. Старые и малые, мужчины и женщины спешили занять более удобные места на всем протяжении от дворца до Казанского собора, где должно было совершиться бракосочетание. Принца перевезли в собор спозаранку, без всякой, впрочем, пышности, которой должен был отличаться поезд невесты. Казанский собор, только что отстро-



енный в ту пору на сумму, пожертвованную императрицей, находился на том же месте, где и нынешний. Он считался придворной церковью, но был невелик и чрезвычайно невзрачен; на одном конце этого продолговатого строения, не отличавшегося ничем от обыкновенного одноэтажного каменного дома, была поставлена прямая четырехсторонняя колокольня в виде каланчи, с небольшой остроконечной крышей. На соборе не было еще купола и никаких архитектурных украшений.

Между тем процессия от Зимнего дворца шла набережной к Летнему дворцу и оттуда по Большой улице через Зеленый мост на Невскую перспективу. От Летнего дворца до церкви по обеим сторонам дороги, по которой двигалась процессия, стояла вся гвардия и напольные полки с неумолкаемой музыкой.

– Едут! Едут! – загудело вдруг в толпе, смыкавшейся все плотнее и плотнее и сдерживаемой в порядке полицейскими драгунами.

Среди этих возгласов показались прежде всего великолепные кареты знатных персон. Впереди каждой кареты шло по десяти ли-

врейных лакеев, а при некоторых каретах, кроме лакеев, были скороходы и ряженные, на показ и на потеху народу. Тут мелькали и негры, и испанцы, и турки, и самоеды, и пр., и пр.

За тянувшимися длинной вереницей каретами знатных персон следовала карета принца Карла, младшего сына герцога Курляндского, предшествуемая двенадцатью лакеями, четырьмя скороходами, двумя гайдуками и двумя дворянами, ехавшими верхом. При такой же обстановке ехал следом и старший сын герцога Петр – жених, отвергнутый принцессой Анной.

– Глядь! Глядь! – вдруг крикнул какой-то мальчуган своему товарищу, показывая пальцем на раззолоченную карету, – вишь ты, какие звери и птицы намалеваны... Важные какие!

Действительно, на дверцах приближавшейся кареты виднелся громадный герб, а в нем под княжеской шапкой и герцогской мантией в большом щите были изображены золотые львы и серебряные олени – гербы Курляндии и Семигалии. В малом же щите

герба был черный ворон, сидящий на пне с зеленой веткой, – это был родовой герб Биронов. Вверху этого щита виднелся в золотом поле вылетающий до половины русский двуглавый орел, прибавленный в герб Бирона императрицей в знак особенного ее благоволения к герцогу, а в другой боковой части маленького щита была буква А, в память короля польского Августа III, признавшего Бирона герцогом Курляндским. Сквозь букву А, украшенную королевской короной, был продет золотой ключ, знак обер-камергерского звания, которое Бирон удержал за собой, сделавшись даже владетельным герцогом.

Пока мальчуганы зазевывались на львов, оленей, ворона и орла, прочие зрители не без страха и не без ненависти посматривали на того, кто ехал в этой великолепной карете. Насупясь, неподвижно сидел в ней герцог Курляндский, блиставший алмазами и золотом. Герцогу предшествовали двадцать четыре лакея, восемь скороходов, четыре гайдука и столько же пажей. Все они шли пешком. Кроме них перед каретой герцога ехали верхами его шталмейстер, маршал и два камер-

гера, из которых за каждым следовало несколько ливрейных слуг.

Каретой герцога как бы замыкался отдельный поезд его самого и его сыновей. На некоторое время произошел перерыв церемонии, и толпа, в ожидании дальнейшего зрелища, принялась толковать и пересуживать. Крики, визги и брань стояли над нею. Но вот со стороны дворца раздались громкие, как будто радостные, возгласы; послышался раскат пушечного выстрела, и в заколыхавшейся толпе заходил говор: «С а м а е д е т!»

Теперь перед глазами зрителей стали последовательно двигаться сорок восемь слуг, двадцать четыре пажа с их наставником, бывшим на коне, камергеры верхами, каждого из них сопровождал скороход, державший в поводу лошадь, и два конных лакея с подручными лошадьми; дворяне верхом, тоже в сопровождении скороходов и ливрейных слуг с подручными лошадьми; обер-шталмейстер с огромным конюшенным штатом, егермейстер со всей придворной охотой; унтер-маршал и обер-гофмаршал с жезлом. Яркие цвета, серебро и золото рябили и резали глаза

толпы.

Но вот и экипаж императрицы – раскинутая на две половины карета, ослепительно блиставшая при ярком летнем солнце густой позолотой, запряженная восемью белыми конями в золотой упряжи и с пучками белых страусовых перьев над их головами. Толпа ахнула.

На первом месте, на заднем сиденье кареты, сидела императрица, напротив нее – невеста.

Сановитая фигура Анны Иоановны как нельзя более подходила издали для торжественных церемоний. В ней, казалось, воплощалось могущество женщины, которая легко могла носить тяжелую шапку Мономаха. Величаво и самоуверенно посматривала Анна на покорную перед ней толпу и по временам легким наклоном головы удостоивала отвечать на приветственные клики своих верноподданных. Но если представительная наружность Анны Иоановны производила сильное впечатление на толпу, то на этот раз императрица не поражала зрителей особенным великолепием своего убранства: ника-

ких драгоценных камней не сияло на ней; они были заменены одним только жемчугом, резко выдававшимся своей белизной на темном фоне и золотом шитье ее робы.

Совершенную противоположность императрице представляла невеста. Грустная, как будто бессильная и беспомощная, сидела она, потупив задумчивые глаза. Казалось, она не видела и не слышала ничего, что делалось около нее. Но зато как ослепителен был ее подвенечный наряд! На ней было платье из блестящей серебряной ткани; завитые волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантовыми нитями; на голове у нее была небольшая корона, осыпанная бриллиантами, и, кроме того, множество бриллиантов было укреплено в черных, не напудренных на этот раз волосах. От блеска драгоценных камней лицо ее, казалось, было окружено каким-то радужным сиянием.

Толпа, глядя на невесту, только дивилась и ахала.

После проезда императрицы оставшая часть поезда, в которой находились цесаревна Елизавета, герцогиня Курляндская и супру-

ги знатных персон, по своей относительной пышности не бросалась уже в глаза толпы, которая теперь стремительным потоком хлынула к Казанскому собору, чтобы дожидаться окончания брачной церемонии, которую совершал архиепископ вологодский Амвросий.

Пушечные залпы с крепости и Адмиралтейства, а также из орудий, поставленных на площади перед собором, и беглый ружейный огонь войск возвестили окончание брачного обряда.

Дождавшиеся окончания церемонии увидели ту же самую процессию, какую видели прежде, с той только разницей, что новобрачные сидели теперь в одной карете с императрицей, напротив нее, и можно было заметить, что молодая, убитая горем, не обращала никакого внимания на своего супруга.

Во дворце принесены были поздравления государыне и принцессе сперва знатными лицами, потом иностранными министрами, а затем и всеми присутствовавшими. Императрица в этот день обедала за особым столом, за которым кроме нее сидели только новобрачные и цесаревна Елизавета. После обеда

все присутствовавшие при торжестве вернулись домой чрезвычайно утомленные, так как торжество началось с 9 часов утра, а обед кончился только около 8 часов вечера.



## VII

Свадьба принцессы Анны Леопольдовны сопровождалась блестящими празднествами. В самый день брака был при дворе бал, начавшийся в 10 часов и окончившийся около полуночи. После бала императрица повела молодую в ее комнату. При этом за государыней должны были следовать только немногие заранее назначенные ею лица: герцогиня Курляндская, две придворные русские дамы и жены министров, уполномоченных от иностранных государей, состоявших в родстве с принцем Антоном. Войдя в уборную молодой, императрица приказала герцогине и знакомой уже нам леди Рондо раздеть принцессу. Дамы сняли с молодой тяжелый и пышный наряд и надели на нее капот из белого атласа, отделанный великолепными брюссельскими кружевами. После этого императрица поручила герцогине и леди Рондо пригласить к принцессе ее мужа, который и явился переодетый уже в домашнее платье, сопровождаемый одним только герцогом Курляндским. Когда принц вошел в уборную, императрица

поцеловала его и племянницу, пожелала им счастья и, сделав им наставление, чтобы они жили между собою дружно и мирно, весьма нежно распрощалась с ними и отправилась в Летний дворец.

В среду императрица дала в этом дворце ужин в честь молодых. На этом собрании дамы поражали великолепием своих нарядов, в особенности же новобрачная, на которой было платье из золотой ткани, с выпуклыми по ней цветами, отделанное пурпуровой бахромой; из такой же золотой ткани был сшит и костюм принца Антона. Молодые, цесаревна Елизавета и семейство герцога Курляндского сидели во время ужина за особым столом, а императрица, прохаживаясь по зале, освежавшейся устроенным в ней фонтаном, подходила к гостям и приветливо разговаривала с ними. Ужин отличался изысканностью и обилием яств, а также поразительной роскошью обстановки.

– Уж больно утомилась я, – говорила императрица окружающим ее лицам. – Надобно и мне самой отдохнуть, да и другим дать покой. – И по воле государыни днем всеобщего

отдыха был назначен четверг.

Более всех, несмотря на свою молодость, истомилась Анна Леопольдовна; для нее, нелюдимки по природе и выросшей в уединении, многочисленное общество всегда было в тягость. Теперь же такая тягость чувствовалась еще сильнее. Для нее невыносимо было являться при всех торжествах на первом плане, привлекать к себе любопытные взгляды всех присутствовавших и выслушивать льстивые поздравления с таким событием в ее жизни, которое она считала вечным для себя несчастьем. Но делать было нечего – приходилось веселиться поневоле или, по крайней мере, хоть показывать веселый вид. С глубоко затаенным в душе желанием – встретить хоть в ком-нибудь выражение участия к своей печальной судьбе – посматривала вокруг себя новобрачная принцесса, но на лицах, окружавших ее, она встречала только радостные, приторные улыбки, еще более раздражавшие ее. Только однажды в толпе гостей заметила она задумчиво смотревшего на нее какого-то молодого человека, и ей показалось, что только один он в этой веселой и

шумной толпе, блиставшей и бриллиантами, и золотом, и серебром и разодетой в шелк, бархат и кружева, сочувствует ей, понимает гнетущее ее горе. Теперь с Анной Леопольдовной случилось то, что часто бывает и с другими: иногда незнакомые между собой люди, встретившиеся первый раз и не обменявшись еще друг с другом ни одним словом, как будто понимают друг друга и чувствуют какое-то невольное влечение один к другому. Такое чувство испытывала теперь на себе Анна Леопольдовна: ей казалось, что задумчивость молодого незнакомца ей еще человека происходила под впечатлением того, что он видел, а ласковый его взгляд, внимательно и как-то заботливо следивший за принцессой, убеждал ее в справедливости такой догадки. Она нарочно прошла мимо него и приветливо взглянула на него. Он заметно смешался, выронил из рук свою треугольную шляпу и, поспешно схватив ее с полу, скрылся в толпе, не решаясь уже показаться в этот вечер на глаза принцессе.

Замеченный Анной Леопольдовной придворный кавалер не произвел, впрочем, на

нее никакого впечатления своей не отличавшейся ничем наружностью; он обратил на себя ее внимание потому только, что, как показалось ей, понимал ее тяжелое положение и должен был в душе сочувствовать ее страданиям. Принцесса в настоящем случае не обманывалась: этот молодой человек был страстный поклонник ее, как женщины, и радостно ожидал того дня, когда, быть может, императорская корона засияет на ее голове.

Отдохнув один день, двор снова принялся веселиться, и в пятницу, после полудня, в залах Зимнего дворца открылся придворный маскарад. Несмотря на летнюю пору, когда так легко было устроить настоящий сельский праздник, императрица желала видеть такой праздник в стенах своего дворца, и потому в длинной его галерее было устроено что-то вроде луга со столами и скамейками, покрытыми цветами. Главной же особенностью этого маскарада были четыре кадрили; из них каждая была составлена из двенадцати пар. В первой кадрили явились новобрачные. Как они, так и прочие, участницы и участники в этой кадрили одеты были в домино оранже-

вого цвета с маленькими такого же цвета шапочками на головах, с серебряными кокардами и с небольшими воротничками из кружев, завязанными лентой, вытканной из серебра. В составе этой кадрили находились со своими супругами те иностранные министры, государи которых были в родстве с принцем или с принцессой.

Во главе второй кадрили были цесаревна Елизавета и принц Петр Курляндский в зеленых домино с золотыми кокардами и все участвовавшие в этой кадрили были одеты так же, как принцесса и принц. Предводителями третьей кадрили были герцогиня Курляндская и Салтыков, родственник императрицы. Кадриль эта имела голубые домино с розовыми кокардами, и наконец, участвовавшие в четвертой кадрили, – во главе которой явились принцесса Гедвига, дочь герцога Курляндского, и его второй сын принц Карл, – были одеты в домино красного цвета, с зелено-серебряными кокардами. Маскарад окончился роскошным ужином. Императрица не была замаскирована и, как внимательная хозяйка, прохаживалась целый вечер между го-

стями, обращаясь к ним то с ласковым словом, то с благосклонной шуткой. На всех придворных собраниях принц Антон-Ульрих, несмотря на свое новое, упроченное уже положение, вследствие брака с племянницей императрицы, по-прежнему представлял из себя ничтожную личность: он заметно терялся не только при обращении к нему государыни, но и при приближении герцога. С плохо скрываемой досадой смотрела Анна Леопольдовна на своего робкого и неловкого супруга, и в обидную для него противоположность в воображении принцессы являлся блестящий граф Линар, изящный, находчивый, со смелым взглядом, твердой поступью и мужественной осанкой.

При бракосочетании Анны Леопольдовны на было соблюдено обычаев, сопровождавших еще в ту пору свадьбы даже в домах знатных русских семейств, и в народе ходил говор, что от такой не по-русски справленной свадьбы ждать добра нечего. Исполнен был только один старинный обычай, а именно: когда в субботу государыня обедала в покоях новобрачной, то молодые прислуживали ей

за столом как самой почетной гостье. После обеда было оперное представление в дворцовом театре.

Ряд празднеств окончился маскарадом в саду Летнего дворца. Сад был красиво иллюминирован, и в заключение торжества на берегу Фонтанки был сожжен великолепный фейерверк, состоявший из множества бомб, ракет и прочих увеселительных огней, а также из вензелей с аллегорическими изображениями, подходившими к тому случаю, для которого он был приготовлен. В течение целой недели на Неве стояли яхты, пестро разукрашенные флагами, которые с наступлением темноты заменялись разноцветными фонарями. Для народа перед дворцом были устроены фонтаны из белого и красного вина, а также были выставлены жареные быки и разные другие яства. Сама императрица бросала с балкона в толпу пригоршни серебряных денег.

Сохранилось до нашего времени известие о том впечатлении, какое должны были производить на посторонних и невольный брак Анны Леопольдовны, и происходившие по поводу этого блестящие, шумные торжества.



«Все это делалось, – писала леди Рондо своей приятельнице в Лондоне, – для того, чтобы соединить двух особ, которые, как я убеждена, искренне ненавидят друг друга; думаю, что это можно сказать с уверенностью, по крайней мере, насчет принцессы: она явно и резко выказывала это в продолжение всех праздников, бывших в течение недели».

Молодая чета поселилась на постоянное житье в одном дворце с императрицей, но на особой половине, обращенной окнами на нынешнюю Александровскую площадь. Сравнительно с прежним Анна Леопольдовна не пользовалась большей свободой. Причиной этого был, впрочем, не супруг принцессы, в глазах которой он не имел решительно никакого значения, но подозрительность императрицы и герцога держала молодых в отчуждении от общества. Впрочем, и сама Анна не искала никаких развлечений. Она желала прежде всего уединения, ограничивая свое общество небольшим кружком близких к ней лиц, и постоянной, а вместе с тем и более всех любимой собеседницей была по-прежнему Юлиана Менгден, приобретающая над нею все

более и более влияния и употреблявшая его не в пользу принца.

Двор принцессы и принца был составлен из немногих лиц, в число которых вскоре после свадьбы был назначен в должность адъютанта и тот молодой человек, которого однажды заметила принцесса и которого она считала своим доброжелателем. Новый адъютант принца назывался Грамотин; он считался серьезным и деловым человеком, почему и заведовал канцелярией своего начальника. Теперь Анне Леопольдовне часто приходилось встречаться с ним, когда он являлся с докладом к принцу. Но первое впечатление, произведенное на нее Грамотиным, несколько изгладилось; принцесса относилась к нему без особого благоволения, заметив в нем особенное старание угождать принцу и заискивать его благосклонность. Вскоре принцесса дошла до того, что перестала обращать на Грамотина внимание, а между тем он все сильнее и сильнее влюблялся в нее, мечтая о том, что, быть может, придет пора, когда ему представится случай пожертвовать для нее своей жизнью.

Молодая чета жила очень не ладно между собою, и, по всей вероятности, неприязненное расположение Анны Леопольдовны к мужу выражалось бы еще резче, если бы только ее не сдерживала тетка, которая постоянно вмешивалась в их супружеские раздоры и, ввиду покорности принца – качества, признаваемого со стороны императрицы одной из главных добродетелей, – принимала обыкновенно его сторону, журуя принцессу и внушая ей уступчивость мужу. Принц находил, впрочем, для себя поддержку и с другой еще стороны. Венский двор вскоре после его брака с принцессой Анной начал сильно настаивать, чтобы новобрачный «в уважение теперешнего его родства и огромных способностей» получил право заседать в Кабинете и в военной коллегии. Такое требование чрезвычайно сердило герцога Курляндского, относившегося к принцу с крайним пренебрежением.

Однажды герцог, проводивший часть лета во дворце, находившемся в Летнем саду, прогуливался по аллеям этого сада, и при повороте на одной из них он встретил секретаря саксонского посольства Пецольта. Герцог пригла-

сил его пройти по саду вдвоем. После разговора о том о сем зашла между герцогом и дипломатом речь о политических делах и коснулась между прочим покровительства, оказываемого венским двором принцу Антону.

– Венский двор, – заговорил раздраженным голосом герцог, давая полную волю своему вспльчивому нраву, – считает здесь себя как дома и думает управлять делами в Петербурге, но он сильно ошибается! Если же в Вене такого мнения, что у принца Брауншвейгского прекрасные способности, то я готов уговорить императрицу, чтобы принца совсем передать венскому двору и послать его туда, так как там настоят надобность в подобных мудрых министрах.

Пецольт, как тонкий дипломат, приятно улыбался в угоду герцогу, поощряя тем самым его расходившееся остроумие.

– Каждому известен принц Антон-Ульрих, – продолжал язвительно герцог, – как человек самого посредственного ума, и если его дали в мужья принцессе Анне, то при этом не имели и не могли иметь другого намерения, кроме того, чтобы он производил на свет де-

тей, но и на это-то он не столько умен – принцесса до сих пор держит его от себя в почти-тельном отдалении. Если же у него будут дети, – добавил герцог – то надобно только желать, чтобы они не были похожи на него.

Говоря эти колкости насчет принца Антона, герцог в некотором отношении был прав. Императрица долго ожидала рождения своего наследника, так как Анна Леопольдовна только в августе 1740 года родила принца, нареченного при крещении Иоаном; в известительном манифесте об его рождении новорожденному не было придано отчества, как будто он даже и не считался сыном принца Антона.

Анна Иоановна, несмотря на суровость своего характера, выказывала к новорожденному Иванушке особенную нежность. Тотчас после рождения принц был перенесен в собственные покои государыни и был там оставлен под попечительным ее надзором. Она заботливо навещала его во всякое время дня; пеленали и распеленывали его не иначе, как только в присутствии герцогини Курляндской, принявшей на себя заботы о новорож-

денном, между тем как Анна Леопольдовна была устранена от всякого за ним ухода. По случаю рождения принца слышался всюду торжественный грохот пушек, раздавался колокольный звон, и храмы оглашались молебным пением об его благоденствии и многолетию.

## VIII

Еще весной 1740 года стала разноситься в Петербурге молва о том, что здоровье государыни слишком ненадежно. Говорили об этом, впрочем, между собою только близкие друг с другом люди, да и то с большой осторожностью. Между тем лазутчики герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли повсюду: они втирались в дома, забирались в присутственные места и казармы, шлялись по кабакам, рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, подслушивая, о чем толкует народ и вызывая сами людей словоохотливых на опасные речи, привлекавших болтливых на расправу в тайную канцелярию. В числе таких соглядатаев был даже кабинет-секретарь Яковлев, одевавшийся для шпионских прогулок в старый мужицкий кафтан. Впрочем, осторожность, к которой попривыкли уже в Петербурге, не доставляла теперь лазутчикам слишком большой поживы, так что, по-видимому, все обстояло благополучно, но тем не менее в воздухе как будто чуялась близость какой-то перемены. Это было затишье

перед бурей.

Лето этого года было превосходное. По своему обыкновению императрица провела его в Петергофе; там она несколько поправилась, но по возвращении к осени в город болезнь ее стала заметно усиливаться, и к прежним недугам прибавилась еще постоянная бессонница.

– Целые ночи напролет глаз не сомкну и мучаюсь, – жаловалась Анна Иоановна и докторам, и приближенным к ней лицам, рассказывая им о своем нездоровье.

Действительно, бессонные ночи были для нее мучительны. Припоминая в это томительное время прошлое, она терзалась, когда приходили ей на мысль казни Долгоруких и Волынского; ей чудились их окровавленные призраки; но тщетно старалась она отогнать от себя страшные грезы. Душевное ее расстройство было чрезвычайно сильно, и совесть напомнила ей немало грехов, принятых ею на душу и ведением, и неведением.

Слухи об упадке сил императрицы, хотя и смутные, безостановочно выходили из дворца и распространялись по городу, а один



необыкновенный и загадочный случай подал повод к усиленномуговору о близкой кончине государыни, и даже вовсе не суеверные люди увидели теперь несомненное предзнаменование этого события.

В один из последних дней сентября месяца сильный морской ветер быстро и безостановочно гнал по небу тяжелые, темные тучи. Дождь шел ливнем. Непогода и грязь задерживали жителей Петербурга по домам, и потому к ночи и без того уже неоживленные улицы города сделались совершенно пусты. Нева с шумом катила свои черные волны, выступая из берегов с чрезвычайной быстротою, а часто повторявшиеся со стен Петропавловской крепости и с Адмиралтейства пушечные выстрелы – эти предостерегательные сигналы, установленные еще Петром Великим, – оповещали обитателей столицы об опасности, угрожавшей им от наводнения.

В эту ночь едва ли кто-нибудь в Петербурге лег спать. Все ожидали, что, быть может, придется перебираться на вышки и чердаки. В ту пору наводнения в Петербурге, при несуществовании еще Обводного канала и при

невозможности отступления воды в подземные трубы, что бывает теперь, происходили чрезвычайно быстро, и Нева, не сдерживаемая еще гранитными берегами, заливала прибрежные местности даже не при сильном морском ветре. При Петре I наводнения были очень часты, но они не только не пугали водлюбивого царя, но даже напротив, забавляли его. Так, он, сообщая в одном из своих писем к князю Меншикову о бывшем в Петербурге наводнении, когда вода в комнатах царского домика доходила до 21 дюйма, а по улицам плавали в лодках, писал: «Зело было потешно, что люди на кровлях и деревьях будто во время потопа сидели, не точию (не только) мужики, но и бабы».

Петербургские жители и жительницы не слишком, однако, были рады предстоящей им теперь подобной ночной потехе и такому не слишком удобному сиденью. Одни из них тоскливо поджидали близких им людей, не вернувшихся еще домой; другие вытаскивали из погребов съестные запасы, укладывали свои пожитки и начинали переносить их в верхние жилыя и на чердаки; третьи готови-

ли лодки и ялики, чтобы перебраться на них в местности города, не залитые еще водою. Когда же среди ночной тьмы и воя бури вдруг, точно молния, вспыхивал на небе красноватый блеск выстрела и следом затем грохотала пушка, то одни набожно крестились, а другие боязливо взглядывали друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше? Между тем ветер продолжал бушевать с такими сильными порывами, что, казалось, грозил не только вырвать оконные рамы, но и разметать деревянные домишки, из которых тогда состоял почти весь Петербург. С крыш летели сорванные ветром черепицы, доски и железные листы, также сыпались обломки кирпичей от опрокинутых дымовых труб.

В эту пору жильцы тех домов, которые выходили окнами на Адмиралтейскую площадь, были поражены странным зрелищем. В окна этих домов вдруг ударил какой-то мигающий багровый свет, казавшийся отблеском начинавшегося пожара. Тревога еще сильнее овладела увидевшими этот свет: ясно было, что две могучие силы природы – вода и огонь – соединялись теперь вместе для беспощадного

истребления и людей, и их достояния. Все кинулись к окнам, и тогда изумление глядевших достигло крайних пределов.

Багровый свет выходил из-под арки Адмиралтейства, стоявшей на том же месте, где и нынешняя. В то время здание Адмиралтейства имело такой же средний фасад, как и теперь, с высоким над ним шпилем; оно было окружено валами и рвами, в нем хранились припасы и снаряды морского ведомства, и с сумерек все ворота Адмиралтейства запирались наглухо, так что не было ни входа туда, ни выхода оттуда. Свет под аркой усиливался все более и более, и из растворенных ворот медленно начали выступать факельщики. Выйдя из-под арки, они брали влево ко дворцу; ветер сильно раздувал пламя факелов, и вскоре вся площадь озарилась каким-то зловещим багровым светом.

– Непроглядная тьма бурной сентябрьской ночи не позволяла рассмотреть, что следовало в самом недалеком расстоянии за факельщиками, тянувшимися длинной вереницей. Несомненно, однако, было, что по площади двигалась похоронная процессия. Но кого же

могли хоронить так пышно, судя по множеству факелов? Никто из людей известных не умирал в это время в Петербурге, да никто из них и не жил в Адмиралтействе. Притом и похороны ночью не были в обычае.

Несмотря на страшную непогоду, иные выскочили сами на площадь, иные послали прислугу, чтобы узнать, кого хоронят. Бросившиеся опрометью на разведку очутились по колено в воде, залившей площадь; ветер то сшибал их с ног, то крутил их на месте, срывая с голов шляпы и шапки. Если же некоторые, весьма, впрочем, немногие, молодцы и побежали смело вперед, несмотря на все препятствия, то и они не могли догнать процессии: она отдалялась от них по мере их приближения, и они видели только, как факельщики входили в ворота дворца, обращенные на площадь.

После полуночи, часа в два, ветер начал стихать, и вода быстро пошла на убыль. На другой день утром весь город толковал не столько о наводнении, сколько о загадочных похоронах. Рассказывали, что погребальная процессия, войдя в одни ворота дворца, про-

шла через двор и затем вышла в другие ворота на Неву и, взяв направо, следовала вдоль берега реки, но никто не мог разузнать, где она скрылась, а также никто не имел возможности осведомиться о том, кого хоронили. Рассказывали тоже, будто сама императрица была очевидицей этого явления, которое потрясло ее вконец, так как она признала в нем предвестие своей смерти.

При суеверном настроении умов распространился и другой еще диковинный рассказ. Толковали, будто императрице доложили, что по ночам в тронном зале бывает свет, но что туда в это время без ее разрешения никто войти не смеет. Императрица пожелала сама узнать, в чем дело, и вот однажды ночью, когда свет появился в окнах тронной залы, она, в сопровождении дежурного своего штата и со взводом дворцового караула при заряженных ружьях, отправилась к дверям залы и приказала отворить их. Ужас овладел всеми, когда увидели, что на троне сидит сама государыня в роскошном одеянии, в порфире и с короною на голове. Императрица, как рассказывали, приказала солдатам сделать общий

залп по своему двойнику. Зазвенели разбитые пулями зеркала и оконные стекла, и когда рассеялись клубы порохового дыма, то привидение медленно встало с трона, прошло мимо императрицы и, погрозив ей пальцем, исчезло бесследно в зале, мгновенно охваченной непроницаемым мраком.

Несмотря на развивавшийся все более и более недуг, императрица бодрилась и оставалась на ногах, но 6 октября, когда она сядила за стол, ей сделалось так дурно, что ее без памяти отнесли на постель. Первый медик императрицы, Фишер, сказал тогда герцогу, что это дурной признак и что если болезнь государыни будет усиливаться, то надобно опасаться, что вскоре вся Европа наденет траур. Другой же врач государыни, португалец Антоний Рибейро Санхец, считал болезнь ее ничтожной. Императрица, однако, не доверяла этим придворным врачам и через комнатную свою девушку Авдотью Андрееву тайком советовалась с врачом Леистениусом, который приказал передать императрице, чтобы она насчет своей болезни не имела никакого опасения и принимала бы только красный

порошок доктора Шталя, который ей непременно поможет.

По возможности, и теперь старались скрывать действительную опасность, угрожавшую государыне. Хотя знатные особы обоего пола и члены дипломатического корпуса приезжали каждый день во дворец, чтобы согласно этикету того времени осведомиться о здоровье ее величества, но эти посещения имели вид приемов обыкновенных гостей, а не казались приездами лиц, заботившихся узнать о положении больной. Напускная веселость поддерживалась во дворце, и съезжавшиеся туда гости толковали о том о сем, и только вскользь, в неопределенных выражениях, заявлялось им о состоянии здоровья императрицы; бюллетени же не были еще в то время в обычае. Когда же однажды приехал во дворец французский посланник маркиз де ла Шетарди, то обер-гофмаршал, поблагодарив его за внимание, оказываемое государыне, предложил ему развлечься картами с принцем Антоном, который тот же час и устроил партию. Вследствие всего этого о здоровье императрицы ходили самые разноречивые тол-



ки, а между тем уже близился час ее кончины.

Томительные дни переживала в это время Анна Леопольдовна: неизвестность бывает почти всегда гораздо мучительнее, нежели какой бы то ни было печальный исход, и это испытывала теперь молодая принцесса.

Не предаваясь властолюбивым замыслам, Анна Леопольдовна тревожно ожидала решительного перелома в своей жизни: она, по воле своей тетки, или могла сделаться самодержавной ее преемницей и затем свести давние счеты со своим притеснителем герцогом Курляндским, или же остаться в прежней тяжелой от него зависимости, потеряв притом единственную свою покровительницу в лице государыни. Ничтожество ее мужа проявилось в это время во всей полноте: он ходил как растерянный и безоговорочно исполнял все, что приказывали ему не только герцог, но и обер-гофмаршал граф Левенвольд. Принцесса волновалась все сильнее и сильнее, смотря на своего робкого, ненаходчивого и бесхарактерного супруга.

Обыкновенно каждый человек мерит и хо-

рошие, и дурные качества другого по своей собственной мерке, и теперь в голове Анны Леопольдовны еще чаще стала мелькать мысль, что жизнь ее могла бы сложиться совершенно иначе, если бы она шла рука об руку с любимым ею, смелым и решительным человеком, и таким человеком казался ей граф Линар. Несколько лет разлуки не изгладили его из памяти принцессы. Она не забывала, что Линар из любви к ней, – в ту пору загнанной и беспомощной девушке, – решался на такие отважные поступки, которые могли навлечь на него страшную беду и расстроить всю его будущность. Ей казалось, что оскорбленная государыня и разгневанный герцог, узнав о тайных его сношениях с Анной, могли самовластно поступить с Линаром так, чтобы он исчез совершенно бесследно в далеком, никому не известном заточении. Все это придавало Линару в глазах молодой, влюбленной в него женщины особенную цену, и как сильно билось сердце при воспоминании о том, кто дал ей почувствовать первую любовь с ее мечтами и увлечениями! Ей живо припомнились теперь и непринуж-

денное обращение Линара с императрицей, его бойкость и находчивость в придворных собраниях, урывочные, но полные обошщения беседы с ним с глазу на глаз и, наконец, та горделивая неуступчивость перед герцогом, которую не раз выказывал Линар, отвечая на грубые выходки временщика тонкими остроумными колкостями. Анна не забывала, что при дворе один только Линар умел держать герцога, зазнававшегося перед всеми, в таком почтительном положении, что они оба были друг с другом на равной ноге.

– Если бы на месте принца Антона был граф Мориц, то он повел бы дело не так, как этот рохля, – думала Анна Леопольдовна, сравнивая Линара со своим мужем. – Тогда я не только была бы счастлива как женщина, но имела бы около себя надежного защитника от всяких невзгод, – добавляла мысленно Анна.

Линар был, однако, далеко, и принцесса давно уже не имела о нем ни прямых, ни косвенных вестей. Мечты ее о Линаре оставались несбыточными, а между тем действительность представляла для нее мало отрад-

ного.

6-го октября 1740 года определилось несколько будущее положение принцессы Анны Леопольдовны. В этот день сын ее манифестом императрицы был объявлен наследником престола на случай кончины владеющей государыни. Распоряжение это было сделано крайне неохотно, после того ужасного припадка, который возбудил сильные опасения за жизнь Анны Иоановны. Слишком ревнивая к своей власти, она до последней крайности медлила с назначением принца Ивана своим наследником, отзываясь, что «ежели-де его объявить великим князем, то уже всяк будет больше ходить за ним, нежели за нею».

Разумеется, что положение матери царствующего императора должно было бы быть самое блестящее, но теперь корона переходила к младенцу, лежавшему еще в пеленках. Другое лицо должно было править за него государством, и при этом принцесса-мать сталкивалась с опасным соперником – герцогом Курляндским, перед могуществом которого и собственное ее бессилие, и ничтожество ее

мужа были слишком очевидны...

# IX

Можно было подумать, что во дворце императрицы Анны Иоановны был назначен 17-го октября 1740 года какой-то праздник. В этот день вечером к главному подъезду дворца подъезжали с разных концов города кареты и колымаги, из которых выходили пышно разодетые вельможи. Но слабое освещение дворцовых зал, блиставших обыкновенно во дни празднеств бесчисленными огнями люстр и кен-кетов, господствовавшая во дворце тишина, озабоченные лица съезжавшихся туда вельмож, их перешептывание между собою и осторожная ходьба указывали, что на этот раз вельможи собирались во дворец государыни не на веселое пиршество. И точно, они спешили теперь туда, вследствие извещения их придворными врачами о том, что императрица была при смерти. Собравшиеся в приемной государыни сановники и царедворцы с тревожным ожиданием посматривали на двери, которые через ряд комнат вели в опочивальню государыни, откуда им должна была прийти весть о том, чем решилась судь-

ба империи, а сообразно с этим и участь многих из них, так как, при известной перемене, одни из них могли ожидать для себя нового почета и быстрого возвышения, тогда как другим предстоял при этом не только загон, но, быть может, и совершенное падение с добавкою к нему и конфискации, и дальнейшей ссылки.

Сломленная наконец давнишним и теперь сильно развившимся недугом, лежала на смертном одре Анна Иоановна, сохраняя еще полное сознание. Обширная опочивальня ее тускло освещалась двумя восковыми свечами, прикрытыми зонтом из зеленой тафты, и в этом полумраке в одном из углов комнаты ярко блестели в киоте, от огня лампадки, золотые оклады икон, украшенные алмазами, рубинами, яхонтами, сапфирами и изумрудами. Иконы эти были наследственные благословения, переходившие от одного поколения к другому сперва в боярском, а потом в царском роде Романовых.

У одного из окон царицыной опочивальни стояли два главных врача императрицы, Фишер и Санхец; они вполголоса разговаривали

между собой по-латыни, и по выражению их лиц нетрудно было догадаться, что всякая надежда на выздоровление государыни была уже потеряна и что они с минуты на минуту ожидали ее кончины. В соседней со спальней императрицы комнате находился духовник Анны Иоановны, готовый напутствовать умирающую чтением отходной.

Около постели императрицы стояли: убитый горем герцог Курляндский, его жена с красными припухшими от слез глазами и Анна Леопольдовна. Всегда задумчивое и грустное лицо принцессы выражало теперь чувство подавляющей тоски. Опустив вниз сложенные руки и склонив печально голову, она как будто олицетворяла собой и беспомощность, и безнадежность. Казалось, вся она сосредоточилась в самой себе, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее. Резкую противоположность с неподвижностью и сосредоточенностью принцессы представлял ее супруг. Он, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу и подергивая по временам вверх плечами, то с каким-то тупым любопытством взглядывал на умирающую, то



рассеянно смотрел на потолок и стены комнаты, то кидал недоумевающий взгляд на свою жену. Кроме этих лиц, в опочивальне императрицы находились еще любимая ее камер-юнгфера Юшкова и одна комнатная девушка, безотлучно ходившая за государыней.

Среди тишины, бывшей в опочивальне государыни, послышался за дверь в соседней комнате сдержанный шум тяжелых шагов. Герцог, стоявший около двери, быстро приотворил ее и, делая знак рукой, чтобы приближавшиеся люди приостановились, подошел к императрице и, нагнувшись к ней, спросил тихим голосом, позволит ли она явиться графу Остерману? Анна Иоановна движением головы выразила согласие, и тогда герцог повелительно указал глазами принцу Антону, чтобы он растворил двери. Принц исполнил приказание герцога, и четверо гренадер от дворцового караула внесли в спальню государыни в креслах графа Андрея Ивановича Остермана, и она, напрягая свои силы, приказала, чтобы его посадили у изголовья ее постели.

При появлении Остермана находившиеся

около императрицы поспешили выйти из комнаты, и из всех бывших там прежде остались теперь герцог, принц и принцесса.

– Не угодно ли будет вам удалиться отсюда, – сказал сурово герцог принцу и с такими же словами, но только произнесенными мягким и вежливым тоном, он обратился к Анне Леопольдовне.

Принц Антон не заставил герцога повторить приказание и, почтительно поклонившись ему, начал осторожной поступью, на цыпочках, выбираться из спальни. Но Анна Леопольдовна как будто не слышала вовсе распоряжения герцога: она оставалась неподвижно на том месте, где стояла.

– Я покорнейше прошу ваше высочество, – сказал ей с некоторой настойчивостью герцог, – отлучиться отсюда на короткое время: ее величеству угодно наедине, в присутствии моем, переговорить с графом...

Анна не трогалась с места и только презрительным взглядом окинула герцога.

Императрица заметила происходившее между герцогом и своей племянницей и в сердцах начала говорить что-то, но не совсем

внятно. Остерман догадался, в чем дело. Делая вид, что силится привстать с кресел, он обратился лицом к Анне Леопольдовне и почитительно сказал ей:

– Ваше высочество, ее императорскому величеству угодно на некоторое время остаться только с его светлостью и со мной.

Принцесса порывисто бросилась к постели и, схватив руку тетки, крепко несколько раз поцеловала ее, и затем, не говоря ни слова, спокойно, тихими шагами вышла из комнаты.

– Ого! – подумал герцог, смотря вслед удалявшейся Анне Леопольдовне, – с ней, чего доброго, придется повозиться.

Герцог, выпроводив всех, заглянул из предосторожности за обе двери и, уверившись, что теперь никто не может подслушивать, стал около кресла Остермана.

– Осмелюсь доложить вашему императорскому величеству, – начал нетвердым и прерывающимся голосом Остерман, – осмеливаюсь доложить по рабской моей преданности, что хотя Всевышний и не отнимает у верно-подданных надежды на скорое выздоровле-

ние матери российского отечества, но что тем не менее положение дел теперь таково, что вашему величеству предстоит необходимость явить еще раз знак материнского вашего попечения о благе под скипетром вашим управляемых народов.

– Ты, видно, хочешь сказать, Андрей Иванович, что настало надобность в моем завещании о наследстве престола и о регентстве?

– Никто не сомневается в выздоровлении вашего величества, – подхватил герцог, – но обстоятельства теперь таковы, что если вы, всемилостивейшая государыня, не объявите вашей воли, то впоследствии нас, лиц самых приближенных к вам, русские станут укорять в злых умыслах и не упустят обвинять в том, что мы, пользуясь случаем, хотели установить безначалие, с тем чтобы захватить власть в свои руки.

– Его светлость имеет основание высказывать перед вашим величеством подобные опасения, – заметил Остерман, вынимая бумагу из кармана.

– Какая у тебя это бумага? – спросила государыня Остермана.

– Завещание вашего императорского величества.

– А кто писал его?

Остерман приподнялся и, поклонившись, отвечал: «Ваш нижайший раб».

Сказав это, Остерман начал читать завещание и когда дошел до той статьи, по которой герцог Курляндский назначался регентом на шестнадцать лет, т. е. до совершеннолетия будущего императора, то Анна Иоановна спросила герцога: «Надобно ли тебе это?».

Герцог упал на колени у постели, целуя ноги императрицы, высказал ей ужасное положение, в какое он будет поставлен, если Всевышний, сверх ожидания, к прискорбию верноподданных, воззовет к себе его благодетельницу прежде его самого. Он напоминал ей о своей безграничной преданности, о многих годах, проведенных с нею безотлучно, о сильных и неумолимых врагах, которых он нажил себе, слепо повинуюсь ее воле, об участи своего семейства, которое остается без всякой помощи, на произвол судьбы.

Остерман поддерживал слова герцога, пуская в ход свое красноречие.

– Поддай мне перо, Эрнест, – сказала наконец императрица Бирону.

Герцог живо исполнил это приказание и стал поддерживать императрицу, которая, приподнявшись на постели, подписала дрожащей рукой бумагу, положенную перед нею Остерманом на маленьком столе, стоявшем возле нее.

– Мне жаль тебя, герцог! – сказала императрица, бросив перо и отстраняя от себя рукою подписанную ею бумагу.

Слова эти сделались историческими, и после превратностей, постигших Бирона, прозорливые историки стали видеть в них пророчество о печальной судьбе герцога. Но кто знает, не были ли эти слова простым выражением скорби, навеянной на Анну Иоановну при мысли о вечной разлуке с таким близким человеком, каким был для нее ее любимец?

– Ты кончил все, Андрей Иваныч? – спросила государыня Остермана.

– Кончил, ваше величество, но я надеюсь вскоре снова явиться к вам для получения высочайших ваших повелений по некоторым делам, – сказал граф.

Анна Иоановна отрицательно покачала головой.

Герцог вышел в другую комнату, и через несколько минут вошли в спальню гренадеры, чтобы вынести на креслах Остермана.

– Прощай, Андрей Иваныч! – сказала ласково государыня, протягивая руку Остерману, который с трудом нагнулся в креслах, чтобы поцеловать ее.

Когда Остерман был вынесен в приемную, то находившиеся там адмирал граф Головин и обер-шталмейстер князь Куракин сказали ему: «Мы желали бы знать, кто наследует императрице».

– Молодой принц Иван Антонович, – ответил кабинет-министр, не сказав ни слова ни о завещании, ни о назначении регентом герцога Курляндского.

Ответ Остермана распространился тотчас между вельможами, бывшими в это время во дворце, а потом перешел в городскую молву.

– Значит, царством будет править принцесса Анна Леопольдовна, – говорили в городе.

– Да кому же другому, как не ей, – замеча-

ли на это, – ведь она ближе всех императрице, да притом и родная внучка царя Ивана Алексеевича, ведь не быть же приставниками при государе герцогу Курляндскому или принцу Антону, – герцог ему чужой человек, а принц хоть и родитель, да никуда не годится – труслив как заяц.

Затем начались толки о принцессе, и большинство голосов склонялось в пользу ее, как женщины доброй и рассудительной.

Подпись завещания, трогательные речи герцога жестоко потрясли Анну Иоановну. Силы ее стали быстро упадать, и она, сознавая приближение смерти, выразила желание проститься с близкими к ней людьми.

Осторожно, едва переводя дыхание, начали теперь входить в опочивальню царицы из приемной бывшие там сановники. Становясь на одно колено у постели умирающей государыни, они целовали ее руку. Между прочими подошел к ней и старик Миних.

– Прощай, фельдмаршал, – сказала ему императрица, и это прощание было последними ее словами.

Императрица впала в тяжелое забытие.



Наступила борьба угасавшей жизни с одолевающей ее смертью. Государыня с трудом дышала и, открывая по временам глаза, казалось, хотела узнать окружающих ее. Теперь близ нее оставались герцог, герцогиня, Анна Леопольдовна с мужем, духовник и доктор Фишер. Дыхание умирающей постепенно делалось реже, отрывистее и тише; она с трудом поднимала отяжелевшие веки над помутившимися ее глазами и металась головой на подушке. Наступила минута спокойствия, государыня лежала неподвижно. Затем послышался глубокий вздох, за ним сперва глухое и потом все более и более усиливающееся хрипение, и умирающая вытянулась во весь рост, закинув на подушке голову.

В безмолвии, среди мертвой тишины, смотрели все присутствовавшие на отходившую в вечность грозную самодержицу.

Первый подошел к ней Фишер; он осторожно рукой коснулся пульса императрицы, потом положил руку на ее сердце, внимательно прислушиваясь к ее дыханию.

– Все кончено, – сказал он, обратившись к герцогу.

Герцогиня взвизгнула и опустилась без чувств в кресла, Бирон упал на колени и, прикинув головой к постели, зарыдал как ребенок. Принц Антон быстро заморгал глазами и, совершенно растерянный, не знал, что делать. Анна Леопольдовна сделалась еще бледнее, судорожное движение пробежало по ее губам, и она вперила свои темные, задумчивые глаза в лицо скончавшейся государыни, на котором проявлялось теперь торжественное спокойствие, набрасываемое обыкновенно смертью в первые минуты своей победы над отлетевшей жизнью...

Неподвижно оставался герцог у изголовья почившей государыни. Все прошлое быстро промелькнуло в его памяти. Среди воспоминаний о своем необыкновенном величии и могуществе ему грезилась теперь и пышность двора, и перлы герцогской, короны, и даже представлялась в какой-то туманной дали шапка Мономаха с протянутой к ней рукой. В ушах его гудел теперь звон кремлевских колоколов и слышались приветственные клики народа, раздавшиеся при появлении на красном крыльце только что венчан-

ной царицы. Но наряду с этими величавыми воспоминаниями теснились и другие, противоположные воспоминания: ему представлялись его родная, убогая немецко-латышская мыза с соломенной кровлей; ему припоминались дни кипучей его молодости, проводимые большей частью впроголодь; перед ним промелькнула даже и неприглядная кенигсбергская кутузка, в которой он – будущий владетельный герцог – отсидел некогда за долги, буйство и ночное шатанье. Теперь в голове его призраки недавнего блеска и славы мешались с призраками давнишнего убожества и ничтожества, и пораженный горем, герцог мгновенно оценил все, чем он был обязан единственно милостям императрицы. Последней из этих милостей было назначение его регентом империи, следовательно, власть не ускользала из его рук. Герцог ободрился при этой мысли и твердыми шагами вошел в приемную, где русская знать приветствовала его раболепным поклоном...

# Х

При распространившейся вести о кончине Императрицы весь Петербург ранним утром пришел в необыкновенное движение. Казалось, все жители его высыпали на улицы. Густые толпы народа валили к Летнему дворцу, на углах и перекрестках собирались отдельные кучки, принимавшиеся было судить и рядить о том, что теперь будет, но полицейские драгуны усердно разгоняли их. На площадях и в разных местах города расставляли пешие караулы и конные пикеты от гвардейских и напольных полков. На заставы был послан приказ не выпускать никого из города впредь до особого разрешения. Полиция торопилась запереть кабаки и бани, чтобы предупредить народные сборища. На площади перед Зимним дворцом выстраивались полки. На улицах по мостовой и по голой земле, охваченной первыми морозами, глухо стучали экипажи сановников, царедворцев и высших военных чинов, спешивших в Зимний дворец для принесения присяги новому государю, безмятежно спавшему в колыбели.

Когда на дворцовой площади выстроились войска, то им было прочитано распоряжение императрицы о наследии престола и о назначении герцога Курляндского регентом империи.

– Вот тебе и на, – слышалось в войске, – а родительница-то государя при чем же теперь будет?

– А что же станет делать принц Брауншвейгский? – спрашивал один гвардейский офицер своего товарища.

– Да что принц? Тряпка он, братец ты мой, больше ничего. Разве ты не видел, что он, как подполковник семеновского полка, зяб на площади, наравне с нами, когда читали указ о регентстве. Тут ли его место? Сына его возглашают государем, а он между солдатства находится. Принцессу-то жаль, братец ты мой, что поделает она с такой разиней?..

– Значит, опять пойдут прежние порядки? Плохо...

– Разумеется, плохо.

Подобные речи, в порицание герцога и принца и в сожаление к Анне Леопольдовне, слышались и в войске, и в народе, но делать

было нечего. Власть регента утвердилась окончательно, и он в новом звании принес перед фельдмаршалом Минихом торжественную присягу.

Твердя о своей безграничной привязанности к покойной государыне, герцог хотел оставаться при ее гробе до самого погребения и потому не переезжал в Зимний дворец из Летнего, где скончалась императрица и где должно было оставаться ее тело до перенесения его в Петропавловский собор. Между тем Анна Леопольдовна изъявила намерение переехать на житье в Зимний дворец и взять туда с собою своего сына. По поводу этого произошла бурная сцена.

– Я сегодня, герцог, переезжаю в Зимний дворец, – сказала регенту принцесса в присутствии своего мужа и его адъютанта Грамотина.

– Это зависит совершенно от воли вашего высочества, – отвечал с почтительным равнодушием герцог.

– Я беру туда с собой своего сына, – добавила принцесса.

– Этого никак нельзя допустить, – отрыви-

сто промолвил регент.

– Как нельзя? – спросила изумленная Анна Леопольдовна, окинув его высокомерным взглядом.

– Никак нельзя, – повторил настойчиво герцог. – Вам известно, что по воле покойной государыни император поручен непосредственным моим попечениям, и потому он постоянно должен быть там, где нахожусь я.

Принц кивнул головой в знак согласия и, заикаясь, начал бормотать что-то.

– Вы здесь, ваша светлость, ровно ничего не значите, – сказала запальчиво Анна Леопольдовна своему мужу, отдаляя его рукой от герцога. – Я без вас сумею свести мои счета с регентом и объявляю ему, что беру к себе своего сына.

Регент сделал было несколько шагов по направлению к дверям той комнаты, где был помещен император, но принцесса кинулась к этим дверям и загородила ему дорогу.

– Вы не войдете к его величеству... Я мать вашего государя, и никто в мире не отнимет у меня моего сына! – вскрикнула принцесса и опрометью побежала в его покои. Герцог

остановился и гневно взглянул на принца, который опять заикнулся сказать что-то.

– Я просил бы вашу светлость, – сказал раздраженный герцог, искавший, на ком бы сейчас же выместить свою досаду, – не вмешиваться в мои дела с принцессой. Вы слышали, что ее высочество сказала вам в глаза, и вы должны знать, что посредничество бывает хорошо только со стороны умных людей, а не... – Герцог как будто опомнился и не договорил слова, бывшего уже у него на языке.

Во время всей этой сцены Грамотин не знал, что ему делать. В запальчивости своей герцог не обращал на него внимания, а принц как будто не замечал его, и Грамотин, не получая ни от того, ни от другого приказа удалиться, считал своей обязанностью оставаться безотлучно при своем начальнике.

С радостным чувством смотрел Грамотин на бойкость и неуступчивость, так неожиданно проявившиеся в принцессе. От волнения он чуть не задышался.

«Недаром же полюбилась мне она, – подумал он, – право, за такую женщину и головы сложить не жаль».



Герцог случайно обернулся назад и, видя стоявшего навытяжку адъютанта принца, сделал ему знак рукой, чтоб он вышел.

– Вы, любезный мой принц, – начал по уходе Грамотина несколько ласковым голосом герцог, – должно быть, вовсе не понимаете настоящего вашего положения. Неужели же вы не замечаете, что жена ваша ненавидит вас... Впрочем, – добавил герцог со свойственной ему грубой откровенностью, – чтобы лучше уяснить вам отношения к вашей супруге, я должен сказать вам, что принцесса прямо говорила покойной государыне, что она лучше пойдет на плаху, чем выйдет за вас замуж. Понимаете теперь?

В это время под окном дворца послышался стук экипажа, и герцог увидел карету Анны Леопольдовны, подъезжающую к парадному подъезду, на который выходила принцесса в сопровождении мамки, несшей на руках укутанного в теплое одеяло императора. Герцог быстро накинул обыкновенно носимый им темно-синий бархатный плащ, подбитый горностаем, и выбежал на подъезд. В это время принцесса, посадив сына в карету, станови-

лась сама на подножку. Регент понял, что теперь пререкания с Анной Леопольдовной будут и неуместны, и бесполезны, и потому, сняв свою с алмазным аграфом шляпу, почти-тительно помог принцессе сесть в карету, отдав ей на прощание низкий поклон.

В тот же день вечером регент свиделся с Остерманом и передал ему затруднения, какие встречает он в своих отношениях к Анне Леопольдовне.

– Я знаю очень хорошо характер принцессы, – начал спокойно Остерман, выслушав жалобы регента, – подобные вспышки будут у нее повторяться часто, и если бы у нее нашелся когда-нибудь твердый и умный руководитель, не такой, конечно, как ее супруг, то она была бы в состоянии отважиться на многое. Надобно, как я думаю, подчинить принцессу влиянию такого человека, который был бы нам безусловно предан...

– Да где найдешь его?.. – спросил регент.

– А граф Линар. Мы вызовем его сюда, доставим почетное положение, дадим ему богатство, он сблизится с принцессой, и затем, как обязанный всем вашей светлости, Линар

будет на нашей стороне. При таком условии представится для нас еще и другая выгода: Линар – немец, а потому немцы и найдут в нем поддержку.

– Но, быть может, Анна забыла совсем Линара? Скоро три года, как он уехал из Петербурга.

– Поверьте мне, ваша светлость, что она не успела еще забыть его. У таких женщин, как она, первая любовь долго, даже очень долго не изглаживается из сердца. Повторяю, что я знаю очень хорошо принцессу, я слишком много слышал о ней от г-жи Адеркас, и убежден, что она очень охотно променяла бы на любовь не только власть правительницы, но и корону.

В то время, когда герцог и Остерман обдумывали способы к исполнению этого коварного плана, в Летнем дворце шли деятельные приготовления к парадной выставке набальзамированного тела императрицы. С той стороны Летнего дворца, которая была обращена к саду, виднелось траурное убранство: не только главный средний вход, но и два боковые входа были завешаны снаружи занавесами

из черной байки с отделкой из черного флера. Над главным входом был повешен государственный герб, окруженный гербами тогдашних тридцати двух русских провинций.

Стены главной дворцовой залы были убраны так, что казалось, они были отделаны черным мрамором с желтыми жилками. У стен около окон стояли двойные столбы из серого мрамора на мраморных пьедесталах темно-желтого цвета. По сторонам окон и дверей шли горностаевые каймы, а сами двери и окна были завешаны черным сукном, которым были обиты и потолок, и пол залы. Карниз около всей залы был отделан золотой парчой и белой кисеей, а над карнизом возвышались вышитые по золотому полю черные двуглавые орлы, под самым же потолком были размещены гербы провинций, и каждый из этих гербов поддерживался двумя младенцами. Это должно было означать, что все провинции России лишились своей матери. «Для большого же изъявления печали, – говорилось в современном описании убранства залы, – означены были при окнах на черных завесах многочисленные серебряные слезы, ко-

торые должны были происходить от помянутых при гербах представленных плачущих младенцев».

При одной из стен залы был устроен катафалк, возвышавшийся на несколько ступеней, и на нем был поставлен одр. Ступени катафалка были обиты малиновым бархатом и украшены богатым золотым галуном, а одр был застлан драгоценным с черными орлами покровом из золотой парчи, широко раскинутым на все стороны. Кисти и шнуры покрыва были сделаны из «волоченного» золота. Позади гроба стена была покрыта широкой императорской мантией из золотой парчи с вышитыми орлами, подбитой горностаем; золотые шнуры мантии держала с каждой стороны «крылатая фама», т. е. слава, обыкновенной человеческой величины, а среди мантии был помещен государственный герб.

На одре был поставлен золотой гроб с серебряными скобами и такими же ножками. В нем лежала покойная государыня в императорской короне; на груди ее блеснул драгоценный бриллиантовый убор, а шлейф ее серебряной глазетовой робы был выпущен из гроба

на несколько аршин. Гроб был осенен золотым балдахином, подбитым горностаевым мехом.

По четырем сторонам гроба «сидели в печальном виде и в долгой одежде четыре позолоченные статуи», представлявшие радость, благополучие, бодрость и спокойствие. Печальный их вид должен был означать, что «российская радость пресеклась; все благополучие прекратилось, вся бодрость упала, и самое спокойствие миновало». На верхней ступени катафалка стояло десять обитых малиновым бархатом табуретов с золотыми ножками, с золотыми глазетовыми подушками, на них лежали корона императорская и короны царств: Казанского, Астраханского и Сибирского, скипетр, держава и знаки орденов: андреевского, александровского и екатерининского, а также польского белого орла. От катафалка по обеим сторонам в длину залы были расставлены «добродетели в подобии белых мраморных статуй». Они изображали ревность к Богу, веру, храбрость и множество других добродетелей почившей государыни, в числе которых было и «великолепие». Статуи

эти были украшены напыщенными девизами. На стенах залы висели медальоны, напомиравшие на письме и в живописи подвиги, славу и добродетели Анны Иоановны. Сверх всего этого в зале было здание, сделанное из мраморных серых и красных досок в виде пирамиды, на которой была изображена хвалебная надпись в честь покойной государыни, и на эту надпись указывала вылитая из металла в обыкновенный рост статуя России.

С потолка залы спускалось шестнадцать больших серебряных и хрустальных паникадил; при окне и при каждой двери стояли огромные хрустальные канделябры, так что вообще в зале постоянно горела тысяча восковых свечей.

Среди этой пышно-льстивой и как будто языческой обстановки громко раздавались возглашаемые дьяконом слова евангельского обетования: «И изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда»...

# XI

Снежная октябрьская вьюга свободно гуляла по широким улицам и тогдашним пустырям Петербурга, то наметая, то разметывая огромные сугробы снега, резво кружившегося в воздухе и клубами поднимавшегося с земли. Вечерело, и фонари, заведенные в Петербурге еще с 1723 года Петром Великим, стали тускло мерцать на огромных расстояниях, задуваемые сильным ветром. В эту пору, закутавшись в епанчу и нахлобучив на глаза шапку, пробирался с адмиралтейской стороны на Васильевский остров, в бывшие тогда еще там «светлицы» или казармы Преображенского полка, вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин к своему приятелю поручику Ханыкову, который, по месту своей службы, жил в одной из светлиц этого полка.

Светлица была простой бревенчатой избой в пять маленьких окон по главному фасаду и с входной посреди их дверью, ведущей в обширные сени, по бокам которых шли комнаты, отводимые для жилья офицерам и нижним чинам. Быт тогдашних гвардейцев, за ис-



ключением высших чинов или офицеров, особенно богатых, не отличался ни изысканностью, ни удобством обстановки. Так, поручик Ханыков, человек не слишком достаточный, жил в довольно просторной комнате с маленькими окнами. Стены его жилья были деревянные, ни оштукатуренные, ни оклеенные обоями. В переднем углу, по православному обычаю, висело много икон с постоянно теплившейся перед ними лампадкой, на стенах наклеены были суздальские лубочные картинки, преимущественно благочестивого содержания, между ними висело небольшое зеркальце. К стене были прислонены тогдашний тяжелый мушкет и протазан – стальное копьё на черном трехаршинном древке с серебряными кистями. На стене виднелись также развешанные в большом порядке служебные доспехи поручика: огромная шпага с перевязью из выбеленной лосиной кожи; черная кожаная шапка с кругловатой тульей, с желтой медной бляхой и с большим черным страусовым пером; суконный темно-зеленого цвета кафтан с маленьким отложным воротником, обшлагами и оторочкой из красного

сукна и с желтыми медными пуговицами и красный суконный камзол. Наряд этот, вздетый на поручика, дополнялся красными суконными панталонами, белым галстуком и высокими сапогами с раструбами или, при большом параде, башмаками с огромными медными пряжками при белых чулках. Время теперь было смутное, не ровен был каждый час; офицера могло потребовать начальство во всякую минуту, и поэтому предусмотрительный поручик держал наготове весь свой убор, чтобы явиться на полковой двор тотчас же при первом ударе тревоги.

Меблировка у поручика была весьма не затейлива: в комнате стояло несколько простых, окрашенных красной краской кресел, обитых черной кожей, такое же жесткое канапе и постель, сооруженная из наследственных перин и подушек, устроенная на козлах из простого белого дерева. Не более как несколько дней тому назад на этом ложе поручик спал богатырским сном, возвращаясь с утомивших его экзерциций, обходов и караулов. Но теперь, говоря поэтически, сон не смыкал его вежд; всю ночь напролет беспо-

койно ворочался он с боку на бок, потому что раздражающие и тревожные мысли не давали ему покоя: он постоянно обдумывал опасное дело, за которое готов был сложить на плахе свою голову. Убранство комнаты дополняли огромный обитый железом сундук с разным скарбом и два стола. На одном из них была приготовлена неприхотливая закуска, преимущественно из деревенских запасов, присланных поручику его заботливыми родителями, а у другого стола, облокотившись на него, сидел в ожидании гостей хозяин, призадумавшись и посасывая кнастер из коротенькой голландской трубки. Большая комната слабо освещалась одной порядочно нагоревшей сальной свечой.

Сильный стук железным кольцом у входной с улицы двери вывел поручика из задумчивости, он встрепенулся, а слуга его опрометью бросился из соседней комнаты, чтобы отворить дверь. Вслед затем показался на пороге занесенный снегом Камынин. Вскоре после него, в таком же виде, пришли один за другим и другие гости Ханькова: поручик Преображенского полка Петр Аргамаков и два сер-

жанта того же полка – Алфимов и Акинфеев. Прежде всего хозяин предложил гостям подкрепиться выпивкой и «ужиной», т. е. вечерней закуской, и после непродолжительного каляканья о тяготах военной службы, о притеснениях и несправедливостях, испытываемых русскими со стороны командиров-немцев, между собеседниками завязался разговор политического свойства.

– Для чего так министры сделали, что управление всероссийской империи, мимо его императорского величества родителей, поручили его высочеству герцогу Курляндскому? – заговорил хозяин дома. – Что мы сделали? – допустили государева отца и мать оставить; они – надеюсь – на нас плачутся. Отдали все государство какому человеку? – регенту. Что он за человек?.. Лучше бы до возраста государева управлять государством отцу государеву или матери.

– Вестимо, что это справедливее было бы, – заметил сержант Алфимов.

– Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите, – укорительным тоном продолжал хозяин, обращаясь к Алфимову и

Акинфееву, – ведь вы знать должны, что у нас в полку надежных офицеров нет, так что и посоветоваться не с кем, да и надеяться-то не на кого; разве только вы, унтер-офицеры, толковать о том солдатам станете.

– Отчего бы и не так, – перебил Акинфеев.

– Дельно, – поддакнул поручик Аргамаков.

– Я уже об этом и здесь, и при строении казарм, и в других местах многим солдатам говорил, – продолжал Ханыков, – и солдаты все на это позываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери государство регенту отдали, и бранят нас, офицеров, и вас, унтер-офицеров, за то, что ничего не начинаем. Говорят, что им самим, солдатам, без офицерства и унтер-офицерства ничего зачать не можно, и корят нас за то, что когда был для присяги перед дворцом строй, мы напрасно им того не толковали...

– Да, следовало бы нам в ту пору так сделать, а то ныне с регентом трудновато уже справиться, – заметил Аргамаков, – крепко он утвердился, большую власть он забрал. Вот уже и в церквях молитву за него возносить стали; просят, чтобы Господь пособил ему во

всем и покорил бы под ноги его всякого врага и супостата. Сердце у меня, братцы, облилось кровью, как в прошлое воскресенье услышал я за обедней этот возглас, а дьякон-то точно с умыслом орет во всю глотку... Обрадовался, что ли?

– Да, тогда, как строй был полегче, можно было бы сладить с регентом, я бы, – говорил Ханьков, – сказал бы только гренадерам, и никто бы из них спорить тогда не стал: все бы они за мной как один человек пошли, а побоявшись их, и офицеры стали бы солдатскую сторону держать. Прозевали мы, что делать! А сказать должно, что только скрепя свое сердце, я гренадерам ничего не говорил и потому именно, что я намерения государыни-принцессы не знаю, угодно ли ей то будет...

– Разумно говоришь, – отозвался Аргамаков, – да кому же нам не порадеть, как не ей, нашей голубушке. Все мы за нее костями ляжем, прикажи она только...

– Ну, брат, пожалуй, что и не все так поступят, как ты думаешь, – перебил сердито Ханьков, – в полку у нас многие крепко сторону цесаревны Елизаветы Петровны держат; гово-

рят: ей-де следует, по великому ее родителю, царская корона, а не принцессе...

– Да мы осилим их, если на то дело пойдет! – бойко крикнул Акинфеев, – хотя и обереги нас Господь Бог от междоусобной брани, – добавил он, вздохнув, и затем, обратившись к образам, набожно перекрестился.

– Да на что же цесаревне-то корона? Отречется она от нее: волю больно любит, – заметил Алфимов.

– Это правда, – подхватил Ханыков, – государыня-принцесса куда как степеннее цесаревны будет. Вот, хотя бы и с мужем постоянная неладица у нее идет, а все-таки никто о ней дурного слова не скажет. Да послушали бы вы, господа, что говорит о ней Грамотин: умом и смелостью ее не нахвалится. Рассказывал, как она при нем с регентом схватилась. Только и твердит всем и каждому: вот бы настоящая-де царица была...

– Уж не норовит ли он при ней в обер-камергеры, да в какие-нибудь такие-сякие герцоги ингерманландские, – с колкостью вмешался безмолствовавший до того времени Камынин.

– Ты, брат, Лукьян Иваныч, больно остро-  
словен, полно тебе трунить и издеваться над  
Грамотиным, – внушительно и сурово заме-  
тил Ханьков. – Что он? Дорогу тебе нешто пе-  
ребивает? Грамотина я знаю: он человек хо-  
роший, а об ее высочестве государыне прин-  
цессе при мне никто и заикаться не смей...  
Стыдно тебе, братец...

– Стыдно, так стыдно, – равнодушно прого-  
ворил Камынин, – а вот тебя так любо послу-  
шать; смотри только, что скажут на твои сме-  
лые речи другие, а о государыне-принцессе  
обмолвился я ненароком, так с языка сболт-  
нулось, потому что и сам, как православный,  
постоять готов за нее, чтобы только сжить с  
рук проклятых немцев.

– Ты спросил, Лукьян Иваныч, что скажут  
другие на смелые речи Ханькова, да вот что  
скажут, – крикнул Аргамаков, – скажут, до че-  
го мы дожили? Какова теперь наша жизнь?  
Что случилось с Россией! Лучше бы я сам себя за-  
колол за то, что мы, гвардейцы, допустили  
сделать, и хоть бы из меня жилы принялись  
тянуть, то и тогда я говорить это не переста-  
ну...



– Нам бы только как-нибудь провести поточнее, что государыне-принцессе угодно будет, а постоять бы за нее мы сумели, – с жаром начал Ханыков, – я здесь, а Аргамаков на Санкт-Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем. Я привел бы свою гренадерскую роту, потому что вся она пошла бы за мной, а к нам пристали бы и другие, и тогда мы регента и согласников его, Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого, живой бы рукой убрали, а государыне-принцессе правительственную власть, а не то, статья может, и корону бы доставили...

– Я, братец ты мой, нисколько не прочь от такого хорошего дела. Только бы Господь помог нам в этом, – проговорил решительным голосом Аргамаков.

– Да и помимо уже ее высочества нам теперь и за самих себя постоять приходится. Есть у нас в полку один солдатик, который к регентовым служителям частенько ходит, – начал снова Ханыков, – так вот этот-то самый солдатик и рассказывал, что регентово намерение есть ко всем разные милости оказать, а нам, преображенцам, – насмешливо добавил

поручик, – явить ту высокую милость, чтобы в наш полк великорослых людей из курляндцев побольше набрать. Оттого-де, говорит регент, полку красота будет. Вишь какую новую милость придумал! Как будто меж нас, русских, рослых молодцов и даже богатырей не отыщется? Да не в том, впрочем, и вся-то штука, а в том, мои приятели, что хотят нас, православных, совсем из первейшего что ни на есть российского полка немцами повытеснить!..

– Говорят, однако же, и о разных других заправских милостях, – начал тихим голосом Камынин, – хотят всему солдатству особенную милость оказать и жалованье ему за треть выдать; доимку вперед не взыскивать, да и возратить ее тому, с кого прежде взята была, а из гвардейских полков отпустить дворян в годовой отпуск, вычтенными же из жалованья их деньгами казармы отстраивать и тем самым солдатство и всех к милости будто приводят. А на самом-то деле все это выходит не так: только проведи хотят нас министры. Вот хоть бы мне Бестужев и дядюшка, а прости Господи, какой он к черту министр! Не

пожалел бы я и его, если бы с ним до расправы дошло. Хорошо было бы, если бы Аргамаков по полкам подписку сделал о том, чтобы просить ее высочество государыню-принцессу правление принять. Чаять надо, что все обошлось бы тогда спокойно и государственная перемена надлежащая была бы у нас.

– Думали, братец, и об этом, – заговорил снова Ханьков, – ходили с тем к графу Головкину господ семеновские офицеры, да что из всего этого вышло? Водил их к нему ревизион-коллегии подполковник Любим Пустошкин, чтобы заявить, что все офицерство против регента и на сторону государыни-принцессы склоняется, и говорили графу Головкину, что хотят, мол, подать о том челобитную от российского шляхетства. Головкин и сказал им, что он, как им это известно, и сам вольные речи о регенте говорил, за что он теперь от всех дел отрешен и едет в чужие края, так что делом этим заняться ему некогда, а посоветовал им, чтобы они со своим намерением к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому отправились. Тот похвалил господ семеновских офицеров и под

тем предложом, что ему сейчас важные дела спешно отправлять приходится, просил, дабы они на другой день к нему пожаловали, а сам шмыгнул к регенту, да все, как было, и пересказал ему.

Говоря это, Ханыков случайно взглянул на Камынина, который заметно смутился и принялся откашливаться. Гости поручика потолковали еще добрый час о том и о другом, и все их речи сводились к тому, что надобно поскорее приняться за дело в пользу Анны Леопольдовны. Потом повыпили, позакусили еще и стали собираться по домам.

– Говорили мы обо всем только промеж добрых приятелей, – сказал, прощаясь, Камынин своим товарищам, – дело наше смертельное, и тому, кто из нас станет доносить один на другого, такому доносчику – первый кнут!

– Ладно, ладно, – заговорили все, – мы, братцы, люди честные и друг друга даже и в пытке не выдадим.

Выйдя от Ханыкова и разлучившись на дороге со своими товарищами, Камынин направился быстрыми шагами к дому своего дяди Бестужева-Рюмина. Камынин разбудил его и

передал ему все, что слышал у Ханькова, а Бестужев, горячий приверженец регента, несмотря на позднюю пору, немедленно отправился к герцогу с известием, что двое офицеров Преображенского полка имеют против его высочества злые умыслы.

Через два дня после этого вахмистр Камынин был произведен за отличие в корнеты...

## XII

В местности, прилегающей ныне к Михайловскому театру, находились огороженные высоким, толстым и заостренным тыном строения. Вечно запертые, окованные железом ворота и стоявшие на карауле как при них, так и в разных местах около тына солдаты показывали, что тут было недоброе место, и, действительно, тогдашние петербургские жители не без ужаса проходили мимо него, так как за высоким тыном помещалась тайная канцелярия. Одно только упоминание о ней бросало в жар и в холод каждого, потому что никто не мог быть уверен, чтобы рано или поздно не потянули его туда на жестокую расправу.

Во дворе, за тыном, стояло несколько отдельных небольших изб или светлиц, а посреди двора было расположено на каменном подвальном фундаменте длинное, невысокое бревенчатое строение, похожее на сарай.

В ворота этого неприглядного здания через два дня после сходки, происходившей у Ханыкова, въехали под вечер три повозки. Из них

В каждой сидели отдельно наши знакомцы: Ханьков, Аргамаков и Алфимов, скованные по рукам и по ногам. Сильный караул от одного из наполевых или армейских полков окружал наглухо закрытые повозки.

Привезенные арестанты при выходе из повозок вошли с частью сопровождавшего их конвоя в небольшую сборную комнату, тускло освещенную ночником. Здесь их встретил секретарь тайной канцелярии и немедленно распорядился о размещении обоих поручиков и сержанта по особым помещениям, находившимся в подвале, приставив к дверям их надежный караул.

Тогдашнее наше страшное и таинственное судилище не представляло той грозно-изысканной обстановки, какой обыкновенно отличались инквизиционные тайники в Западной Европе, поражавшие попавших туда своей мрачною торжественностью. В тайной канцелярии, несмотря на все происходившие в ней ужасы, заметна была родная наша простота и своего рода благодущие без всякой вычурности, и вообще это учреждение по внешности смахивало и на обыкновенный

острог и на простую полицейскую управу. В сборной, из которой увели арестантов, остался теперь один сторож, старый служивый, одетый в солдатскую сермягу без всяких знаков своей принадлежности к такому важному учреждению, каковым была тайная канцелярия. Пользуясь одиночеством, он преспокойно разлегся на деревянной скамье, но всхрапнуть ему не удалось, потому что едва он улегся, как начали стучать в дверь. Сторож, не торопясь, отворил ее, и конвой, состоявший из трех мушкетеров, ввел в сборную какую-то молоденькую бабенку. Она в изнеможении села на скамейку, а двое из ее караульных, не выпуская из рук заряженных ружей, поместились по бокам ее, а третий их товарищ стал на часы у входной двери.

– Сдать ее пока некому, Иван Кирилыч сейчас был, да ушел; скоро придет, – позевывая, сказал служивый и затем ленивым шагом поплелся поправлять ночник.

– Вишь ведь молодка какая, а успела уж попасть к нам, – проговорил он с добродушной шутливостью, приглядываясь к арестантке.



– Прозябла она больно, как была в одном сарафанишке, так, видно, ее и схватили, и шугая-то накинуть не дали, – сказал один из сидящих около нее мушкетеров.

– Не велика беда, что прозябла, – заметил старый служивый, – у нас лихо отогреют... Ведь вот поди, чай, дурица, сболтнула что-нибудь, – продолжал он с видимым участием, обращаясь к бабенке.

– Сболтнула и есть, родимый, – заговорила она сквозь слезы, привставая с места.

– А что?..

– Да в самое-то утро после смерти царицы, не знала я еще тогда, что она уж Богу душу отдала, спросила я у нашего соседа-кожевника об ее здоровье... Ведь никогда не спрашивала прежде, а тут словно нелегкое меня дернуло...

– Так что ж, что спросила? – важно проговорил служивый.

– А он поди, да и донеси, что я-де над покойницей-царицей насмехаюсь...

– Вот как побываешь единожды у нас, так напередки ни о чьем здоровье спрашивать не будешь... Не суйся, баба, куда не следует... – наставительно добавил служивый.

Бабенка разревелась.

– Чего ревешь? Легче от того не будет, да и впереди еще реветь немало придется...

Во время этого разговора явился секретарь канцелярии. Сидевшие мушкетеры повскакали со своих мест, взяв, так же как и караульный, ружья к ноге, для отдания чести по тогдашнему воинскому уставу.

– Мало что ли у нас делов и без тебя, окаянная! – крикнул грозно секретарь, взглянув на оторопевшую бабенку, которая повалилась ему в ноги.

– Помилосердуй, отец родной, спроста, видит Бог, что спроста, ненароком спросила!

– Разберут про то после. Ну, ребята, стащите-ко ее куда следует, – и караульные, исполняя данное им приказание, повели во всю мочь голосившую арестантку.

– Нужно, Антипыч, собирать нам поскорее нашу команду. Начальство, чай, скоро придет, чтоб врасплох не застало. Поворачивайся поживее, – сказал секретарь сторожу.

Служивый, побрякивая и бормоча что-то себе под нос, вышел и вскоре по зову его в сборную комнату явились: три палача со сво-

ими помощниками, костоправ со своим учеником, четверо служителей и двое приказных, занимавшихся письменной частью при канцелярии.

– Сегодня не только его сиятельство граф Андрей Иванович, но и его сиятельство князь Николай Юрьич изволят к нам прибыть, – сказал секретарь приказным. – Смотрите, все ли у вас в исправности, да и у вас все ли в порядке? – добавил он, обращаясь к палачам.

– Чего нам смотреть, какому у нас быть непорядку, свое дело хорошо знаем, – забормотал несколько обиженным голосом один из заплечных мастеров, ражий детина.

В ожидании приезда начальства представители разнородной деятельности тайной канцелярии калякали между собою о близких каждому из них предметах; здесь шли речи о ловком ударе кнутом, о вывихнутых суставах, о переломанных членах и костях, о вывороченных руках и т. п., и обо всем этом говорилось не только с совершенным равнодушием, но и с шуточками и с веселыми прибаутками разного рода.

В это время вбежавший в сборную комна-

ту сторож крикнул: «Едут!»

Все призамолкли и засуетились, а сторожа принялись зажигать свечи и фонари, и когда дверь широко растворилась, то в нее вошли закутанные в шубы начальник тайной канцелярии граф Андрей Иванович Ушаков и генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой, ревностные клевреты регента и деятельные исполнители его повелений.

Они приехали со своими адъютантами. По принятому в то время порядку, адъютанты сопровождали генералов верхами и, сообразно со значением своих начальников и тех лиц, к кому они приезжали, адъютанты или оставались на улице, или входили в приемную, или же, наравне с выездными лакеями, ожидали своих генералов в прихожей, в сенях или на крыльце. Они не имели права входить в тайную канцелярию, а потому и пошли отогреться в одну из надворных светлиц.

Войдя в комнату, назначенную для заседаний, Ушаков и Трубецкой наскоро выслушали доклад секретаря о бумагах, вновь вступивших в канцелярию, и приказали ему приступить к «пыточным делам».

Для производства этих дел граф и князь перешли в покой, называвшийся «застенок», отделявшийся от прочих частей здания небольшой проходной комнатой, в которой был склад пыточных снарядов. В этой комнате, как в кладовой, были приделаны по стенам деревянные полки, на которых лежали: кнуты, ремни, веревки, цепи, железные обручи, клещи, ошейники, рогатки, кандалы и какие-то снаряды, похожие на хомуты.

Из этой кладовой был прямо вход в застенок.

Застенок представлял собой просторную избу с бревенчатыми стенами. Здесь в переднем углу висела простая потемневшая икона, озаряемая унылым светом зажженной перед ней лампадки. В стенах под самым потолком были пробиты маленькие, продолговатые окошки с толстыми железными решетками, почему в застенке даже и среди белого дня было так темно, что расправа там производилась постоянно при фонарях и свечах. В одну из балок, шедших вдоль потолка, был укреплен большой блок с пропущенной сквозь него толстой веревкой. Под блоком на полу, за-

стланном рогожами, с накиданной на них соломой, стоял низкий деревянный чурбан, а около него было бревно с переброшенным через него другим бревном, в виде подвижного рычага. По сторонам веревки, шедшей с блока, спущены были с потолка фонари, а на чурбане лежали принадлежности пытки. Все это показывало, что в застенке скоро примутся за обычную кровавую работу, к которой и готовились уже собравшиеся туда заплечные мастера.

В нескольких шагах от места пытки стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол, за которым в больших покойных креслах расселись теперь Ушаков и Трубецкой, а подле них с заложенным за ухо пером и со свертком бумаг в руке стоял секретарь в ожидании прихода подсудимых.

Первым из них введен был поручик Ханьков. Он был бледен как мертвец, но не терял бодрости и хладнокровным взглядом обвел незнакомый ему до сих пор застенок. По приказанию Ушакова секретарь прочел данные Ханьковым предварительные показания.

– Ты не все показал, утаил многое из своих

злодейских намерений против его высочества государя-регента и против своего отечества, – сказал Ушаков.

– Против моего отечества никаких злодейских намерений никогда я не имел, – резко отвечал Ханьков.

– А вот это мы сейчас узнаем, – перебил с злобной усмешкой Трубецкой и, нагнувшись к Ушакову, прошептал ему что-то на ухо.

– В ремень его! – крикнул Ушаков.

Слова эти на языке тайной канцелярии означали первый приступ к пытке.

Палачи со своими помощниками подскочили к поручику, быстро повалили его на пол, сбили с него кандалы, а один из палачей, сняв висевший у него через плечо длинный сыромятный ремень, начал связывать Ханькову ноги. Когда это было окончено, палачи приподняли его и, поддерживая со всех сторон, приволокли под блок. Здесь палач сдернул с него форменный кафтан и камзол и, разорвав на нем рубашку спереди, обнажил по пояс его спину. После этого, заворотив ему руки назад, он туго скрутил их у кистей веревкой, которая спускалась с блока и конец

которой был обшит войлоком, и затем на связанные руки надел кожаный хомут, туго затянув его ремнями.

– Что еще можешь сказать ты в дополнение к тому, что показал прежде? – спросил Ушаков Ханыкова.

– Ничего, – отрывисто проговорил он.

– Начинай! – закричал Ушаков.

Палач положил на промежуток ремня, связывавшего ноги Ханыкова, конец бревна, представлявшего рычаг, и, став одной ногой на это бревно, начал оттягивать его книзу, между тем как другой палач и его помощники принялись тянуть понемногу к себе веревку, проходившую по блоку. Связанные у Ханыкова назад руки стали заворачиваться на спине и подходить постепенно к затылку.

Послышался глухой стон.

– Раз, два, три! – крикнул громко палач, стоявший на бревне, и при последнем слове он изо всей силы ударил ногой по бревну, а его товарищи сильно дернули веревку. В одно мгновение руки пытаемого, передернутые за спину, очутились над его головою и он со страшным стоном повис на блоке.



Пытка эта, называвшаяся виской или встряской, была ужасна сама по себе. Не только свихнутые руки выходили из своих суставов, а кости хрустели и ломались, жилы вытягивались, но нередко даже лопалась и кожа у растянутого таким образом страдальца или страдальцы, так как пытке этого рода подвергались не одни только мужчины, но и женщины. Ужасы такой пытки, занесенной в Петербург из Москвы, не оканчивались, впрочем, только этим страшным истязанием.

– Берегись, ожгу! – гаркнул стоявший возле пытаемого третий палач, и вслед за этим выкриком послышался глухой удар или, вернее сказать, какой-то тяжелый шлепок.

Раздался пронзительный визг.

Началось кнутобойство. Орудия, употребляемые при этом и наносимые ими страдания, описал еще Котошихин в следующих словах: «учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстой, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей, и как палач ударит по которому месту по спине, и на спине станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом,

мало не до костей».

В XVI и XVII веках наказания и пытки еще во всей Западной Европе были ужасны, но замечательно, что известный путешественник Олеарий, видевший в Москве наказание кнутом на площади, где оно, без виски и встряски, производилось сравнительно гораздо легче, нежели в застенке, – отнес этот род наказания к самым жесточайшим истязаниям того времени.

После каждого удара, – а их Ханыкову с большими расстановками дано было пятнадцать, – Ушаков и Трубецкой поочередно принимались расспрашивать висевшего на дыбе страдальца. Секретарь записывал его показания, но мучители не добились от него ничего нового.

Такой же пытке в тот же вечер подверглись Аргамаков и Алфимов, причем каждому из них было отсчитано по 14 ударов. Кроме того, разозлившийся на Аргамакова Трубецкой бил его палкой по лицу.

Кровавая мука кончилась, но ни Ушаков, ни Трубецкой не успели ничего проведать об участии Анны Леопольдовны в замыслах за-

говорщиков, как ни ухищренно наводили они истязуемых на признание в этом смысле. Ни один из них не только что не вздумал во время своих невыносимых страданий прикрыться именем принцессы, но даже ни разу никто из них не упомянул о ней, а между тем малейшее указание или даже хоть какой-нибудь ничтожный намек на нее были бы драгоценным открытием для сиятельных инквизиторов.

После поручиков и сержанта притянули к дыбе и опростоволосившуюся бабенку, но «за глупостью» ее, ни встряске, ни ударам кнута ее не подвергли и только, напугав до полусмерти, отпустили домой под страшным зарокom никогда и никому не рассказывать того, что она видела и слышала в тайной канцелярии.

Спустя несколько дней, Ушакову и Трубецкому представились еще более важные занятия. Перед ними стоял адъютант принца Антона – Грамотин, обвиняемый в злостных замыслах против государя-регента. Мужественно, ободряемый мыслью о принцессе Анне, пошел Грамотин на страшную пытку: он пе-

ренес и виску, и встряску, и пятнадцать ударов кнута, не примешав к делу Анну Леопольдовну, хотя в показаниях своих и рассказал с полной откровенностью о неудовольствиях и о ропоте своего светлейшего начальника против регента.

Число гвардейских офицеров, заподозренных в зловредных умыслах против правительства, увеличивалось все более и более. Их хватали и привозили в тайную канцелярию, и розыски над ними доставляли немало занятий и Ушакову и Трубецкому.

Между тем Грамотин лежал больной, изломанный в пытке, теряясь в догадках о том, кто мог бы быть на него доносчиком...

### XIII

В то время, когда Ушаков и Трубецкой продолжали с обычным усердием расправляться в тайной канцелярии с недоброжелателями регента, Остерман, подавший ему мысль о вызове графа Линара в Петербург, приводил в исполнение этот план дипломатическим путем.

— Странные бывают противоположности в делах политических: вот почти три года тому назад на этом же самом месте мне приходилось сочинять депешу в Дрезден, чтобы сжить поскорее от нас графа Линара. Тогда герцог, проведав о любви к нему принцессы Анны, считал его главной помехой браку своего сына с принцессой, а теперь, наоборот, приходится приглашать Линара приехать поскорее в Петербург для того, чтоб он стал близким человеком к принцессе и своим влиянием на нее содействовал бы видам герцога...

Так размышлял кабинет-министр, сидя за своим письменным столом в том же самом, только еще более изношенном и более запач-

канном, красном – на лисьем меху – халате, который был на этом неряхе и скупце и в ту пору, когда он умудрялся сочинить слишком щекотливую депешу об отозвании Линара из Петербурга.

Перечитав и перечеркав несколько раз написанное, Остерман успел, наконец, составить весьма ловкую бумагу к польско-саксонскому министерству. В ней говорилось, что в прежнее время усложнившиеся и запутавшиеся политические обстоятельства в Европе заставляли русский двор держаться такой политики, которой не мог сочувствовать граф Линар, как самый ревностный оберегатель интересов его величества короля польского и курфюрста саксонского, вследствие чего и происходили некоторые взаимные недоразумения, и что так как, со своей стороны, петербургский кабинет всегда чрезвычайно высоко ценил графа Линара, то кабинету было крайне нежелательно, чтобы недоразумения эти отражались чем-либо на личности уважаемого посланника, почему тогда и признано было за благо – выразить дрезденскому двору предложение петербургского двора об отозва-

нии графа Линара. Но так как теперь обстоятельства совершенно переменялись, продолжал в своей депеше Остерман, то его высочеству регенту Всероссийской Империи было бы особенно желательно видеть около себя графа Линара, который, как опытный дипломат, без сомнения, успеет установить самые дружелюбные отношения и самое прочное согласие между обоими дворами – дрезденским и с.-петербургским.

Вместе с предложением об отправке этой депеши в Дрезден находили нужным сообщить и на словах графу Линару, через особое посланное к нему от Остермана доверенное лицо, чтобы Линар поспешил принять сделанное ему предложение и безотлагательно приезжал бы в Петербург, где его с большим удовольствием встретит не только регент, но и принцесса Анна Леопольдовна, и что со своей стороны герцог найдет возможность – если только пожелает того сам граф Линар – доставить ему и в русской службе самое блестящее и вполне обеспеченное положение. Неизвестно, до какой степени должны были доходить в этом случае намеки, подготовлявшие Лина-

ра к той не одной только политической, но еще и сердечной деятельности, которая была придумана для него находчивым Остерманом. По всей, однако, вероятности, приманка такого рода должна была быть высказана, хотя бы вскользь, так как прежние взаимные отношения между герцогом и Линаром были не настолько хороши, чтобы последний мог верить в искреннее желание первого видеть около себя Линара без каких-либо особых своекорыстных расчетов. Поторопиться с вызовом Линара в Петербург представлялось нужным регенту и по другим еще, новым соображениям. Прежде Анна жила со своим мужем в большом разладе и случалось так, что, несмотря на всю его угодливость и на все его ухаживания за ней, она не говорила с ним ни слова по целым неделям; но теперь стали замечать при дворе некоторую перемену в ее отношениях к принцу Антону.

Трудно сказать, отчего произошла в Анне такая перемена: от того ли, что после смерти императрицы прекратилось раздражавшее принцессу так часто и порою до последней крайности вмешательство тетки в ее супру-



жескую жизнь, и Анна Леопольдовна теперь добровольно была готова обращаться с принцем поласковее, чего она не хотела делать прежде по принуждению? От того ли, что ей надоело, наконец, ничтожество ее мужа и она, почувствовав с переменой своего положения свою самостоятельность, захотела поднять его в общественном мнении и сделать это так, чтобы принц почувствовал, что он был обязан только одной ей? Увидела ли, наконец, Анна Леопольдовна, что домашние раздоры ослабляют ее и вместе с тем поняла, что хотя принц Антон сам по себе и ровно ничего не значит, но что он, как отец царствующего государя, став на стороне регента, придаст этому последнему еще более и силы, и обаяния? Принцесса вспомнила теперь слова, сказанные ей в утешение Волынским о будущей покорности перед ней тихого и смиренного принца, и она уже на опыте могла вполне убедиться, что в лице ее мужа не может явиться опасный для нее соперник. Как бы то ни было, но действительное или только казавшееся сближение Анны с ее мужем начало сильно беспокоить герцога. Он и Остерман

рассуждали, что если по приезде Линара в Петербург прежняя любовь и не оживет в сердце Анны, то они и в этом случае ровно ничего не потеряют, так как и в бытность Линара польско-саксонским послом при русском дворе они в состоянии будут по-прежнему направлять ход политических дел по собственному своему усмотрению. Если же, напротив, состоится ожидаемое ими сближение между Линаром и Анной, то граф, оставаясь в зависимости от регента, будет его покорным слугой. Если бы даже это последнее предположение и не осуществилось, то и тогда регент не будет в проигрыше: Линар отвлечет внимание принцессы от государственных дел; приятные с ним беседы она, наверно, предпочтет скучным докладам министров, затем отвыкнет мало-помалу от всякого участия в правлении, и, таким образом, единоличная власть герцога окончательно упрочится.

Кроме всего этого, при вызове Линара имелись в виду и другие коварные расчеты. Герцог мог возбудить в принце оскорбленное чувство супруга; мог напомнить ему, если бы это оказалось нужным, о прежней любви Ан-

ны к Линару и тем самым возобновить начавшие было стихать теперь раздоры между женой и мужем – раздоры, благоприятные для регента. Притом, во всяком случае, не трудно было бы пустить в ход молву о близости Линара с принцессой и такой молвой уронить ее в глазах русских, считавших Анну Леопольдовну женщиной скромной и безупречной в супружеской жизни.

В ожидании приезда на помощь к себе подготовленного для принцессы соблазнителя, запальчивый и заносчивый герцог тем не менее предпочитал бы обойтись без постороннего содействия, расправившись сам и с отцом, и с матерью царствующего государя. Регент начал с принца Антона. Он потребовал его к себе в Летний дворец и там при множестве лиц объявил принцу, что он приказал арестовать его адъютанта Грамотина.

– Я полагал, ваше высочество, – забормотал было принц, – что прежде чем сделать это распоряжение, вам угодно будет...

– Что мне угодно будет? – грозно вскрикнул герцог. – Уж не предварить ли вас об этом, для того чтобы дать вам возможность

продолжать ваши злодейские замыслы?

Принц растерялся, а герцог заговорил с ним на плохом русском языке для того, собственно, чтобы было понятно всем присутствующим, что он хотел высказать принцу.

– Вы, ваше высочество, масакр, то есть рубку людей учинить хотите! Надеетесь на ваш Семеновский полк?.. Вы человек неблагодарный, кровожаждущий!.. Если бы вы имели в ваших руках правление, то сделали бы несчастным и вашего сына, и империю.

Говоря или, вернее сказать, крича это, герцог нагло наступал на пятившегося перед ним принца, и когда принц нечаянно положил левую руку на эфес своей шпаги, то регент принял это случайное движение за угрозу, и тогда бешенство его перешло все пределы.

– Вы хотите испугать меня вашей шпагой! – крикнул он. – Но знайте, что я не трус и готов «развестись» с вами поединком, – добавил надменно регент, ударив рукой по своей шпаге.

Все находившиеся в зале остолбенели от ужаса и поняли, что с расходившимся реген-

том шутить не приходится.

Униженный до последней степени и совершенно расстроенный, возвратился принц в Зимний дворец, но не сказал жене ничего о случившемся, боясь ее упреков за ненаходчивость и трусость перед регентом. Напрасно, однако, он думал сделать из этого тайну от принцессы. Вскоре по возвращении принца во дворец к нему явился брат фельдмаршала Миниха и предложил принцу от имени регента сложить с себя все военные звания. Разговаривать долго было нечего, так как Миних привез заготовленное заранее прошение, которое оставалось только подписать принцу, и он, запуганный герцогом, под этим прошением, обращенным к его сыну, безоговорочно подписался: «Вашего императорского величества нижайший раб Антон Ульрих». В прошении этом, после упоминания о тех военных званиях, которые он получил от покойной императрицы, говорилось, между прочим, от имени принца следующее: «А понеже я ныне, по вступлении вашего императорского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низло-

жить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради всенижайше прошу...». Здесь следовало прошение об увольнении с присовокуплением просьбы о том, «дабы всемилоостивейшее определение учинить, чтобы порозжия чрез те места и команды паки достойными особами дополнены были».

В то время, когда мамка убаюкивала императора, регент с довольным выражением лица подписывал, вследствие этого прошения, от имени Иоанна III указ военной коллегии об отставке его любезнейшего родителя и в просьбе которого, как заявлялось в указе, не мог отказать государь-младенец.

«Хорошо отомстил я ей, – думал регент, – она хотела быть неразлучно с своим сыном, пусть же теперь увидит, что я не придаю этому никакого значения и даже согласен, чтобы при нем был неотлучно и его родитель. Пусть эта чета наслаждается своим семейным счастьем; посмотрим, что будет!..»

С изумлением узнала принцесса о поступках регента с ее мужем, и давно накипевшая у нее злоба обратилась теперь в неукротимую

ненависть. Казалось, что обычная вялость ее исчезла, она готова была идти на все опасности, и в первый еще раз в оскорблении, нанесенном ее мужу, она увидела свой собственный позор и поклялась в душе отомстить герцогу за то унижение, которое ей приходилось теперь испытывать.

После отставки принц Антон утратил всякое значение, прекратились все почести, которые воздавались ему прежде как отцу государя; никто уже не целовал его руки, как это делалось прежде, но все униженно лобзали руку герцога. Сенат издал уже указ о титуловании герцога «высочеством», о чем и было объявлено в Петербурге с барабанным боем. Все принизились перед герцогом, и даже самые преданные и более смелые люди перестали ездить к принцу и принцессе.

Вследствие всего этого находившиеся в Петербурге дипломатические агенты были поставлены в большое затруднение, как держать себя в отношении принцессы и ее мужа. Французский посланник маркиз де ла Шетарди обратился к своему двору с депешей, в которой спрашивал: должен ли он оказывать

принцессе Анне те же почести, какие воздавались ей прежде лишь из угодливости перед покойной царицей, или же считать ее только принцессой Брауншвейгской? Ясно было, что теперь принцесса не только не приобрела большого значения, но, напротив, даже потеряла и прежнее. Маркиз спрашивал наставления и о том, как поступить ему в отношении к принцу Антону? Но самый щекотливый пункт в этой депеше был тот, который касался не дипломатических недоразумений, а сердечных дел герцога Курляндского.

«В упоении своей власти, – писал маркиз, – у герцога может явиться намерение ухаживать (*de tenir sa cour*) за дочерью Петра I. Каким образом я должен поступать в этом случае?» Как ни странным мог показаться версальскому кабинету этот новый вопрос, но он был вполне уместен со стороны тонкого и предусмотрительного дипломата. Общественный говор в Петербурге давно уже твердил, что обладать пленительной Елизаветой было заветной мечтой герцога, который рассчитывал на скорую кончину своей болезненной и расслабленной Бенигны, намереваясь в слу-



чае этой утраты предложить свою руку цесаревне Елизавете. Так толковали одни, другие же, находя, что обрюзгший пятидесятилетний герцог несколько стар для того, чтобы быть мужем цветущей Елизаветы, замышляет обвенчать ее со своим сыном. Но в этом последнем случае оказалась бы еще более неблагоприятной разница между годами жениха и годами невесты, так как принц Петр Курляндский был моложе Елизаветы на пятнадцать лет, тогда как сам герцог был старше ее восемнадцатью годами. Следственно, в отношении возраста брак герцога с цесаревной представлялся более подходящим, нежели брак с ней его старшего сына.

Молва об особом расположении герцога к цесаревне подтверждалась все более и более.

Он имел с цесаревной частые беседы, длившиеся нередко по нескольку часов.

В то время, когда Анна испытывала от него ряд и сильных, и мелких неприятностей, он оказывал Елизавете чрезвычайное внимание, и Анна ясно увидела в Елизавете опасную себе соперницу. До Анны Леопольдовны стали доходить вести, что все делаемые ей со сторо-

ны герцога притеснения клонятся к тому, чтобы принудить ее, под видом собственного ее желания, уехать вместе с мужем в Германию. Рассказывали ей также, что в одном многочисленном собрании, в котором была и Елизавета, герцог, жалуясь на неприязненные к нему отношения принцессы, не стесняясь нисколько, заявил, что если она и впредь будет держать себя так, как держит теперь, то он вышлет из России в Германию и ее, и ее мужа, и ее сына, и вызовет в Россию герцога Голштинского, родного внука Петра Великого. Опасно было пренебрегать угрозами регента, а обстановка принцессы была такова, что ему не трудно было привести их в исполнение. После удаления от службы принца Антона не было у нее никакой внешней поддержки, так как начальство над всеми гвардейскими полками получили приверженцы герцога: сила была на его стороне, и справиться с ним казалось делом нелегким.

## XIV

Для постоянных сношений с принцессой регент избрал фельдмаршала графа Миниха. Казалось, этот человек как нельзя более должен был соответствовать такому назначению. После смерти императрицы он явился самым усердным сторонником регентства герцога, который потому и мог вполне положиться на него, как на самого преданного человека. Независимо от этого, Миних имел и другие качества, пригодные для успешного исполнения возложенной на него обязанности, а пожилые годы фельдмаршала – ему было уже под шестьдесят лет – отклоняли всякую мысль о возможности нежных отношений между ним и Анной Леопольдовной. Ошибочно было бы, впрочем, представлять Миниха старым, суровым воином, утомленным трудными походами и боевыми подвигами. Напротив, он был еще пылок, как юноша, и слишком чувствителен к прелестям молоденьких женщин; черты лица его были прекрасны, он был высок ростом, строен и развязен, а в движениях его было много приятно-

сти и ловкости. Он отлично танцевал и казался гораздо моложе своих лет. Миних считался одним из самых любезных кавалеров петербургского двора и слыл большим дамским угодником. Когда находился он в обществе дам, то старался выказывать веселость и ловкость, отзываявшуюся, впрочем, немецкой сентиментальностью. С томными глазами прислушивался он к чарующему его голосу женщины и, наслаждаясь ее разговором, вдруг приходил в восторг, схватывал руку своей собеседницы и покрывал ее поцелуями.

Такого приставника назначил регент к принцессе, и Миних не только по делам, но и так, без всякой надобности, пользуясь правом свободного входа к принцессе, очень часто навещал ее. Посещение Анны Леопольдовны было для старого любезника тем более приятным развлечением, что он у нее постоянно встречался с Юлианой Менгден, веселой, бойкой и говорливой девушкой. Принцесса еще и прежде чувствовала расположение к фельд-маршалу; в нем ей нравились его отвага и решительность, и как будто какой-то тайный голос подсказывал ей, что только один он мо-

жет переменить к лучшему ее настоящую печальную участь. Предчувствие не обманывало ее: в ту пору – в пору политических измен, перебежек с одной стороны на другую, выдач друзей и приятелей, продажности самых высоких чувств – Миних, при своем ничем не удовлетворимом честолюбии, не составлял исключения в хорошем смысле. Регентство герцога Курляндского он поддерживал единственно из личных расчетов, воображая, что только лишь власть будет в руках герцога, он, Миних, может получить от него все, что пожелает; Миних предполагал, что герцог будет носить только титул, а вся власть регента будет принадлежать не кому другому, как ему, фельдмаршалу. Миних хотел руководить делами в звании генералиссимуса всех сухопутных и морских сил. Все это не могло понравиться регенту, знавшему Миниха слишком хорошо и слишком опасавшемуся его, для того чтобы решиться поставить фельдмаршала в такое положение, в котором он мог бы вредить ему. Поэтому регент не исполнил ни одной из его просьб. Впрочем, при жизни императрицы Анны честолюбивые виды фельд-

маршала простирались еще далее. Когда он вступил с войском в Молдавию, то еще до покорения этой страны просил сделать его молдавским господарем и, по всей вероятности, он успел бы в этом, если бы Молдавия осталась за Россией. Вынужденный по заключении мира оттуда вернуться на стоянку на Украину, он задался гораздо более странным намерением: он пожелал носить титул герцога украинского и подал об этом прошение через Бирона. Выслушав доклад по этой просьбе, императрица насмешливо сказала:

– Миних еще очень скромн; я думала, что он попросит титул великого князя московского.

Никакого другого ответа не дала государыня на это прошение, и о нем не было уже более речи, но честолюбие по-прежнему кипятило Миниха.

После услуг, оказанных герцогу Минихом, в фельдмаршале возродились новые затеи, но он вскоре должен был разочароваться и теперь, негодуя на регента, направил свои смелые замыслы в совершенно противоположную сторону, сделавшись из усердного при-

верженца герцога заклятым его врагом.

– Отчего вы, ваше высочество, всегда дрожите, когда является к вам герцог? – спросил однажды Анну Леопольдовну Миних после ухода от нее регента, который, войдя к ней, сказал ей несколько сухих отрывистых фраз и вышел поспешно из комнаты.

Принцесса не отвечала ничего.

– Вы, верно, его очень боитесь?..

На глаза Анны Леопольдовны навернулись слезы.

– Напрасно, совершенно напрасно, – ободрительно заговорил Миних.

– Это ничего более, как старая причина бояться герцога, когда я была молоденькой девочкой... – заминаясь, проговорила принцесса.

– То было совершенно другое время, – перебил Миних, – тогда ваше высочество были поставлены в иное положение, а теперь?

– Что же теперь? – живо спросила принцесса, смотря пристально в глаза фельдмаршалу. – Теперь, кажется, еще хуже...

– Последние ваши слова только отчасти справедливы... Простите меня, ваше высоче-

ство, если я скажу вам прямо, что вы сами виноваты, позволяя регенту поступать с вами и с принцем так, как поступает он. Ведь в манифесте или в уставе о регентстве сказано, чтобы регент императорской фамилии достойное и должное почтение показывал и по их достоинству о содержании оных попечение имел. А разве регент исполняет это?

– Ну что же мне делать: принц только попытался возразить регенту, и чем кончилась эта попытка? Я же осталась виновата, за то, что подбила его к этому.

– Между принцем и вами – большая разница, и что герцог решится позволить себе в отношении к принцу, того он никак не посмеет сделать в отношении к вам, как по вашим личным правам, так и из уважения к вам, как к женщине...

– О, герцог не так любезен с женщинами, как вы, фельдмаршал.

– В этом я с вами, ваше высочество, совершенно согласен. В отношении прекрасного пола я всегда был и до конца жизни останусь средневековым рыцарем, и вашему высочеству, как даме моего сердца, стоит только по-



желать – и моя шпага, и моя жизнь будут у ваших ног...

Говоря это, Миних встал с кресел и, приложив правую руку к сердцу, почтительно склонился перед принцессой.

– Но что же вы можете сделать с герцогом? – недоверчиво и с грустной улыбкой спросила Анна.

– Арестовать его, – твердым голосом проговорил Миних.

– Арестовать герцога? Арестовать регента? – с изумлением вскричала принцесса, вскочив с кресел.

– Да... и во всякое время, когда только вашему высочеству угодно будет приказать это, – сказал Миних с такой уверенностью, как будто речь шла о каком-нибудь ничего не стоящем деле.

– Вы шутите, любезный фельдмаршал, это невозможно...

– Я докажу вашему высочеству, что возможно...

– Притом вы...

– Вам, вероятно, угодно сказать, что я стронник регента, что я поддержал его в труд-

ную минуту, – это правда. Но, ваше высочество, – продолжал сентиментальный старик, – Миних прежде всего рыцарь, и если он видит страдания и слезы молодой женщины, он забывает все; для него тогда не существует никаких личных расчетов. Притом все чувства и привязанность должны замолкнуть, когда этого требует благо государства. Положитесь вполне на меня, и вы увидите, что торжество будет вскоре на вашей стороне. Обратите, ваше высочество, внимание на те последствия, какие могут произойти, если герцог останется регентом до совершеннолетия вашего сына. Он еще в звании обер-камергера стоил империи несколько миллионов, а теперь, сделавшись полновластным правителем на шестнадцать лет, он, вероятно, вытянет еще и из казны, и из народа шестнадцать миллионов, если не более. Притом, так как одним из пунктов завещания покойной императрицы герцог и министры уполномочены по достижении вашим сыном семнадцатилетнего возраста испытать его способности и обсудить, в состоянии ли он управлять государством, то никто не сомневается, что герцог найдет сред-

ство представить императора слабоумным, и тогда герцог, пользуясь своей властью, возведет на престол сына своего, принца Петра, бывшего жениха вашего высочества. Я говорю с вами откровенно, и потому в настоящую минуту должен сообщить вам, что безумная дерзость герцога, по случаю предположенного им брака, доходила даже до того, что на ваше высочество были возводимы самые недостойные клеветы, говорили, что граф Линар...

– Прекратите этот разговор, фельдмаршал, – торопливо вскрикнула принцесса, с трудом сдерживая охватившее ее волнение, – об этом поговорим в другое время, а теперь вы мне так убедительно высказались насчет моих обязанностей, как матери государя, что я готова... Нет... Дайте мне время подумать хоть до следующего вечера.

– Тем лучше, я сегодня обедаю у герцога и постараюсь выпытать от него те сведения, которые могут мне пригодиться. Позвольте мне только явиться к вам во всякое время дня и ночи: может неожиданно выдаться удачная минута, и неблагоприятно, чтобы не воспользоваться ею. Согласны вы, ваше высочество,

дать мне такое разрешение?

Принцесса немного призадумалась.

– Согласна! – сказала она решительным голосом. – Я вполне полагаюсь, фельдмаршал, на вашу смелость и на ваше благоразумие.

## XV

Был первый час ночи на 9-е сентября 1740 года. Сладким сном спала фрейлина Юлиана Менгден, в то время, когда вошедшая в ее спальню камер-медхен начала будить ее, говоря, что фельдмаршалу графу Миниху необходимо тотчас же ее видеть. Живая и проворная Юлиана быстро вскочила с постели и принялась торопливо одеваться, хватая спронежя невпопад то одну, то другую принадлежность своего костюма. Между тем Миних, постукивая слегка пальцем в дверь ее спальни, говорил, что с ним, стариком, церемониться незачем; что пусть баронесса примет его в том же самом наряде, в каком она теперь; что она так прелестна, что красота ее не потеряет ровно ничего от самого простого ночного убора; что ждать ему нельзя, так как дело, по которому он теперь пришел, не терпит ни малейшего отлагательства. С трудом могла удержать Юлиана за дверями спальни порывавшегося к ней старика и, одевшись кое-как, на скорую руку, поспешила выйти к фельдмаршалу.

С обычной своей любезностью, поцеловав ручку заспанной красотки, Миних сказал ей, чтобы она, не медля нисколько, пошла к Анне Леопольдовне и доложила ей, что ему сейчас же необходимо переговорить с ней по такому делу, от которого зависит и участь самой принцессы, и ее сына, и судьба всего государства. Несмотря на всю близость к принцессе и на свойство с Минихом, фрейлина ничего не знала о том, что предпринимала Анна Леопольдовна, так как Миних внушил принцессе, чтобы она никому об этом не говорила, даже и своему мужу. Впрочем, последнее предостережение было напрасно, так как Анна никогда не думала посвящать своего супруга в какие бы то ни было тайны, и она только улыбнулась, выслушав такое предостережение со стороны Миниха.

Юлиана недоумевала, что все это может значить и тем более удивлялась такому слишком позднему появлению Миниха, что ей хорошо были известны предосторожности, какие принимались для того, чтобы никто не мог проникнуть в Зимний дворец ночью, когда все здание было оцеплено сильным кара-

улом и у каждого входа стояли часовые, получавшие строгий приказ не пропускать во дворец решительно никого, под каким бы то предлогом ни было. В то же время и собственное всем, и в особенности женщинам, любопытство подбивало Юлиану разузнать поскорее причину прихода Миниха к принцессе.

– Но зачем же вам нужно видеть ее высочество в такую позднюю пору? – пытливо спросила она фельдмаршала.

– При всем моем безграничном к вам уважении и полном моем доверии к вашей скромности, – отвечал почтительно Миних, – я не считаю себя вправе сообщить вам об этом и только прошу – позволяю себе даже сказать – требую, чтобы вы сейчас же доложили обо мне ее высочеству.

Фрейлина сделала прямо в лицо Миниху насмешливую гримаску, как бы желая сказать: «Вот какой еще важный господин выискался!» – и затем, уступая настоятельному требованию Миниха, пошла к Анне Леопольдовне, пригласив его следовать за собой в уборную принцессы. Попросив фельдмарша-

ла подождать там, она вошла в спальню.

Утомленная душевными волнениями, испытанными в течение дня, крепко спала теперь Анна Леопольдовна, как будто позабыла о бывшем у нее разговоре с Минихом, требовавшем бодрости, а не сна. Принцесса вздрогнула, ее обдало и жаром, и холодом, и сильно забилося ее сердце, когда Юлиана шепотом сказала ей о приходе Миниха. Как ни осторожно будила Юлиана принцессу, но принц проснулся и спросил жену: зачем встает она?

– Мне нездоровится немного, а ты спи, – сказала она.

Принц послушался жену и, не выбиваясь из сна, захрапел, повернувшись только на другой бок.

Принцесса знала, зачем явился к ней фельдмаршал, и, силясь преодолеть боязнь и волнение, она, в одной ночной кофточке с повязанным на голове шелковым платочком, побежала в уборную к Миниху, ожидавшему ее там в парадном мундире с голубой через плечо лентой.

– Нельзя медлить долее, – торопливо проговорил Миних, – и я, согласно данному вами



разрешению, явился к вашему высочеству, чтобы получить немедленно ваше приказание арестовать регента.

– И неужели же вы решились окончательно на это?.. – вскрикнула принцесса, всплеснув руками.

– Твердо решился, ваше высочество, и я сумею устроить все это дело; вы же успокойтесь, положитесь на меня; я сию же минуту возвращусь к вам.

Сказав это, Миних вышел в соседнюю уборной комнату, где, прокравшись за ним и за Юлианой, находился адъютант его, подполковник Манштейн, которому фельдмаршал приказал пойти на дворцовую гауптвахту и призвать оттуда к принцессе всех бывших в карауле офицеров. Несмотря на то, что Манштейну приходилось пробираться в потемках по комнатам и коридорам дворца, он живо исполнил данное ему приказание, а между тем Миних доказывал принцессе необходимость арестовать герцога, убеждал ее ободриться, ручаясь, что все окончится скоро и благополучно, и подучал ее, как следует ей говорить с вызванными к ней офицерами.

В залу, смежную с уборной, вошли карательные офицеры Преображенского полка, не понимавшие, о чем идет теперь дело, и терявшиеся в догадках, – зачем в такую позднюю пору могла потребовать их к себе принцесса.

Происходившая в это время сцена освещалась канделябром, который держала в дрожащих руках Юлиана. Принцесса встала перед офицерами, собираясь с силами, чтобы сказать им несколько слов, внушенных ей Минихом, и, почувствовав, что взгляд одного из молодых людей пристально устремлен на нее, опустила глаза книзу и, покраснев, быстро запахнула раскрывшуюся на груди ее кофточку.

– Вы, конечно, знаете те несправедливости и те притеснения, какие наносит регент матери вашего государя и его отцу, – начала принцесса, – а так как мне невозможно и даже постыдно терпеть долее все эти оскорбления, то я решилась, наконец, арестовать герцога, поручив фельдмаршалу графу Миниху исполнить мое приказание при вашем участии, и я надеюсь, что вы поможете ему в этом...

Несмотря на врожденную робость и сильную застенчивость, принцесса произнесла

эту коротенькую речь твердым голосом и с большим одушевлением. В столпившейся около нее кучке офицеров послышался в ответ на эти слова одобрительный говор. Они стали подходить к руке принцессы, а она обнимала каждого из них, целуя в щеку. Офицеры вышли из залы, произнося угрозы регенту.

Теперь оставалось принцессе проститься с Минихом, которого ожидало или торжество, или смертный приговор. Фельдмаршал упал на колени перед Анной Леопольдовной, схватил ее руку, крепко прижал ее к своему равно бившемуся сердцу и затем стал осыпать поцелуями. Он не забыл проститься и с Юлианой и, пользуясь тем, что руки ее были заняты, звонко чмокнул ее в свежие пунцовые губки. Такая вольность казалась простительной человеку, шедшему на погибель. Смотря на нежные и шаловливые поцелуи фельдмаршала, трудно было предположить, что он решается идти на опасную и суровую расправу со своим недругом, но Миних не терял никогда ни присутствия духа, ни веселости.

Осторожными шагами пошли фельдмаршал и сопровождавшие его офицеры, и, спу-

стившись в караульню, Миних приказал солдатам зарядить ружья. Один офицер и сорок нижних чинов были оставлены на дворцовой гауптвахте при знамени, а восемьдесят человек, вместе с фельдмаршалом, его адъютантами и прочими офицерами, отправились к Летнему дворцу, где жил тогда регент и где еще стояло тело покойной императрицы. Несмотря на довольно сильный мороз, Миних был в одном мундире; он шел между офицерами и солдатами, а посреди этого небольшого отряда ехала карета фельдмаршала, в которую он намеревался усадить герцога, если ему удастся арестовать его.

Если в эту роковую ночь крепко спали и Юлиана, и принцесса, и ее супруг, то едва ли не крепче еще, чем они, спал тридцатилетний сын фельдмаршала, граф Иоанн-Эрнест Миних, проводивший теперь медовый месяц после брака с баронессой Доротеей Менгден, сестрой Юлианы. Он был в эту ночь дежурным камергером при императоре и в соседней с его спальней комнате «лежал в приятнейшем сне», не ведая решительно ничего о том, что предпринял его отец, и что сейчас

только что произошло поблизости его. Вдруг он почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до него и как будто будит его.

Миних открыл глаза и ужаснулся...

На его постели сидела Анна Леопольдовна. Проходивший из дверей другой комнаты свет падал на ее бледное лицо; выбившиеся из-под платочка темные волосы рассыпались в беспорядке по ее плечам; она тяжело дышала, лихорадочно смотря на Миниха, который думал, что возле него не женщина, а привидение. Но он тотчас убедился в действительности того, что видел, и дрожащим голосом спросил: «Что это значит?..»

– Любезный мой Миних, – отвечала шепотом Анна, – знаешь ли ты, что предпринял твой отец!..

Миних с изумлением смотрел на неожиданную ночную посетительницу, думая, что она находится в бреду или совсем лишилась рассудка.

– Он пошел арестовать регента... Дай Боже, чтобы ему удалось это!.. – добавила Анна Леопольдовна с глубоким вздохом, с трудом приподнимаясь с постели на подкашивавшиеся ноги.

– И я того же самого желаю, – пробормотал Миних, не сознавая еще отчетливо спросонья, что делается вокруг него. – Отец мой ушел арестовать регента? Так вы изволили сказать?.. – переспросил Миних, как бы желая убедиться в том, что он слышит.

– Да... – отвечала принцесса.

– В таком случае успокойтесь; если он решился на это, то, наверно, заранее обдумал все и без всякого сомнения принял самые надежные меры...

– Мне страшно, невыносимо страшно! Встань поскорее, Миних, и приди ко мне: я одна с Юлианой... – произнесла принцесса.

С этими словами из комнаты Миниха Анна Леопольдовна перешла в спальню своего сына, и какие страшные, томительные минуты переживала теперь она! Возбужденная в ней старым Минихом бодрость покинула ее после его ухода, и она, оставшись только с молодой девушкой, сознавала всю беспомощность своего настоящего положения. Что будет с ней, если смелое, по-видимому, даже безумное предприятие Миниха не удастся? Слабый дворцовый караул, если бы даже он и

решился отчаянно постоять за нее, не в силах был охранить Анну Леопольдовну от регента. Ее захватили бы врасплох, а к бегству между тем не было сделано никаких приготовлений.

Одевшись наскоро, Миних явился к принцессе, но этот молодой прекрасно образованный человек был очень пригоден для светских веселых собраний, но никак не в настоящие грозные минуты. Он попытался было развлечь Анну Леопольдовну то тем, то другим рассказом, но она вовсе не слушала его. Видя неудачу своих попыток, Миних примолк. Примолкла и щебетавшая без устали Юлиана, и теперь молча, заботливым взглядом следила она за принцессой, которая то ходила по комнате быстрыми шагами, то, падая на колени перед образом, и мысленно, и громко творила усердную, бессвязную молитву.

Глубокая тишина была и во дворце, и на улице. Анна Леопольдовна подошла к окну и взглянула в него. За Невой не было уже видно ни одного огонька; среди морозной ночи ярко дрожали звезды на темном небе; над Выборгской Стороной медленно вставал бывший на

убыли месяц. Слабым блеском отражался он на золоченом шпиле и куполе Петропавловского собора, бросая унылый свет на темные стены крепости и на белую пелену снега, покрывавшего только что ставшую Неву. Чутко прислушивалась Анна Леопольдовна, и до ее слуха доносились теперь и разноголосый лай псов, и протяжные оклики часовых, и раздававшийся то в той, то в другой стороне стук сторожевых трещоток. Среди этих обыкновенных ночных звуков испуганному ее воображению чудились и какие-то отдаленные клики, и бой барабанов, и движение шумной толпы.

Ей вдруг казалось, что в комнату входит грозный, рассвирепевший регент с ватагой покорных своих прислужников, что он осыпает ее угрозами и оскорблениями, что ее, по его приказанию, навеки разлучают с сыном. В ужасе подбегала Анна к колыбели и тревожно смотрела на спавшего безмятежным сном младенца. Ей живо представилось теперь, какие страшные пытки и казни ждут ее смелых сообщников, и предчувствовалось, что и самой ей готовится если не плаха, то безысход-



ное, суровое заточение в далекой, холодной глуши. Она трепетала всем телом, в припадках отчаяния ломала руки и, озираясь по сторонам, как будто искала помощи и сострадания.

«На кого мне надеяться, – думала принцесса, – на мужа?.. – И при этой мысли горькая, презрительная улыбка пробежала по ее губам, а сердце напоминало ей о любимом человеке. – Если бы со мной был теперь Мориц, – думалось молодой женщине, – то как бы я была бодра и смела, и даже гибель с ним вместе не пугала бы меня...»

Время шло своим чередом. Куранты на колокольне Петропавловского собора разыгрывали в свою пору заунывные мотивы, и вслед за тем разносился протяжный бой часов. Пробило два часа, пробило три и, наконец, четыре, а старик Миних все не являлся. Что стало с ним? Чем окончилась борьба смельчака и горсти его спутников с могущественным регентом, в распоряжении которого были все военные силы столицы?..

Истомленная долгим ожиданием, Анна Леопольдовна прилегла на канапе. Юлиана

села у нее в ногах и, взяв ее руку, крепко держала ее в своей руке, и обе они чувствовали теперь, как сильная нервная дрожь пробегала по ним. Пробило, наконец, и пять часов; раздался благовест к заутрене. Скоро забрезжит и утро, а фельдмаршала нет как нет! В это время вместо него в дверях показался заспанный принц. Проснувшись, он был озадачен продолжительным отсутствием жены и отправился отыскивать ее. Он побледнел как мертвец и затрясся как осиновый лист, узнав от жены о том, что она затеяла с Минихом и что пока еще неизвестно, чем кончится это отважное предприятие.

Заикаясь, он хотел было укорять ее за безрассудство, но вдруг на улице послышался какой-то неопределенный отдаленный шум, который приближался и становился все явственнее, и вскоре под окнами дворца стали раздаваться смелые голоса. Все замерли в ожидании близкой развязки... Прошло еще несколько минут – и в залах дворца раздались чьи-то твердые, быстрые шаги. Принцесса кинулась к колыбели своего сына и заслонила ее собой. Юлиана подбежала к Анне и,

обхватив ее рукой вокруг шеи, крепко прижалась к ней, а в это время с громким плачем пробудился испуганный младенец-император...

## XVI

— Поздравляю вас, ваше высочество! — громким голосом говорил Миних, широко растворяя перед собой двери, — регента уже нет!

— Как нет? Неужели же он убит? — вскрикнула Анна Леопольдовна.

— Успокойтесь на этот счет. Он жив, но теперь он в вашей власти — вы правительница империи.

Юлиана бросилась обнимать принцессу.

— Вот и мы попали в правительство! — повторяла она и при этом хлопала в ладоши, весело подпрыгивала и, казалось, сама не знала, что делала от радости.

Миних преклонил колено перед Анной и торжественно поцеловал край ее юбки, так как принцесса еще по-прежнему оставалась в ночном уборе. Потом он поцеловал протянутую ему Анной Леопольдовной руку, а она, нагнувшись к нему, трижды облобызала его. Между тем Юлиана, не давая еще привстать старику с пола, кинулась ему на шею и принялась целовать его. Принцесса стояла

несколько мгновений задумавшись и потом, как будто опомнясь, спросила своего избавителя:

– Чем же я могу наградить вас, фельдмаршал?

– Я не кончил еще начатого мной дела; теперь вы только правительница, но если вам угодно, то сегодня же императорская корона будет принадлежать вам...

– Нет! Нет!.. Я не хочу короны... – торопливо с испугом проговорила принцесса, сделав рукой движение, как будто она отталкивала что-то от себя.

– Я могу доставить ее вам, – проговорил Миних с горделивым сознанием своей силы.

Принцесса отрицательно покачала головой.

– Гм – пробормотал Миних. – Но что же угодно будет вашему императорскому высочеству? – спросил он недоумевающим голосом.

– С титулом великой княгини я провозглашу себя правительницей на время малолетства моего сына... и только.

– Воля ваша будет исполнена, – сказал, по-

чтительно кланяясь, Миних.

– Но вы, любезный граф, должно быть, очень устали, вам нужен отдых, – заметила Анна Леопольдовна. При этих словах принц, молодой Миних и Юлиана кинулись подставить старику кресла, на которые он и сел по приглашению принцессы.

– Я не спросила еще вас о том, где же теперь регент и где его семейство? – сказала она.

– Регент находится в нижнем этаже вашего дворца, он сдан в надежные руки... Но позвольте мне, ваше высочество, доложить вам о наших ночных похождениях.

Все присутствующие с напряженным вниманием стали слушать фельдмаршала.

– Не доходя шагов двести до дворца, – начал он, – я остановил мою команду и приказал Манштейну идти с двадцатью солдатами в Летний дворец и схватить регента. Чтобы не делать шума, Манштейн пошел один вперед, а солдаты шли от него в некотором отдалении. Часовые, бывшие около дворца, зная его в лицо как моего адъютанта, думали, что он послан за чем-нибудь от меня к герцогу, и

беспрепятственно пропустили его. Он прошел сад и попал благополучно во дворец, но встретил затруднение, не зная, в какой комнате спал герцог. Избегая малейшей тревоги, он не решился даже спросить об этом у дежурных лакеев и пошел наугад. Прошел он две комнаты и очутился перед дверью, запертой на ключ, на счастье, однако, дверь была створчатая, а ее верхние и нижние задвижки, видно, забыли задвинуть. Поэтому Манштейн отпер ее без большого труда и очутился в спальне герцога. Здесь спали глубоким сном он и герцогиня. Манштейн подошел к кровати, отдернул занавес и сказал, что имеет дело до регента. Супруги в ту же минуту проснулись и оба начали громко кричать, догадавшись, что адъютант мой не по добру явился к ним ночью в спальню. Герцог хотел было спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его и крепко держал, а между тем гвардейцы, забравшиеся, в свою очередь, во дворец, услышав крик и возню, кинулись на выручку своему командиру. Герцог стал отбиваться от них кулаками, но и наши молодцы не стеснялись уже с ним. Делать было нече-

го – пришлось бить его прикладами. Затем герцога повалили на пол, засунули в рот платок, связали ему руки офицерским шарфом, и так как он был в одной только сорочке, то на него набросили солдатскую епанчу, положили его в мою карету и в таком виде привезли его сюда.

Миних говорил наскоро. Сильно билось сердце Анны Леопольдовны и, когда рассказ фельдмаршала дошел до расправы с Бироном, она закрыла лицо руками. Миних смолк.

– Слава Богу, что хоть этим все кончилось! Я ожидала еще более ужасного, – сказала Анна Леопольдовна, перекрестясь со слезами на глазах.

– А что ж герцогиня? – спросила она заботливо.

– К сожалению, и ей в этом случае пришлось несколько пострадать. Она в одной рубашке выбежала за мужем на улицу, и хотя Манштейн приказал отнести ее обратно во дворец, но солдат на этот раз не послушал его приказания и, сказав, «чего возиться с ней!» бросил герцогиню в снег. Командир караула нашел ее в самом жалком положении. Он ве-



лел сбегать за ее платьем и отнести ее в спальню. Так как она была нам вовсе не опасна, то я и оставил ее пока в Летнем дворце. Брат герцога тоже арестован; он хотел было сопротивляться со своим караулом, но сдался, когда ему сказали, что герцог арестован. Я приказал тоже взять под караул и Бестужева, что уже и исполнил мой адъютант, Кенигсфельс.

– Я не могу надивиться, как вам, фельдмаршал, удалось арестовать регента!.. – вздрагивая, сказала Анна Леопольдовна.

– Да, ваше высочество, я шел на опасное дело, – отозвался Миних, желавший выставить свой подвиг геройством, хотя сам он и знал, что легко мог арестовать регента даже среди белого дня, так как никто не заступился бы за него. – Представьте, что было. От вас, как я вам уже говорил, я поехал обедать к герцогу; он принял нас чрезвычайно любезно, и мы заговорились до поздней ночи. Он был, однако, задумчив и, озабоченный чем-то, часто менял разговор. Вдруг ни с того, ни с сего он спросил меня: «Не предпринимали ли вы, фельдмаршал, во время ваших походов ка-

ких-нибудь важных дел ночью?». Признаюсь, этот неожиданный вопрос сильно озадачил меня: мне представилось, что регент догадывался о моем намерении; но я не смутился и спокойно отвечал ему, что не помню, случилось ли мне предпринимать что-нибудь особенное ночью, добавив, впрочем, что постоянным моим правилом было, несмотря ни на день, ни на ночь, пользоваться всеми обстоятельствами, если только я их находил благоприятными для себя. Герцог одобрил это правило, но мне в голову крепко запала мысль, что вопрос о ночных предприятиях был недаром. Я решился действовать безотлагательно и потому, сделав некоторые предварительные распоряжения, позволил себе явиться к вашему высочеству в такую позднюю пору, чтобы получить ваше приказание...

В это время раздался грохот барабанов, принцесса встрепелулась.

– Не тревожьтесь, ваше высочество, – сказал Миних, – это по моему приказанию войска спешат ко дворцу; вам надобно одеться и показаться перед войском и народом, представив им императора.

Все уже суетились в Зимнем дворце. Привоз туда герцога переполошил всех, а барабанный бой поднял на ноги жителей Петербурга. Позднее ноябрьское утро еще не наступило, был полумрак, и никто не знал, что происходит, а между тем густые толпы народа двигались ко дворцу следом за войсками. Все произошло так быстро, немцы так неожиданно и так ловко расправились друг с другом, что даже тогдашний главный начальник петербургской полиции, князь Яков Петрович Шаховской не мог взять в толк, что делалось теперь в городе, в котором сохранение тишины и спокойствия было вверено непосредственной его бдительности.

«Я поздно, — писал в своих «Записках» князь Шаховской, — в оную ночь (с 8-го на 9-е ноября) заснул; но еще прежде рассвету приедем ко мне офицером был разбужен, который мне объявил, что во дворце теперь множество людей съезжаются, гвардии полки туда же идут и что принцесса Анна, мать малолетнего императора, приняла правление государственное, а регент Бирон с своей фамилией и кабинет-министр граф Бестужев взяты

фельдмаршалом Минихом под караул и в особливых местах порознь посажены. Итак, – продолжает первенствующий блюститель благочиния, – спешно одевшись и ко дворцу приехав, увидел множество разного звания военных и градских жителей, в бесчисленных толпах окружающих дворец, так что карета моя, до крыльца по невозможности проехать, далеко остановилась, а я, выскоча из оной, с одним провожающим команды моей офицером, спешно пробирался сквозь людей на крыльцо, где был великий шум и громкие разговоры между оным народом; но я, того не внимая, бежал вверх по лестницам в палаты, и как начала, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле начинателем, и кто производитель и исполнитель не зная, не мог себе в смысл вообразить, куда мне далее идти и как и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, туда же спешно меня оббегающими. Но большею частью гвардии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь, смело в веселых видах и не уступая никому места, ходили; почему я вообразить мог, что сии-то и были производителями

онаго дела».

Миних, по захвате регента, распорядился известить о происшедшей перемене правления всех вельмож, вследствие чего они мчались теперь в Зимний дворец; войска и народ беспрестанно прибывали на дворцовую площадь. Придворная церковь и дворцовые залы мгновенно осветились множеством свечей; и здесь, и там, на лестницах, и на улицах слышались веселые клики и радостные поздравления с новой правительницей.

В пышном наряде, блистая бриллиантами, явилась молодая правительница в церковь, где наперерыв один перед другим спешили принести ей присягу на верность придворные, военные и гражданские чины; перед дворцовой церковью была такая давка, что трудно было протискаться туда даже самым сановным лицам. В галерее, ведшей в церковь, быстро переходили из рук в руки листы бумаги и слышались возгласы: «Извольте, истинные сыны отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь, в том Евангелие и крест целовать». Присяжные листы «жадно»

вырывали одни из рук других, расспрашивая, что и как следует на них писать, вырывали также и чернильницы, и перья, и каждый подписавшийся силился пробраться в церковь, чтобы взглянуть на правительницу и поклониться ей.

Правительница, несмотря на господствовавшую около нее неудержимую радость, стояла в церкви с задумчивым выражением лица, окруженная блестящим сонмом вельмож. Казалось, что ее нисколько не веселила победа над врагом и она оставалась совершенно равнодушной к тому величию и к той славе, которые так внезапно озарили ее. Разумеется, что печальный вид принцессы среди этого торжества объясняли следами тех сильных волнений, которые она только что испытала перед этим и которые не успели еще улечься в душе ее. Такая догадка была справедлива только отчасти, так как у нее были другие, тоскливые думы. В добром от природы сердце Анны поднималась теперь новая борьба. Освободившись от своего давнишнего притеснителя, она начала жалеть как о нем самом, так и о его семействе; грустные предчувствия

и в эти радостные минуты закрадывались в ее душу; ей приходили на мысль и предстоящие для нее тяжелые заботы правления, и ее неудавшаяся супружеская жизнь. То напряженное состояние, в котором она только что находилась, миновало, и она еще сильнее почувствовала упадок душевных сил, свою беспомощность в новом высоком сане и свое одиночество в изменчивой и продажной среде, окружавшей ее. У нее не было надежного друга, на которого она могла бы положиться. Правительница предвидела, что в чаянии ее щедрот и милостей перед ней будет приниженная, послушная и покорная толпа слуг, рабов, угодников и льстецов, но что среди них она не найдет тех чувств, которые ей казались дороже всего. У нее были теперь власть и сила, но она была не только правительницей государства, но и двадцатидвухлетней женщиной в разгаре молодых мечтаний...

Не только в церкви и в залах дворца, но и на площади можно было легко убедиться, какой восторг охватил всех. Войска и народ радостно и вместе с тем как-то дико заревели,

когда правительница в накинутой на плечи бархатной, собольей шубке явилась на балконе Зимнего дворца. То же самое повторилось, когда она показала в окно своего сына-императора. После этого полкам был прочитан на площади манифест о принятии «благоверной» великой княгиней Анной Леопольдовной правления государством в малолетство ее сына. Перекаты «ура!» покрывали чтение этого объявления, и шапки высоко летели вверх. Между тем каждый гвардейский батальон составлял особый кружок и приносил под своим знаменем присягу на верность правительнице. Окончание войском присяги было возвещено пушечными залпами со стен Петропавловской крепости.

Для принесения правительнице присяги явилась в Зимний дворец и цесаревна Елизавета. Соперницы встретились, по-видимому, весьма дружелюбно. Елизавета со слезами на глазах кинулась на шею своей племяннице и крепко облобызала ее в губы и в щеки, потом схватила ее руку, чтобы поцеловать, но правительница не допустила до этого. Теперь, без поддержки Бирона, беспечная, ветреная и



веселая Елизавета казалась уже не опасной Анне Леопольдовне, проявившей такую решительность и смелость, а между тем неожиданный переворот, произведенный женщиной, при помощи горстки солдат, заронил в приверженцах цесаревны Елизаветы первую мысль о возможности сделать то же самое и в ее пользу.

## XVII

Весь Петербург в течение нескольких дней только то и делал, что толковал о случившемся перевороте. Знакомые ездили друг к другу, стараясь поразведать что-нибудь новенького; болтуны и болтуньи, не зная ничего достоверного, принимались сочинять замысловатые рассказы и пускали их в ход как несомненную правду, между тем как рассказы эти были в сущности нелепой выдумкой. Ошеломленные неожиданностью государственного переворота, представители иностранных держав в Петербурге отыскивали всевозможные лазейки, чтобы поразузнать о таинственных событиях странной ночи и деятельно строчили своим дворам объемистые депеши, подхватывая на лету все, что им удалось услышать. Услышать же теперь можно было многое. Новое правительство не принимало никаких мер для того, чтобы несколько обуздать и припугнуть даже самых смелых говорунов; усиленные при регенте караулы были отменены, расставленные при нем на улицах и площадях пешие и конные пикеты

были немедленно сняты, никто не разгонял собиравшегося на улице народа, не закрывали ни кабаков, ни бань, и подозрительные шпионские рожи не сновали нигде: они как будто провалились сквозь землю.

Солдаты, остававшиеся перед дворцом на площади, поставив ружья в козлы, похваливали Миниха и в особенности молодцов-преображенцев, арестовавших регента. Весело и громко гудела дворцовая площадь, покрытая народом. По временам по ней проносился какой-то мягкий и перекастистый шум: начинал один попрозябший солдатик отогреваться, похлопывая рукавицами, глядя на него, принимался делать то же самое его товарищ, а за ним другой, третий, а потом и все, как это обыкновенно бывает в массе людей, приученных к дружным движениям и действиям.

Собравшиеся на площади в кучку гвардейские офицеры, из русских, толковали теперь об участи своих товарищей, схваченных по распоряжению регента.

– А что же, господа, – говорил один из офицеров, – ведь и о товарищах наших подумать следует; за последние дни мы многих из нас

недосчитываемся. Куда девались Ханыков, Аргамаков, князь Путятин, Пустошкин?

– Куда девались? – перебил другой офицер. – Известно куда, да только спрятали их так хорошо, что не скоро их достанешь.

– Положим, хоть теперь и достанешь, – заметил третий, – да после побывки в застенке куда они годятся? Не жильцы они больше на белом свете, навек искалеченными останутся; кто с поломанной рукой, кто со свихнутой ногой, а кто вдобавок и сухотку прихватил.

– Надобно будет за них, господа, с челобитной от гвардейских полков к ее императорскому высочеству отправиться, – отозвался тот из офицеров, который поднял настоящий разговор.

– Незачем, – вмешался один из преображенцев, – сама помилует и достойным образом вознаградит каждого за страдание и за пролитую кровь. Ведь толкуют, что правительница и милостлива, и жалостлива. Да и с какой стати нам на первых порах учить ее, пусть сама свое милосердие по собственной воле являет. Посмотрим, что будет, а вот если не окажет милостей потерпевшим за нее, так

тут другая статья выйдет; и без нее обойдемся... – добавил он, внушительно посмотрев на своих товарищей.

В другой разношерстной кучке ораторствовал какой-то старый подвыпивший приказный.

– Ведь вот поди ты, какие случаи бывают!.. Чудны дела твои, Господи! Еще вчера, около полудня видел я сам, как его высочество принц к регенту в гости ехал, а потом встретил их уже вместе: ехали они в Зимний дворец. Кажись, приятелями были.

– Да не только они так катались, – перебил один из толпы, – а видел я, как принц и регент вместе в герцогский манеж приехали, и подумал: эх, ведь народ-то как много вздору болтает. Говорили, что они живут промеж собой как собака с волком, а выходит-то на деле, что они друзья закадычные...

– Да ведь принц-то тут ровно ни при чем; вот там галдят, – сказал кто-то, указывая рукой в сторону, – что всю эту диковинку обделала ихнее высочество сама по себе.

– А кажись, с виду такая тихая и смиренная будет!.. – подхватила какая-то старушонка, по-

качивая от удивления головой.

– Ну, уж насчет женского пола, – отозвался стоявший в кучке толстый купчина, – я вам доложу: тайна сия велика есть. Вот хоть бы примером заявить – моя супружница...

– Что ты, голубчик?.. Никак с ума спятил?.. – крикнул приказный, – тут мы о делах первостепеннейшей государственной, можно сказать, важности рассуждаем, а ты нам свою супружницу тычешь... Ну ее!..

Купчина растерялся, а толпа захохотала и принялась острить на свой лад, но некоторым показалось страшноватым толковать о таких опасных делах, и они стали понемногу пятиться от приказного, зато другие смельчаки еще более подвинулись к нему. Вдруг бывший среди разговаривавших поп икнул изо всей мочи. Этой неожиданности было достаточно, чтобы внезапный, бессознательный страх обдал всех присутствовавших: они пошатнулись и в ужасе отскочили от оратора.

– Вишь, батька, как пужнул всех, – хохоча во всю глотку, сказал приказный. – Чего, дураки, бежите? Вернитесь! – крикнул он.

Никто, однако, не хотел внять этому при-

зыву. Все пустились наутек, как стадо испуганных баранов, искоса посматривая, не следует ли кто-нибудь за ними, и, отбежав подалее, радовались, что они избавились от беды подобру-поздорову.

– Что ты, батька, наделал? – укорительно заметил ему приказный.

– Что наделал? Так и должно быть; разве не знаешь, что и в пророчествах написано: «Поражу пастыря и рассеются овцы стада», – добавил он не без спесивой торжественности.

– Хорош пастырь!.. Тебе бы не разгонять паству, а собирать ее теперь около себя и поучать ее, – внушительно заметил приказный.

– Да чему поучать?

– Чему поучать?.. чему поучать? – перердразнил приказный. – Нешто не знаешь, что он не крещен?.. – добавил таинственным полшепотом.

– Кто он?.. – спросил поп, вытаращив глаза.

– Да он!.. А хочешь знать все, так изволь, тебе скажу. Иди сюда... – и, отведя попа в сторону, приказный начал ему шептать что-то, причем слушатель в недоумении покачивал головой, с любопытством прислушиваясь к

словам своего собеседника.

Если бывшая на площади толпа жадно глядела на все, что происходило теперь перед ней, то еще более любопытство ее подстрекал вопрос о том, как порешат с регентом. В толпе ходил слух, что по этому делу идет во дворце совет и что как только он кончится, тотчас же «злодея» будут казнить лютой смертью тут же, на площади, перед всем православным народом. Все знали, что герцог сидит под караулом во дворце, и полагали, что там долго его не продержат, а потому и желали посмотреть, чем все кончится.

Сильно избитый ружейными прикладами и порядочно помятый регент, попавшийся в неволю, метался сперва как дикий зверь, запутавшийся в тенетах. Он осыпал страшными проклятиями вероломного Миниха и, не зная, кто был истинным виновником его бедствий, называл всех русских вельмож бездушными и неблагодарными людьми, не стоившими его милостей. Ссылаясь на волю покойной императрицы, герцог заявлял, что он законный правитель империи и что те хищники, кто насильственно лишил его принад-



лежащей ему по праву власти. Он то просил, чтобы принцесса или принц пожаловали к нему, то требовал, чтобы его отвели или к ней, или в совет министров для объяснений, или, наконец, по крайней мере, хотя объявили ему истинную причину его ареста. Он твердил и о том, что образ действий в отношении к нему представляет нарушение международных прав, так как независимо от того, что он был регентом империи, он был в то же время и владетельным герцогом Курляндским – государем, не состоявшим ни в какой зависимости от России. Он настаивал на том, чтобы к нему были приглашены представители иностранных держав, находившиеся в Петербурге, дабы он мог им заявить свой протест против оказываемого ему насилия. Все это он говорил в страшном раздражении, бессвязно, и по-русски, и по-немецки, обращаясь к приставленным к нему караульным офицерам и заявляя об этом врачу и пастору, посетившим его, а также начальнику тайной канцелярии графу Ушакову и генерал-прокурору князю Трубецкому, еще накануне этого несчастного для него дня так раболепствовав-

шим перед ним, а теперь пришедшим к нему, чтобы объявить о сделанных от имени правительницы насчет него распоряжениях.

После порывов неудержимого негодования, переходившего в иступление, герцог впадал в какое-то оцепенение. Он, как расслабленный, опускался в кресла, потом вскакивал, быстро ходил по комнате, плакал, рвал на себе волосы и платье. Но все его протесты, брань, крики, вопли, проклятия и слезы были совершенно напрасны, никто не тронулся ими, никто не обращал на них никакого внимания. Могущественный еще за несколько часов регент увидел теперь все свое бессилие, попавшись во власть молодой женщины, которую он до сих пор считал робкой и не способной ни к каким решительным и крутым мерам. Он увидел всю ошибку, раскаивался в своей опрометчивости и в особенности в своем доверии к Миниху, винил себя в слабости и снисходительности к своим врагам, а между тем доходившие до него с площади отголоски радостных криков приводили его в бешенство. Он то надеялся на милосердие Анны Леопольдовны и считал свой арест только

временной, неприятной случайностью, и тогда он несколько приободрялся и успокаивался, то впадал в отчаяние, и тогда ему мерещились и пытки, и плаха, и он, скрежеща зубами, с диким хохотом закрывал руками искажившееся от ужаса лицо.

Но вот явился к нему грозный Ушаков в сопровождении своих адъютантов и сильного караула. Ушаков объявил герцогу от имени правительницы повеление о немедленном выезде его из Петербурга. Герцог пошатнулся, но, тотчас же оправившись, склонил голову и, не говоря ни слова, отдался в руки своих суровых распорядителей, которые, накинув плащ поверх бывшего на нем шлафрока, повели его с лестницы, окруженного со всех сторон штыками.

Едва показался на дворцовом подъезде герцог с низко надвинутой на лицо шапкой, как стоявшая около подъезда толпа тотчас же узнала его по знакомому всему Петербургу его синему бархатному плащу, подбитому горностаем. Народ неистово завопил, и по площади раздались крики: «Вот он, наш злодей и мучитель!», «Сейчас бы и порешить

его!», «Что закрыл ты харю, покажи ее!» – кричали ему с разных сторон.

Теперь проявилась вся дикая разнузданность грубой черни, которая еще так недавно с подобострастным страхом преклонялась перед своим властелином, а теперь с проклятиями и ругательствами готова была бы растерзать его в клочки, если бы только войска не сдерживали ее свирепого натиска.

Герцога, почти потерявшего сознание, втолкнули в дормез, запряженный придворными лошадьми. На козлах дормеза сидел, вместо кучера, полицейский солдат, а рядом с ним лакей в придворной ливрее; экипаж был окружен отрядом гвардейских солдат с прижатыми к ружьям штыками. В отдельном, переднем сиденье дормеза помещались доктор и два гвардейских офицера, каждый из них с двумя заряженными пистолетами. По знаку, данному одним из адъютантов фельдмаршала Миниха, распорядившимся отправкой арестанта-герцога, поезд тихо двинулся.

В эту минуту герцог нечаянно поднял глаза и увидел в окне дворца бледное лицо Анны Леопольдовны. При виде своего пленника

правительница вздрогнула, она хотела сказать что-то окружавшим ее, но голос ее замер, и она, закрыв лицо, заплакала навзрыд. Стоявший у окна, около Анны, ее супруг смотрел на все происходившее с каким-то торжественно-напыщенным видом; ему не верилось, что в отъезжавшем от дворца экипаже мог сидеть тот самый человек, которого он за несколько часов так смертельно трусил, и принц с почтительным изумлением взглядывал на молодую женщину, отомстившую регенту обиды и свои, и нанесенные им ее ничтожному супругу.

После герцога, также в дормезе, был вывезен его брат, генерал Бирон, а за ним в простых санях был отправлен Бестужев. Сильный конвой сопровождал и того и другого.

Наступали ранние сумерки ясного морозного ноябрьского дня. На небе горела вечерняя заря, обливая розовым светом и здания, и толпившийся на площади народ. Ярκο-пурпуровым блеском отражался закат солнца в окнах домов, и все это придавало Петербургу веселый праздничный вид, соответствовавший тому настроению, в котором находились те-

перь жители столицы; с шумным говором протянулся наконец народ за войсками, двинутыми с площади по окончании всех главных распоряжений, и вскоре все вступило в колею обычной жизни для тех, кто не участвовал в перевороте; совершенно иное испытывали теперь те, на ком он отразился прямо или косвенно.

## XVIII

Тотчас после доклада Миниха Анне Леопольдовне об аресте регента она послала известить об этом графа Остермана как главного и необходимого дельца в такую затруднительную минуту, приглашая его немедленно приехать в Зимний дворец. Услышав совершенно неожиданную весть о падении герцога, осторожный до крайности министр не поверил возможности такого важного события. Он полагал, что, вероятно, между регентом и принцессой произошли только какие-нибудь замешательства и столкновения, впутываться в которые было бы слишком опасно, и что известие о захвате регента основано на каких-нибудь неверных, преувеличенных или преждевременных слухах, или же, наконец, оно сообщено ему нарочно для того, чтобы заставить его принять участие в неокончившейся еще борьбе принцессы с герцогом. Как бы то, впрочем, ни было, но, ссылаясь на свою тяжкую болезнь, Остерман приказал посланному принцессы доложить ее высочеству, что он, к крайнему своему

прискорбию, не имеет решительно никакой возможности исполнить ее приказание. С таким ответом возвратился посланный в Зимний дворец, куда уже успели собраться все вельможи. Не видя среди них Остермана и узнав о его обычной отговорке, Миних тотчас же смекнул, в чем дело, и попросил камергера Стрешнева, шурина Остермана, отправиться к кабинет-министру.

– Я знаю настоящую причину, почему граф Остерман не явился во дворец, – сказал фельд-маршал Стрешневу, – он думает, что не вышло ли относительно ареста бывшего регента каких-нибудь недоразумений, он чересчур осторожен; но вы очевидец всего, что теперь происходит, поезжайте к графу и удостоверьте его лично, что герцог действительно арестован. Я вполне убежден, что тогда Андрей Иванович сделает над собой некоторое усилие и тотчас же приедет сюда.

Стрешнев принял на себя это поручение, и оказалось, что Миних не ошибся в своем предположении. Убедившись вполне в том, что регент лишился власти, что он схвачен и сидит под караулом и что правление государ-



ством перешло в руки Анны Леопольдовны, хитрый старик не замедлил приехать во дворец и представился правительнице, преподнося ей красноречивые и льстивые поздравления, а также пожелания всевозможных благ. Анна Леопольдовна милостиво подшутила над его излишней робостью и неуместной осторожностью, назначив ему быть в тот же вечер у нее с докладом.

У успокоившегося теперь Остермана не только нашлись силы для исполнения служебных обязанностей, но он даже, к общему удивлению, объявил, что на днях, по случаю совершившихся радостных для всего «российского отечества» событий, даст у себя большой бал, удостоить который своим присутствием соизволила обещать государыня-правительница.

В назначенный час Остерман явился с докладом к Анне Леопольдовне. После разговора обо всем случившемся, Остерман представил правительнице свои соображения относительно настоящего положения политических дел, а затем предложил ее вниманию сообщение о тех бумагах, которые без ее ведома

были подписаны регентом и отправлены по назначению из коллегии иностранных дел.

– В числе таких бумаг, – сказал совершенно равнодушным голосом министр, – была депеша к дрезденскому двору с просьбой назначить к нам польско-саксонским посланником графа Линара...

– Графа Линара?.. – с изумлением спросила правительница. – К чему же это? – добавила она, силясь преодолеть охватившее ее при этой новости волнение и стараясь казаться совершенно спокойной. Но выражение лица и замешательство тотчас выдали Остерману ее сердечную тайну, и от его пронизательности не укрылось то потрясающее действие, какое произвело на правительницу сообщение о предстоящем приезде в Петербург Линара.

– Регент находил, – продолжал Остерман тем же тоном, – что приглашение в Петербург такого посланника, как граф Линар, могло бы в значительной степени облегчить сношения наши с венским двором, а вместе с тем и противодействовать расчетам берлинского кабинета.

Правительница, пересиливая свое смущение, закусила нижнюю губку и, наморщив брови, хотела придать своему лицу самое серьезное выражение, которое соответствовало бы важности представляемого ей доклада по дипломатической части. Она сделала вид, будто чрезвычайно внимательно слушает объяснения министра, а между тем сердце ее сильно билось, дыхание замирало и даже не такому тонкому наблюдателю, каким был Остерман, нетрудно было подметить притворное равнодушие правительницы. Не зная вовсе тех коварных замыслов, которые, по наущению самого же Остермана, были у регента при вызове в Петербург Линара, Анна подумала, что регент хотел только неожиданно угодить ей этим, и ей вдруг стало жаль герцога при этой мысли; он не казался уже непримиримым врагом, и чувство благодарности со стороны страстно влюбленной женщины брало в ней теперь верх над холодной суровостью правительницы.

– Нет, я не желаю, чтобы граф Линар явился при моем дворе, – проговорила она, придавая своему голосу оттенок негодования, а

между тем сама думала вовсе не то. – Ты, Андрей Иванович, – добавила она, – был слишком близок к регенту...

– Сего вообще никак не можно сказать, ваше императорское высочество, – поспешил возразить оторопевший Остерман, – я был близок с регентом токмо по государственным, а не по личным делам: мне, вашему всепокорнейшему слуге, необходимо было весьма часто трактовать о политике и нуждах империи с герцогом и согласоваться с его видами, как главного правителя «российского отечества», поставленного в оную должность волей в Бозе почивающей государыни.

– Успокойся, Андрей Иванович, – улыбаясь и кротко сказала правительница, – я говорю тебе это не с тем, чтобы обвинять тебя за близость к регенту, я хочу сказать тебе совсем другое, чего ты, быть может, и не ожидаешь; я стану говорить с тобой от чистого сердца, только и ты скажи мне сущую правду, как мой истинный доброжелатель...

Услышав эти милостивые слова, Остерман заметно приободрился.

– Ты был близкий человек к герцогу, а по-

тому, разумеется, он и не скрывал от тебя того распоряжения, какое, по его старанию, сделала покойная моя тетка относительно графа Линара. Притом, кроме тебя, некому было и писать в Дрезден депешу по этому делу...

– Во исполнение сего состояла моя обязанность, – подхватил смутившийся опять несколько министр, – но смею уверить ваше императорское высочество, что в депеше сей не было ничего, касающегося высочайшей вашей особы.

– Конечно! Но тем не менее ты, Андрей Иваныч, очень хорошо должен был знать истинную причину, почему была написана эта бумага, да и сама покойная государыня из моей девичьей глупости никакой тайны не делала. Помнишь, какой тогда переполох и шум поднялись во дворце, пошли спросы, расспросы и передопросы, даже последних дворцовых служителей и служительниц и тех в покое не оставили; о чем только их не расспрашивали, а иных и в тайную канцелярию для сыску отправляли, а ты, Андрей Иваныч, знаешь, что у людей язык куда как долог. Заговорил один, а за ним и другие принялись бол-

тать во все стороны. Не только все при дворе, но и целый город, я думаю, знал, за что выслали Линара; Юлиана передавала мне все тогдашние толки, и много я за мою шалость разного горя натерпелась. Обо всем этом не забыли еще, и, следовательно... – добавила Анна, смотря пристально на Остермана.

В то время, когда она сетовала таким образом на свое прошлое, в воображении ее мелькнули, однако, отрадные, пленительные воспоминания, и даже тот страх, который испытывала она когда-то при тайных сношениях с Линаром, обращался теперь в какое-то приятно раздражающее ее чувство.

– Вероятно, вашему высочеству благоугодно будет сказать, что посему приезд в Петербург графа Линара произведет прежние вздорные толки?.. – заметил Остерман.

– Да... Распорядись лучше, Андрей Иваныч, отправить в Дрезден другую депешу... Напиши в ней, что мы передумали и что граф Линар нам вовсе не нужен... Обойдемся и без него... – Последние слова правительница проговорила с заметным усилием, неровным голосом.

Анна и Остерман хитрили теперь друг перед другом, но уменье их в этом случае было далеко не одинаково. И он, и она желали, хотя и по различным побуждениям, чтобы Линар был в Петербурге, но не хотели или, вернее сказать, не могли откровенно высказаться об этом между собой. Остерман, предвидевший теперь возможность вступить в отношение к Линару в роль бывшего регента, боялся, как бы под влиянием опасений, высказываемых правительницей, не потерять подготовленной им для себя около нее поддержки. Ему было ясно, что после трехлетней разлуки Анне хотелось опять свидеться с Морицом и что она только из стыдливости и сдержанности противоречила осуществлению этого предположения. Слишком опытный в интригах и происках, Остерман домогался того, чтобы в настоящем деле последнее решительное слово принадлежало самой правительнице с тем, что если бы впоследствии из приезда Линара вышло что-нибудь для нее неприятное, то он мог бы сослаться на собственную ее волю. Делая вид, что нежелание Анны Леопольдовны – видеть Линара – считает искренним,

Остерман посредством такого притворства нашел возможность поставить молодую женщину в самое затруднительное положение.

– Повеление вашего высочества сегодня же мной будет исполнено, – покорно сказал Остерман, сиюсь привстать с кресла. – По возвращении домой я безотлагательно заготовлю соответственную сему делу депешу для отправки ее с нарочным посланцем в Дрезден...

Проговорив это, хитрый старик как будто принялся рыться в бумагах, расположенных перед ним на столе, а сам между тем украдкой, исподлобья, следил внимательно за Анной, которая, увидев безоговорочность Остермана, не знала, как далее повести дело к тому исходу, который был ей так желателен.

Наступило молчание. Облокотясь на стол и закрыв лицо рукой, задумчиво сидела правительница. Остерман продолжал спокойно рыться в бумагах, подготавливая их к дальнейшему докладу, и, как будто считая вопрос о Линаре совершенно поконченным, он отложил в сторону относившуюся к нему бумагу.

Анна увидела это и не выдержала.



– Но как же это сделать?.. – с живостью спросила она.

– Что сделать, ваше высочество?.. – проговорил Остерман, подняв глаза на правительницу и делая вид, что он не догадывается, о чем она спрашивает его.

– Чтобы отклонить приезд Линара... Ведь дрезденский кабинет... – нерешительно промолвила правительница.

– Учинить сие несколько трудновато, – начал глубокомысленно Остерман официальным слогом того времени, – чаять надлежит, что пущенная из С.-Петербурга в Дрезден депеша или уже прибыла туда, или имеет прибыть не сегодня, так завтра. По сему дрезденский двор и мог уже с своей стороны распорядиться о поступлении в сходствие с оной. За сим, по получении новой депешы, входящей в противоречие с прежней, дрезденский кабинет не токмо обижен быть может, увидев от нас столь мало к себе аттенции, но и может таковое изменение к легкомыслию и импертиненции нашего двора отнести и в силу онаго восчувствовать против нас огорчение и признать сие действие досадительным для се-

бя с нашей стороны поступком...

– Я не смыслю ничего в вашей политике, – перебила принцесса, обрадованная, однако, в душе, что дело идет на лад и не просто по ее только желаниям, а по причинам весьма уважительным, – по дипломатическим соображениям тонкого министра.

– Как ознакомитесь, ваше высочество, с этими делами, – сказал, тяжело вздохнув, Остерман, – тогда соизволите увидеть, какие при оных делах встречаются конъюнктуры и инфлуенции... Бывают случаи, – продолжал поучительным голосом министр, – когда высочайшие особы, презрев свои персональные комбинации и онеры, должны ступить в жертву и те и другие наиважнейшим резонам...

– Следовательно, и я должна?.. – как будто с радостью спохватилась правительница.

– Сие зависеть будет от всемилостивейшего вашего благоусмотрения. Могу токмо сказать, что, несомненно, российское отечество ожидает от матери своей всего на пользу его имеющего быть содеянным...

– Но что ж теперь делать? – пытливо спро-

сила Анна.

– По мнению всенижайшего вашего слуги, надлежит учиненное пред сим в отношении графа Линара оставить в прежней силе, – заметил министр.

– Но когда приедет сюда Линар, тогда?.. – В этом вопросе правительницы слышались и робость, и нерешительность, и Остерман со своей стороны нашел нужным пересилить их.

– Так что же, ваше высочество? Всем будет известно, что не вы изволили его вызвать, а регент, который, как сие все очень хорошо ведают, не токмо никогда не думал о чем-либо удобном особе вашей, но, наоборот, поступал в совершенную противность оному, учиняя вам огорчения и досадительства. В таком смысле относительно приезда сюда послом графа Линара можно будет даже составить не токмо дипломатическую, но и газетную декларацию, и тогда все поймут, что вы, ваше высочество, пребываете здесь ни при чем и что вам так надлежало поступить по необходимости, из одного токмо учтивства перед дружественным иностранным двором, как

требуют сего народные права.

Анна Леопольдовна призадумалась, а Остерман, пользуясь ее колебанием, решился покончить все дело одним, самым верным, по его мнению, ударом.

– Осмеливаюсь, впрочем, – начал он тихим, несмелым голосом, – представить вашему императорскому высочеству единственное, несколько затрудняющее настоящий казус обстоятельство... Все нужно принять при сем в соображение и потому позвольте дерзновенно, с уничижением, приличествующим всенижайшему вашему слуге, спросить: быть может, его император...

– Принц?.. – гневно вскрикнула Анна Леопольдовна, вскочив с кресла, и на бледном лице ее выступили красные пятна. – Никому нет дела до моих к нему отношений!.. Я могу поступать как хочу!.. Я спрашиваю у министров только советов, а не наставлений!..

Остерман растерялся, но в то же время увидел, что дело его выиграно окончательно, что он задел в Анне самую чувствительную струну.

– Дерзнул я изречь сие, – забормотал он, –

не в видах поучительных, но токмо...

– О принце говорить теперь нечего, – не без запальчивости перебила она, оскорбленная в особенности тем, что Остерман как будто забыл или не хотел знать событий минувшей ночи, когда Анна оказала такую решительность и такую смелость в противоположность бездействию и трусости своего мужа.

Но взрыв негодования быстро прошел у нее. Сделав в сильном волнении лишь несколько шагов по комнате, она молча остановилась перед Остерманом, выжидая, что он еще скажет.

– Как же благоугодно будет приказать вашему высочеству поступить в отношении графа Линара?.. – спросил робко Остерман.

– Я желаю, чтобы граф Линар был в Петербурге, – твердым голосом и с повелительным видом сказала правительница.

Остерман почтительно склонился перед ней, а молодая женщина вовсе не предчувствовала, что с этими словами она делала первый шаг к своей гибели.

# XIX

Никаких торжеств и празднеств не происходило ни при дворе, ни в Петербурге вообще по случаю принятия правления Анной Леопольдовной, несмотря на радость всего населения. Причиной этому было то, что тело императрицы Анны Иоановны оставалось еще непогребенным, в Летнем дворце, откуда только в последних числах ноября было перевезено с необыкновенной пышностью в Петропавловский собор. По этому случаю собору была придана такая же полуязыческая обстановка, какой – как мы уже знаем – отличалась та дворцовая зала, где стоял прежде гроб Анны Иоановны. В фонарике, венчавшем купол соборной церкви, было, по словам современного описания, «сделано облако, из которого исходил луч славы», осенявший золотой надгробный балдахин. У катафалка, на котором был поставлен гроб, стояли четыре женские статуи. На стенах церкви были развешаны медальоны, надписи, мертвые головы, гербы провинций и фестоны из черного крепа, на которых, как и на черных занавесах, быв-

ших у окон и у дверей, блестели «слезные капли». На главном карнизе церкви были поставлены лампы, урны и, вдобавок к ним, «по римскому и греческому обычаю, горшки со слезами». Вдоль церкви было расставлено восемь статуй. Они изображали теперь не добродетели почившей государыни, как это было в дворцовой зале, но добродетели ее верноподданных, удрученных тяжелой скорбью. Из статуй одна представляла «жену», которая держала левой рукой на груди младенца, а правой вела смотрящего на нее отрока. «При ногах этой жены была насадка, покрывающая крыльями цыплят». По толкованию ученых устроителей такой затейливой обстановки, статуя эта в общей своей совокупности должна была знаменовать «искреннюю любовь верноподданных». Другая статуя, находившаяся прямо против царских врат, изображала «жену», у которой на челе, вместо повязки из драгоценных камней, было сердце, а при ногах ее молодой журавль принимал старого и бессильного на свои «крылья». Статуя эта означала «непритворную верность» россиян к скончавшейся государыне.

Во все это время двор не снимал глубокого траура. Дамы ходили в черных байковых робах с широкими белыми плерезами, в больших чепцах с длинными позади них вуалями из черного флера. Мужчины носили черные суконные кафтаны, и лишь в то утро, когда происходило поздравление правительницы с принятием власти, все явились до дворец в цветной парадной одежде. У знатных особ приемные комнаты и экипажи были обтянуты черным сукном. Лишь за несколько дней перед 18-м числом декабря, в которое приходилось рождение Анны Леопольдовны – ей минуло теперь двадцать три года, – происходило погребение покойной императрицы с величавой торжественностью. Гроб опустили в могилу; со стен Петропавловской крепости загрохотали прощальные пушечные выстрелы; рассеялся их белый дым, а вместе с ним исчезли и все видимые следы десятилетнего сурового царствования Анны Иоановны. Власть ее любимца пала, и начались новые правительственные порядки...

Вечером в день рождения правительницы Петербург пылал увеселительными огнями. В



ту пору столичные иллюминации были предметом самой тщательной заботы; в устройстве их принимали самое деятельное участие и художники, и ученые, и пииты, и полиция. Первые составляли на эти случаи рисунки, транспаранты и эмблемы; вторые сочиняли на разных языках – преимущественно на латинском – велеречивые надписи, льстивые изречения, а также и замысловатые аллегории; третьи сплетали вирши и акростихи, входившие в состав иллюминационных украшений. Наконец, со своей стороны полиция, не вдававшаяся ни в художества, ни в поэзию, просто понуждала жителей столицы зажигать плашки, шкалики и свечи. Такие распоряжения не прикрывались никакими деликатными внушениями, а предъявлялись прямо, как обязательные требования, и о них при описании бывших в Петербурге иллюминаций упоминалось в похвалу полиции, по приказанию которой нельзя было, например, поставить в одном окне менее десяти свечей в виде пирамиды.

Впрочем, и без понуждений со стороны полиции каждый по-своему готов был выразить

правительнице любовь и преданность; у всех на душе стало легче, казалось, что висевшая над народом черная туча умчалась куда-то в неизвестную даль. Правительница оказывала облегчения народу, расположение к вельможам, внимание к войску. Чувствовалось, что в противоположность прошлому начинала править царством кроткая женщина с добрым сострадательным сердцем. Она или отменяла вовсе, или смягчала прежние жестокие приговоры, приказывала выпускать на свободу засажённых при регенте в тайную канцелярию, подписывала указы о возвращении ссыльных и конфискованных имуществ и изливала особые милости на тех, кто пострадал за нее. При представлении их ей правительница со слезами на глазах скорбела об их страданиях и благодарила их за «пролитую кровь». Им были пожалованы чины и денежные награды, честь их была восстановлена, в ознаменование чего их перед поставленными в строй полками прикрывали знаменами.

Трудно было, однако, правительнице улаживать все интриги и происки, которые без-

устанно кишели около нее. Остерман с первого же свидания сблизился с Анной по щекотливому вопросу о вызове графа Линара в Петербург. Хотя правительнице то казалось, что министр не разгадал ее притворства, то думалось ей, что хитрый старик проник в ее сердечную тайну, но как в том, так и в другом случае она останавливалась на мысли, что Остерман ей не только будет постоянно необходим по делам государственным, но что, кроме того, он пригодится ей и при сношениях с Линаром, с которым он, вероятно, успеет близко сойтись, так что она и тут будет иметь в Остермане ловкого посредника и надежного советника. Между тем Остерман, не терпевший никогда никакого совместничества в главном управлении государственными делами, оказывался теперь лицом, не имевшим уже прежней силы, так как не только по званию, но и в действительности первым министром стал граф Миних, захвативший в свои сильные руки все отрасли государственного управления. Остерман, смотря на это, злился, терзался и считал себя обиженным на весь мир человеком. Он теперь только и думал о

том, чтобы посредством падения фельдмаршала расчистить себе дорогу к власти и выйти поскорее из настоящего приниженного положения. Со своей же стороны, Миних не только знал хорошо цену своих прежних военных заслуг, но и цену своих недавних ночных подвигов в пользу Анны. Рассказывая в обществе о тех опасностях и о тех затруднениях, какие ему при этом приходилось преодолеть, он не стеснялся несколько добавлять, что лишь одному ему правительница обязана своей властью. Теперь оба соперника при встречах искоса посматривали друг на друга, ожидая, кому кого удастся сломить. Ломка же эта зависела от того, чью сторону будет держать Анна, — Миниха ли, исполнившего уже свое дело, или Остермана, который может пригодиться ей в будущем.

Другим заклятым врагом Миниха был принц Антон. Уступив ему звание генералиссимуса, Миних не думал, однако, уступать ему ни малейшей власти, даже по военному управлению. В сношениях своих с генералиссимусом фельдмаршал не соблюдал никакого порядка подчиненности, и не только что от-

носился к принцу как равный к равному, но даже на каждом шагу безжалостно подавлял супруга правительницы своей надменностью и своим презрением. Остерман, пользуясь таким обхождением Миниха с принцем, подбивал последнего против первого и, со своей стороны, в удобную минуту закидывал правительнице словцо о том, что такое обращение, какое позволяет себе фельдмаршал с принцем, роняет в глазах всех не столько достоинство самого принца, сколько достоинство его супруги-правительницы. Остерман внушал Анне Леопольдовне, что почетное, исключительное положение принца необходимо для нее самой и что такое положение ни малейшим образом не лишит ее первенствующего значения в государстве и не отнимет у нее прав на личную свободу и полную независимость, льстиво прибавляя при этом, что ее высочество показала уже такое превосходство над своим супругом, что между ним и ею не может быть даже допущено никакого сравнения. Вкрадчивый хитрец после распоряжения самой правительницы о вызове Линара не упускал теперь случая заговорить с нею о

нем и, превознося до небес необыкновенные его качества, весьма тонко намекал, что Линар, как человек непричастный ни к каким искательствам русских вельмож, – по образованности, уму, силе характера, опытности и почтительной преданности Анне Леопольдовне, – может быть для нее во многих случаях беспристрастным и надежным советником. Остерман, предвидя, что, быть может, ему самому не удастся сладить с Минихом, сильно рассчитывал на содействие и на влияние Линара в этом случае. Касаясь Линара, он затрагивал самые сокровенные чувства молодой женщины, он упоминал также и о великодушии Анны, пожертвовавшей при вызове Линара государственной пользе «амбициею и онерами», и правительнице казалось, что доброжелательный к ней старик понимал ее, сочувствовал ей, а такому человеку нельзя было не довериться, нельзя было не полагаться на него. Угодливость, лесть и, главное, подшептывания о том, чему верилось правительнице и чего ей желалось с таким нетерпением, не остались без влияния на восприимчивую женщину, теряющуюся теперь в водово-

роте государственных дел и политических вопросов и мечтавшую о давно желанном, а теперь уже близком свидании с любимым человеком.

В свою очередь, и оскорбленный принц старался вредить Миниху, как только умел и как только мог. Он подкупал против него донощиков, нанимал шпионов, которые всегда и всюду следили за ним, переносил жене неблагоприятные для фельдмаршала слухи, касавшиеся, между прочим, и его подозрительных сношений с цесаревной Елизаветой. Принц часто посещал Остермана, чтобы сетовать перед ним на сатанинскую гордость знавшего Миниха. Ездил он на совещания и к графу Головкину, ворчавшему против самовластия фельдмаршала. Порой он решался даже излить супруге-правительнице свои горькие жалобы на обижавшего его беспрестанно Миниха, высказывая при этом, что всю заслугу ночного переворота фельдмаршал приписывает исключительно себе, между тем как ему, принцу, очень хорошо известно, что Миних без нее не мог бы ровно ничего сделать. Не только к большому удовольствию

принца, но и к крайнему его удивлению, Анна, вразумляемая Остерманом, с участием и снисходительностью выслушивала теперь жалобы мужа, но и не оставляла их без последствий. Назло Миниху она стала приглашать принца присутствовать при докладах первого министра; обращалась при этом к своему мужу с вопросами, делая вид, что она нуждается в его советах, несмотря даже на решительные мнения, высказанные Минихом по тому или другому делу. Вместе с тем, она в присутствии Миниха отдавала отчет принцу о ходе государственных дел. По приказанию правительницы принц начал присутствовать и в сенате, и в военной коллегии, состоявшей под ближайшим ведением фельдмаршала. Нетрудно было понять Миниху, что в таком деятельном участии принца в делах государственных не представляется решительно никакой надобности и что все это делается для того только, чтобы причинить ему, фельдмаршалу, самые чувствительные неприятности. Оскорбленный и раздраженный до последней крайности, Миних страшно кипятился, но вскоре, убедившись, что дело его проиграно,



стал проситься в отставку, рассчитывая, что правительница не отважится на такой шаг, равнозначный окончательному разрыву между нею и виновником ее неожиданного возвышения.

В это время Елизавета однажды приехала навестить правительницу, которая спросила цесаревну, знает ли она что-нибудь об отставке фельдмаршала?

– Трудно было бы не знать того, о чем все говорят, – отвечала гостья.

Любопытство подстрекнуло правительницу разузнать, что же именно говорят? – и в таком смысле она задала вопрос Елизавете.

– Вообще все удивлены тем, – начала цесаревна, – что вы согласились на отставку фельдмаршала. Я же, со своей стороны, нежно любя вас, не могу не признаться, что вы поступили ошибочно, вас станут обвинять теперь в неблагодарности, да и, кроме того, вы лишились человека, на преданность которого вы могли полагаться после того, что он сделал уже для вас.

На лице Анны Леопольдовны выразилось заметное неудовольствие.

– Я очень сожалею, что должна решиться на это. Но что же мне было делать, когда мой муж и граф Остерман не давали мне покоя! Я вынуждена уступить их настояниям, – оправдывалась правительница.

Цесаревна улыбнулась и слегка пожала плечами, удивляясь, что Анна с такой искренностью высказывалась перед ней, и приняла это к сведению.

– Она совсем дурно воспитана, – заметила после этого разговора Елизавета в кругу близких людей, – она не умеет жить в свете и, сверх того, у нее есть очень дурное качество – быть капризной, как капризен ее отец, герцог Мекленбургский.

Усердные вестовщики не замедлили передать правительнице этот отзыв цесаревны, разумеется, с разными прибавлениями и толкованиями, и она, оскорбленная ими, выжидала случая, чтобы отплатить чем-нибудь Елизавете.

По-видимому, судьба улыбнулась теперь Анне Леопольдовне: из бедной немецкой принцессы, из девушки, которую стесняли на каждом шагу, она сделалась полновластной правительницей обширного государства и находилась в положении женщины, которая, если бы пожелала, имела возможность не чувствовать вовсе тяжести супружеских уз. И народ, и муж были теперь одинаково покорны. Никто не дерзал противоречить ей, никто не смел ограничивать ее воли в распоряжениях по делам государственным и противодействовать желаниям, привычкам, прихотям и причудам в ее частной жизни. Все прошлое казалось ей теперь не пережитой действительностью, а каким-то обманчивым сновидением. В сознании принадлежавшей ей власти и настоящего величия Анна Леопольдовна недоумевала: отчего она могла некогда трепетать при одном только суровом взгляде тетки-императрицы и дрожать при внезапном появлении герцога-регента? Она как будто переродилась: начала верить в решительность и твер-

дость своего характера и убеждалась в том, что была вполне права, когда сказала, что ей нужен только смелый руководитель и тогда она отважится на все. Супружество с «тихим и смирным» принцем, которое она считала прежде страшным для себя бедствием на всю жизнь, представлялось ей теперь самой удачной сделкой. Муж не только не мог быть ей в чем-нибудь помехой, но, напротив, был как нельзя более пригодным и вполне послушным орудием в ее руках, и если Анна Леопольдовна еще и прежде чувствовала к нему презрение, то теперь, после того как она без всякого со стороны его участия произвела такой неожиданный государственный переворот, смотрела на него, как на самую ничтожную личность. Принц мог жить только ее милостями и иметь значение лишь по мере того внимания, какое ей вздумалось бы оказывать ему. Власть, независимость, несметное богатство делали в глазах всех правительницу счастливейшей женщиной в мире. Вдобавок ко всему этому присоединялась еще и молодость: Анне Леопольдовне было всего двадцать три года – пора, когда жизнь представ-

ляется заманчивой бесконечной далью, полной светлых надежд и отрадных ожиданий. При настоящей блестящей обстановке Анне недоставало только титула более громкого, чем титул правительницы, но если бы она прельщалась им, то тотчас же после падения регента могла бы получить императорскую корону, но она тогда не хотела усилить этим блеск своего положения, да и теперь несколько не жалела о своем отказе.

В первое время своего правления Анна Леопольдовна, несмотря на ее природный ум, забавлялась иногда своей властью, как забавляется ребенок только что подаренной ему игрушкой с непонятным для него механизмом. Ей казалась странной та сила, которой она могла приводить в движение человеческие страсти, возвышая одних, и тем радуя их, и принижая других, и тем печалюя их. Хотя правительница и выросла при дворе императрицы Анны Иоановны, где все это было явлением слишком обыкновенным, но непричастная до сих пор ни к каким государственным делам, отрешенная от искательств, интриг, подкопов и происков, она знала обо всем этом

только по сбивчивым слухам, и ей были известны лишь мелочные придворные дела, а не широта и разнообразие державной власти. Кроме того, она – нелюдимка и даже дикарка по природе, прежде всего жалась в свой тихий уголок, старалась избегать непривычных ей лиц и чувствовала себя неловкой и робкой в пышном наряде среди многолюдных собраний, где так часто видела она и напускную веселость, и поддельную любезность. Являясь туда в прежнее время, она уступала только настояниям государыни-тетки, любившей около себя и людность, и блеск, и великолепие, между тем как тишина, простота и непринужденность были любимой обстановкой Анны. Будучи страстной охотницей до чтения, она почти все время проводила за книгами, от которых ее отвлекали только беседы с бойкой и веселой Юлианой. Тогдашнее романтическое направление литературы французской и немецкой, с которой она была вполне знакома, развило в ней еще более врожденную мечтательность, и ей грезились идеалы, созданные пылким воображением писателей, – идеалы, не встречаемые в жиз-

ни. Только в одном графе Линаре молодая мечтательница заметила что-то особенное, выходящее из обыкновенного уровня, и потому на нем сосредоточивались ее заветные думы, в нем виделся ей поэтический облик героев, знакомых ей из прочитанных романов и драм, – облик, выдававшийся еще резче при сопоставлении его с личностью своего слишком прозаического и тупого сожителя. Ей хотелось, чтобы Линар был близок к ней, чтобы она имела в нем не только приятного участника откровенных бесед, но и надежного друга. Анна Леопольдовна не была пылкой, огненной женщиной и не могла принадлежать к числу тех прославленных Мессалин, у которых так легко спадал с плеч к ногам царственный пурпур перед избранниками их мимолетных прихотей, зато она способна была сильно и искренне полюбить того, кто, как ей казалось, олицетворял ее мечты. Вдобавок к этому у нее не было ни твердости воли, ни чуткой осмотрительности, и она, предавшись своему избраннику, готова была променять на любовь и власть, и корону, не имевшие для нее особой прелести.

Почувствовав теперь возможность жить и действовать, как ей самой хотелось, а не так, как заставили ее прежде другие, она переносила свои желания на тихую, уединенную жизнь в небольшом кружке близких ей людей, где Линар, конечно, был бы самым желанным гостем. Жажда власти и славы, которая обыкновенно томит и мучит людей, поставленных на общественные вершины, не была вовсе господствующей страстью правительницы, у нее были только случайные порывы этой страсти под теми впечатлениями, которые приходилось испытывать ей от постороннего влияния. Равнодушие и беспечность были слишком заметными свойствами ее практической жизни. По характеру, по своим взглядам на жизнь Анна была гораздо способнее плыть по тихому, ровному течению, нежели вести борьбу с непогодами и бурями, и только случайные обстоятельства могли придать ей решительность и твердость.

Вызванная, с одной стороны, оскорбительными поступками герцога Курляндского, а с другой – увлекаемая красноречивыми подстрекательствами Миниха, Анна отважилась



на борьбу со своим могущественным притеснителем, но и в этом случае сильнее действовало в ней чувство самосохранения, а не желание почестей и власти. Одолев своего противника, Анна как будто остановилась на распутье, в ожидании проводника, который повел бы ее по верной дороге. Сама же она чувствовала себя неспособной сделать дальнейший шаг; от этого ее удерживали и робость, и неумелость. Проводником правительницы по незнакомому ей еще пути явился Остерман, успевший скоро подчинить ее своему неотразимому влиянию. Каждое его внушение, каждое его слово были хладнокровно обдуманым и заранее рассчитанным шагом для достижения своей цели, а целью оскорбленного министра было ниспровержение своего противника Миниха.

Когда Елизавета – или в припадке искренности, или по особым своим соображениям, разгадать которые трудно, – с таким, по-видимому, чистосердечием говорила о том неблагоприятном для правительницы впечатлении, какое должна будет произвести отставка Миниха, то при посредничестве разумных и

ловких людей можно было еще кое-как поправить взаимные недружелюбные отношения между правительницей и фельдмаршалом. Но Остерман, узнав об этом, пошел решительно наперерез всякой миролюбивой сделке между Минихом и Анной Леопольдовной. Он тотчас же воспользовался заступничеством цесаревны за фельдмаршала, чтобы окончательно убедить ее в той опасности, которую следует ожидать, если звание первого министра, а следовательно, и все нити власти останутся за смелым Минихом. Он выставлял его как сторонника Елизаветы, внушал правительнице, что Миних если и не отважится сделать переворот в пользу цесаревны, то, во всяком случае, непременно отплатит правительнице самой черной неблагодарностью. Остерман отзывался о Минихе как о коварном, никого не щадящем честолюбце, и в напуганном воображении правительницы фельдмаршал представился другим Бироном, готовым прижать все и подавить всех своей железной рукой.

Остерман до такой степени успел вселить предубеждение в правительнице против Ми-

ниха, что она при многих лицах, когда зашла речь о фельдмаршале, высказалась: «Я могла воспользоваться плодами его измены, но не могу уважать изменника».

Независимо от нашептываний Остермана, и другие обстоятельства слагались не в пользу Миниха. Засаженный им в Шлиссельбургскую крепость падший регент в своих показаниях писал: «Фельдмаршала за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россией недовольна, а французские интриги распространяются и до всех концов света... Его фамилия впервые сказывала мне о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа-фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и притом десперат и весьма интересоват».

Наконец, сам фельдмаршал наводил правительницу на мысль, что он как будто хочет, устранив ее от участия в государственных делах, захватить всю власть в свои руки, убеждая правительницу, не заботясь ни о чем лично, доверить ему управление государством.

При таком положении дел явился в Петербург граф Линар.

— Вспомнили ли вы хоть раз обо мне в течение нашей долгой разлуки? — спросил вкрадчиво Линар Анну Леопольдовну по окончании дипломатической конференции, на которую он тотчас же после своего приезда и официального представления правительнице был приглашен ею и которая, по важности вопроса, должна была происходить только между ними, без присутствия других лиц.

Анна Леопольдовна, потупив свои задумчивые глаза, не отвечала ни слова на этот смелый вопрос. Линар тоже приумолк, как будто настоятельно выжидая ответа.

— А вы, граф, что делали в это время? — равнодушно спросила она, не взглянув даже на своего собеседника.

— Что делал я? — переспросил Линар. — Я беспрестанно путешествовал, не отрывался от книг, иногда кидался в шумное, волнующееся как море общество, иногда, наоборот, искал спокойствия и совершенного уединения; мрачные пропасти, темные леса, неприступные горы и тихие долины манили меня к се-

бе, на меня навевали отраду и журчанье ручья, и щебетанье пташки... Я бегал от удовольствий света, я скрывался от людей...

– Зачем же вы это делали?.. – перебила Анна.

– Я делал это в силу невольного влечения, – заговорил он страстным и трогательным голосом, – и мне кажется, я делал только то, что обыкновенно делает человек, разлученный непреодолимой силой судьбы с предметом своего беспредельного обожания...

Линар томными глазами взглянул на Анну Леопольдовну, которая рассеянно слушала его, так что казалось, будто она обратилась к нему с вопросом о нем самом только из пустого приличия, не ожидая от него вовсе каких-нибудь нежных объяснений.

– Я, – продолжал с расстроенным видом Линар, – силился, но, увы! – силился напрасно, изгладить из моего сердца воспоминания о тех немногих, счастливых для меня днях... Что я говорю о тех днях, о тех часах... Нет! Даже и не о тех часах, а только о тех блаженных мгновениях, которые, думалось мне, более не возвратятся... Я полагал, что мое мимолетное

счастье никогда не повторится. Я считал все потерянным навеки и жил не настоящим, а только... прошедшим.

В этом последнем слове Линара, произнесенном с расстановкой и с особой выразительностью, ясно слышался намек, касавшийся его прежних отношений к Анне.

– Каким прошедшим?.. – несколько сурово спросила правительница, медленно поднимая выпытывающий взгляд на Линара.

– Неужели вам нужно досказывать это?.. – с горячностью и как будто с изумлением проговорил Линар.

– Не вспоминайте о прошедшем, граф, – строго сказала Анна, – я была тогда глупой и ветреной девочкой, а вы имеете дерзость пользоваться этим теперь...

С этими словами, встав с кресла и слегка кивнув головой Линару на прощанье, она сделала шаг вперед.

Линар смело заслонил ей дорогу. Анна попыталась назад и гордым взглядом смерила бойкого волокиту.

– Простите меня, ваше императорское высочество, – заговорил он, почтительно скло-

нившись перед правительницей, – простите меня за то, что я дерзнул напомнить вам о прошедшем... Действительно, – добавил он с легким оттенком укора, – между тем, что было тогда, и тем, что теперь – какая беспредельная разница!.. Теперь вы повелительница миллионов покорного перед вами народа; теперь вы одним вашим словом, одним росчерком пера, одним движением вашей руки можете влиять на судьбы царств. Теперь первые венценосцы в мире заискивают вашего благосклонного внимания. Теперь вы не безызвестная, как тогда, принцесса, – теперь вы полновластная правительница обширного и сильного государства... Вас окружает царственное величие, вас озаряет своими яркими лучами слава... О вас говорит теперь весь мир, все удивляются вашему мужеству, вашему уму и необыкновенной твердости вашего характера. История впишет имя правительницы Анны на свои страницы, как имя прославившейся женщины, поэты воспоют ее... А я, безумец, среди всего этого ослепляющего блеска, среди окружающей вас славы, вдруг осмелился заговорить с вами о том, что те-



перь должно быть забыто навеки. Простите меня, но я не мог не высказать вам того, что лежало у меня на сердце, что составляет святиню моих воспоминаний, тогда как эти воспоминания для вашего императорского высочества...

Линар остановился, как будто не желая досказать свою мысль. Правительница, не говоря ни слова, в глубоком раздумье вернулась на прежнее место, пригласив Линара рукою сесть возле нее. Несмотря на всю любовь к Линару, Анна, робкая от природы, была смущена тем оборотом, какой так неожиданно принял начатый с ним разговор. Она была несколько раздражена и той вольностью, какую позволил себе Линар в обращении с нею. Вдобавок к этому не только скромность, но и простая сдержанность заставили ее дать Линару почувствовать, что он в своих объяснениях заходит с первого раза слишком далеко, напоминая ей, замужней женщине, ее прежние легкомысленные поступки. Но Линар знал, что женщины очень скоро и очень охотно прощают все это и что смелость в обращении с ними служит одним из верных руча-

тельств за успех. Линар не ошибся; не только неудовольствие Анны Леопольдовны против него скоро прошло, но даже ей сделалось жаль, что она так сурово отнеслась к Линару, и ей стало досадно, зачем она не позволила ему продолжать начатые им восторженные объяснения. Теперь ей так захотелось послушать их. Кроме того, укор, слышавшийся в его голосе, а вместе с тем и его торжественно-хвалебная речь Анне, как правительнице, подействовали на молодую женщину, всегда быстро переходившую от одного чувства к другому под влиянием получаемых ею впечатлений.

– Вы жестоко ошибаетесь, – с заметным смущением начала Анна Леопольдовна, – полагая, что величие и слава могли изменить меня... Действительно, мне удалось сделать то, чего от меня вовсе не ожидали, и этим я показала, как обманывались те, которые считали меня способной на то только, чтобы продолжать потомство светлейшего брауншвейгского дома... По воле Божьей я вознесена теперь высоко, и только во имя моего нынешнего, тяжелого для меня сана я должна требо-

вать от всех и от каждого, – кто бы он ни был, – особого почета, не желая его вовсе для себя лично...

Линар встал с кресла и низко поклонился правительнице.

– Я вижу, какую страшную ошибку сделал я, – сказал он смиренным голосом, готовясь в то же время нанести решительный удар Анне. – Я виноват перед вами не только в том, что не почтил высокого вашего сана, но и в том, что легкомысленно позволил себе забыть разницу вашего положения и в другом еще отношении: тогда, как девушка, вы были свободны, а теперь его императорское высочество ваш возлюбленный суп...

– Вы издеваетесь надо мною! – запальчиво вскрикнула Анна, не дав Линару договорить последних слов. – Как будто вы не знаете тех отношений, какие существуют между мной и принцем?.. Зачем вы вздумали обманывать меня!..

Отзыв самой Анны об ее отношениях к мужу был чрезвычайно важной заручкой для дальнейших действий Линара. Лицо его при творно приняло недоумевающее выражение,

и он, пользуясь вспышкой молодой женщины, дал ей полную волю высказаться о своих супружеских отношениях.

– Вы были еще и прежде посланником при здешнем дворе, и кому же как не вам лучше всего можно было знать о моем невольном браке с принцем?.. Мало того, вы и после отъезда вашего из Петербурга заботились о моей участи, – насмешливо добавила Анна. – Я очень хорошо знаю, что вы писали к бывшему герцогу Курляндскому письмо, в котором выставляли моего теперешнего мужа в самом дурном свете, надеясь этим воспрепятствовать моему браку...

– Я полагал... – проговорил Линар.

– Позвольте, я еще не все высказала. Вы говорили, что я тогда была свободна, а что же я теперь? Разве я раба или невольница моего мужа?.. Нет, я теперь еще более свободна, чем была прежде... – с горячностью проговорила Анна.

Линару, как человеку опытному в волокитстве за женщинами, вполне достаточно было этих немногих слов: он понял, что принц Антон будет теперь ни при чем и что со сторо-

ны его он, Линар, не встретит никаких препятствий.

– Для меня сегодня вышел чрезвычайно неудачный день, – сказал он с улыбкой, придававшей особую привлекательность его красивому лицу. – Я говорю сегодня все невпопад, и вот уже два раза я имел несчастье навлечь на себя крайне прискорбный для меня гнев вашего императорского высочества. Теперь мне остается только замолчать и, припав к стопам вашим, смиренно просить о великодушном прощении...

– Оставим эти нежные разговоры, – перебила Анна Леопольдовна, улыбнувшись, в свою очередь, и ласково взглянув на Линара. – Скажите мне, где вы провели большую часть времени в продолжение этих последних лет?

– В Италии, ваше высочество. Я чрезвычайно люблю эту страну, и, притом, она мне не чужая. Хотя я и считаюсь немцем, но ношу не немецкую фамилию, и во мне течет еще итальянская кровь. Менее чем сто лет тому назад Линары, вследствие политических смут, переселились из Италии в Германию, и я думаю,

что я скорее итальянец, чем немец...

– А вот я так и не знаю, как мне считать себя: по отцу я немка, а по матери – русская...

– Позвольте заметить вашему высочеству, что вы и по отцу не немка, а славянка. Вам, конечно, известно, что знаменитый Мекленбургский дом – единственная во всей Германии династия славянского происхождения и что немцы разрушили могущественное государство ваших славных предков, обратив его в маленькое княжество и заставив владельцев его променять их прежний громкий титул королей Вендских на скромный титул герцогов Мекленбургских. Для меня, – добавил шутливо Линар, – как для представителя его величества короля Польского, эти исторические воспоминания имеют некоторое значение. Они позволяют мне надеяться, что повелительница одной из первенствующих отраслей славянского племени и сама славянка по происхождению примет охотнее сторону Польши и Австрии, державы скорее славянской, чем немецкой, нежели Пруссии, – этой угнетательницы славян, издавна онемечивающей их на балтийском поморье.

– Но мой первый министр, граф Миних, внушает мне совершенно иной образ действий, – сказала правительница. – Он настаивает на союзе с Пруссией против Австрии и Польши...

– Не смею осуждать планов графа Миниха, – возразил Линар, – но позволяю себе думать, что в этом случае взгляд графа Остермана на внешнюю политику России будет гораздо вернее. Союз с польским и австрийским дворами принесет вам гораздо более выгод, чем сближение с Пруссией. Граф Остерман, кажется мне, понимает дело как нельзя лучше.

– Так и поговорите с ним, пусть он поскорее представит мне доклад по этому делу. Надо же, наконец, на что-нибудь решиться. Он человек чрезвычайно умный и проницательный, – добавила Анна, вторя Линару в его похвалах Остерману. – Но отложим на время речь о политике; сказать по правде, она порядочно надоедает мне. Что вам, граф, всего более нравится в Италии?

– Там все прекрасно, ваше высочество, и вечно голубой свод неба, – начал восторжен-

но Линар, – и природа, и люди, и язык, и памятники былых времен...

– Мне бы очень хотелось взглянуть на эту страну, но, кажется, что желание мое никогда не исполнится.

– До некоторой степени я могу теперь же исполнить его, – отозвался Линар. – Я привез в Петербург с собой множество видов Италии и имел намерение представить их вашему высочеству как мое почтительнейшее приношение. Теперь же оно будет более кстати, чем когда-нибудь, так как я, хотя немного, могу этим удовлетворить только что высказанное вами желание. Я оставил рисунки в приемной, позвольте принести их.

– Благодарю вас, граф, за ваше внимание и за подарок, – с благосклонностью сказала правительница.

Линар вышел, чтобы принести гравюры и рисунки.

«Дело идет на лад, – думал он, – при первом же свидании наедине с правительницей мне удалось напомнить ей о прежней ее любви и добыть необходимые сведения по этой части; направить переговоры об интересах



моего августейшего доверителя на хороший путь; вернуть словцо во вред первому министру, не расположенному к нашей политике; поддержать Остермана и, что всего важнее, завести непосредственно переговоры с ним — с нашим сторонником».

Между тем Анна Леопольдовна, обыкновенно небрежная в своем наряде и вообще мало занимавшаяся своей наружностью, быстро подошла к зеркалу и стала поправлять свою напудренную прическу, обтянула корсаж своей робы, одернула кружева и вообще стала, что называется, охорашиваться перед зеркалом. Теперь признаки женщины-кокетки явно проглядывали в ней, и она осталась довольна, когда зеркало доложило ей, что если она и не красавица, то настолько миловидна и так еще молода, что понравится каждому мужчине.

Линар вернулся с большим, великолепно переплетенным альбомом и положил его на стол перед Анной Леопольдовной, а она пригласила графа сесть рядом с ней. Началось рассматривание подарка. Превосходные произведения итальянских художников Линар

дополнял своими увлекательными, живописными рассказами. Чем более перевертывалось листов альбома, тем ближе, занятые рассматриванием картин и разговором, придвигались друг к другу и Анна, и Линар. Но вот встретился упрямый лист: Анна с трудом могла переложить его на другую сторону. Линар поспешил ей помочь, и руки их прикоснулись.

– Какой же теперь будет рисунок? – спросила Анна, страстно смотря на Линара и, как будто по забывчивости, не отнимая своей руки, попавшей на его руку...

**И** в настоящее еще время Выборгская сторона представляет одну из наиболее глухих и уединенных окраин Петербурга, а в ту пору, к которой относится наш рассказ, она была обширным пустырем. Только вдоль берега Невы стояло несколько убогих мазанок и изб, над которыми возвышалась церковь во имя Сампсония Странноприимца в том виде, в каком она существует доселе и в каком, что явствует из находящейся на ней надписи, она была построена при Петре I. Великий монарх, как известно, не отличался изящным архитектурным вкусом и к высоким, наподобие башен, главам создаваемой им церкви, напомиравшим итальянское зодчество, смело прислонил стрельчатую колокольню, позаимствовав ее образец из Москвы. Глухо и безлюдно было на этой окраине новой русской столицы, и если вообще кладбище наводит на человека печальное чувство, то кладбище, прилегавшее к сампсониевской церкви, должно было навевать самые тоскливые, щемящие сердце думы. Сюда в поздние сумерки,

а иногда и в ночную пору, привозили из тайной канцелярии белые сосновые гробы, обтянутые железными обручами. В этих гробах покоились страдальцы, окончившие жизнь на дыбе в страшных пытках или вскоре после них. Сюда же привозили обезглавленные трупы погибавших на плахе, а также и мертвецов, вынутых из позорной петли. Здесь были могилы казненных и опальных, над которыми не стояло ни памятников, ни крестов и не лежало надгробных плит. Здесь широко расстилалась «нива Божья», непрестанно взывавшая к небу о возмездии за людское правосудие и за жестокости ближнего к ближнему. На этом кладбище никогда не бывало тех обычных гулянок, которые так весело и шумно, под сенью надмогильных крестов, справляет наш православный народ, «поминаючи родителей и родственников». Вечный покой царил над этой печальной юдолью смерти, его не нарушало даже молитвенное пенье, и только время от времени прерывал всегдашнюю здешнюю тишь глухой стук заступа, готовившего тихое пристанище новому пришельцу.

Здесь над забытыми могилами только гудел ветер, завывала вьюга, да шелестели своими длинными ветвями плакучие березы. Опасно было не только перебраться за высокий и крепкий тын, окружавший кладбище, но даже и не совсем безопасно было приблизиться к нему. Отваживавшийся на это навлек бы на себя подозрение: не пытается ли он помолиться над могилой «злодея»-страдальца, иногда искупившего пыткой и смертью действительную свою вину, а иногда только сделавшегося жертвой козней, происков или одной лишь пугливой мнительности, возбужденной доносами и шпионством.

Немало уже насчитывалось на сампсониевском кладбище опальных могил, и последними, еще свежими, между ними были могилы Волынского и пострадавших вместе с ним Еропкина и Хруцова. Подойти к этим могилам и, обнажив голову, склониться перед ними было бы в ту пору страшным преступлением, и среди родных и друзей этих страдальцев не находилось смельчаков, которые решились бы на такой отважный подвиг.

Однажды ранним мартовским утром в

дверь убогого домика, в котором жил кладбищенский священник, постучалось трое каких-то гвардейцев. Подросток, внук священника, ахнул от удивления и со страхом отступил задвижку, чтобы впустить пришедших незнакомцев. Переступив через высокий порог сеней, неожиданные посетители очутились перед седым как лунь старцем, сидевшим в переднем углу под образами за простым деревянным столом и внимательно читавшим какую-то большую и толстую книгу в кожаном переплете. Вошедшие молодые люди стали набожно креститься перед образами, а хозяин между тем, закрыв книгу и замкнув застёжки, встал перед незнакомцами. Лицо его отличалось величавой суровостью, но в глазах, которыми он словно обласкал своих посетителей, светилась кротость. Казалось, что пастырь этот олицетворял собою лики апостолов и первых подвижников Христовой церкви.

Гвардейцы подошли к нему под благословение и поцеловали его руку.

– Что вам нужно, чада мои, от меня? – приветливо спросил священник.

– Мы пришли просить тебя, батюшка, от-

править панихиду над могилой болярина Артемия и его сострадальцев, – отозвался один из офицеров.

Священник призадумался.

– Аль боишься, батюшка? – заметил тот из пришедших, который вступил в разговор со священником и, как казалось, был вожаком своих товарищей.

– Не пугайся, батюшка, – подхватил один из них, – теперь совсем иное время, все вздохнули посвободнее, ныне правительствует государством благоверная великая княгиня Анна, а наши покойники пострадали при иноземце – нашем мучителе, да и ее притеснителе. Видно, ты, отец, по привычке, со страха призадумался, не сразу все сообразил...

– Не страха ради иудейска призадумался я, – начал кротко священник, наставительно погрозив пальцем говорившему, – задумался я о другом; вот ведь и вы, чада мои, пришли сюда только тогда, когда стало не боязно сделать это...

– Не кори нас этим, – отозвался один из гвардейцев, – мы, в свою очередь, отстрадали в самое опасное время за нашу матушку, пра-

вительницу; вон посмотри, – добавил он, указывая на одного из своих товарищей, – Ханыков до сих пор левой рукой шевельнуть не может, а у Аргамакова на днях только нога из лубков вышла, а уж о спинах их и говорить нечего. Я-то сам, – добавил Акинфиев, – хоть и не сделался калекой, да зато кровью стал харкать.

С выражением участия и соболезнования посмотрел священник на стоявших перед ним молодых людей, изможденные лица которых свидетельствовали о той страшной переделке, в которой они недавно побывали.

– Знаешь, батюшка, – сказал Ханыков, – ведь мы ни за что не пришли бы прежде к тебе потому только, что побоялись бы впутать тебя в наше дело...

– Спасибо вам за ваше надо мною оберегательство... В дела мирские я, впрочем, не мешаюсь, а святая церковь одинаково заповедует нам молиться и за праведных, и за злых, а за великих грешников и сугубые молитвы воссылать подобает. Панихиду я отслужу; одно только – «болярина» Артемия поминать не стану. Этой честью украсила его мирская



власть и потом по праву отняла ее у него, да и перед Господом все одинаковы: и первый боярин, и последний смерд. Он и без упоминания о сани усопшего отличит верного раба своего... Эй, Митя! – крикнул священник внуку, – сбегай-ка попроворнее к Трофимычу да скажи, чтобы пошел петь со мною панихиду на могилу Артемия Петровича. Я туда иду.

Мальчуган живо накинул тулуп и побежал исполнить приказание деда.

– Присядьте-ка, господа честные, – сказал священник гвардейцам, указывая им на деревянные скамейки, – я сейчас буду готов.

Офицеры присели; священник пошел в чулан, соседний с комнатой, и, повозившись там недолго, вышел оттуда в черной полотняной ризе, на которой серебряные позументы были заменены широкими белыми тесьмами.

– Кадилицо и ладан в доме у меня есть, а жар в печке еще не погас, угольков оттуда наберем, – говорил он, принимаясь выгребать в кадило уголья из печки. – Ну, теперь я готов, пойдемте. Только как вы-то доберетесь, снег на кладбище по колено?.. Ночью его много на-

валило, а теперь вон как разъяснилось...

– Э! батюшка, снег ничего, – перебил весело один из гвардейцев, – мы народ военный, ко всему, значит, привыкли, а вот тебе-то, отец, ходить по такому снегу, чай, не в привычку.

– Хожу частенько... христианских душ не забываю, а вот и 24-го числа пойду помолиться на ту могилу, к которой теперь идем. В тот день будет память преподобного Артемия, а покойный Волынский в этот день именинник бывал. Других тоже поминаю...

С трудом, завязая на каждом шагу в рыхлом снегу, пробирались священник и его спутники к могиле Волынского. Священник, оглядываясь назад, приостанавливался несколько раз, поджидая дьячка Трофимыча. Они уже подходили к могиле, как показался издали священнический внук.

– Трофимыч нейдет, – громко кричал деду мальчуган. – Говорит: боюсь, при чужих людях – опасно, кто их знает, что за народ... всякие шлятся... может, что и проведать что-нибудь хотят...

– Ну, и без него справимся, – сказал свя-

щенник, – зачем на людей робких наводить страх и сомнение.

Молчаливо и грустно выглядело кладбище. В воздухе стояла тишь, а лучи утреннего весеннего солнца ярко озаряли однообразную белую пелену снега, слепившего глаза.

– Вот здесь лежит Артемий Петрович, тут Еропкин, а там Хрущов, – сказал священник, указывая рукой.

– Вечная им память, – проговорил Ханыков и при этом он и его товарищи обнажили головы.

– «Благословен Бог наш»... – начал священник, и к его громкому, но уже старчески дребезжащему голосу присоединилось бряцанье мерно взмахиваемого кадила.

Испуганная этими необычайными звуками стая дремавших ворон поднялась с березы, сыпя с их ветвей снегом, с громким карканьем взвилась и беспокойно заметалась под синевой неба.

Внук священника заменил Трофимыча; дед местами подсказывал ему, что нужно было петь, а гвардейцы подтягивали, кто как умел.

Панихида кончилась.

– Теперь, честные господа, попрошу вас моего хлеба-соли отведать. Не обидьте старика, – сказал священник, поочередно и низко кланяясь гвардейцам, которые, переглянувшись между собой, кивнули друг другу головами в знак согласия и, поблагодарив священника, пошли к нему по его приглашению. По дороге к дому священника, а также и в его доме беседа шла о недавних событиях, а, разумеется, также и о Волынском.

– Видел я его в гробе, – рассказывал священник, – с приставленной головой и с приложенной рукой. Лицо бледное-пребледное. Рот был раскрыт, и из него высывался остаток отрезанного языка... Страшно было взглянуть, – добавил старик, зажмуривая глаза при этом ужасном воспоминании.

При расставании Ханьков подал новый рублевик священнику.

– Не нужно мне серебряников за молитву мою перед Богом, – сказал этот последний, – а вот посмотреть так посмотрю, такой деньги мне видеть еще не приходилось.

Взяв в руки новую блестящую монету, он с

расстановкой прочитал надпись, в полукруге которой был изображен в повелительной и горделивой позе младенец в хитоне, с лентой через плечо и со звездой на груди.

– Это должен быть благочестивейший император, – сказал священник, возвращая рублевик гвардейцу. – Пошли нам, Господи, в его царствование мир, тишину и благоденствие, – с чувством добавил он.

– То-то и беда, батюшка, что, кажись, ничему этому не бывать. Злые люди и теперь непокоя хотят. Вот хоть бы, например, один из вашего духовного чина услышанные им от какого-то пьяного приказного на площади бредни в народ теперь пускает. Толкует, будто благочестивейший наш государь крещен не был?

– Что ты?.. – вскрикнул с изумлением священник. – Статочное ли дело такой вздор молоть! Промах только сделали, что не всенародно окрестили, да и манифеста о крещении его не издали...

– Да говорят еще, – вмешался Аргамаков, – что этот проклятый немец – как бишь его? Граф Линар, что ли? – над правительницей

власть забрал такую...

– Что пустяки городишь!.. – топнув ногой, крикнул Ханьков. – Злодеи тот слух пускают, а подобия тому никакого нет, а если б что случилось, то пора нам, христолюбивому воинству, постоять против чужих за родную землю и за народ православный.

Расставшись со священником, Ханьков, Аргамаков и Акинфиев отправились домой. Только что прошли они через Неву, как услышали вдалеке барабанный бой.

– Что это, братцы, никак тревога. Уж не случилась ли какая беда? – сказал один из них.

– Какой быть беде?.. – возразил Ханьков. – Бьют сбор, должно быть, какой-нибудь указ всенародно объявляют. А если бы что недоброе вышло, то и мы против него пригодиться можем... Пойдемте, поживее...

## XXIII

Ханыков не ошибся, высказав догадку, что, вероятно, барабанным боем созывают народ для слушания какого-нибудь всенародно объявляемого указа. Когда он и его товарищи перешли на другую сторону Невы, то увидели на перекрестке толпу, среди которой стоял сенатский чиновник с бумагой в руках.

– «По указу императорского величества», – начал он громким голосом, оглядев по сторонам, все ли сняли шапки.

Офицеры пробрались сквозь толпу и остановились вблизи чиновника, читавшего указ. В указе этом объявлялось всем верноподданным, что фельдмаршал, граф Миних, по преклонным летам и болезни, согласно его прошению, увольняется от должности первого министра, президента военной коллегии, директора шляхетного кадетского корпуса, от звания подполковника Преображенского полка и пр. и пр.

– Вот тебе и раз!.. – крикнул Аргамаков.

– Нечего тут удивляться, – перебил Ханыков, – давно уже ходили слухи, что фельдмар-

шал в отставку просится, только правительница не соглашалась на это, а он еще более артачился. Не становиться же ей перед ним на колени.

– Так-то так, да только поверь мне, братец, что все это натворил тот проклятый красавец, что теперь в такой чести у правительницы и над нею, как говорят знающие люди, такую власть забрал, какую имел Биронишка над... – с уверенностью промолвил Акинфиев.

– Ты как зарядил, так все одно и то же толкуешь, – сердито крикнул Ханьков, – что тебе дался Линар?.. Да и не таковская правительница, чтобы заводить с кем-нибудь любовные шашни.

– Не о них и речь идет, мой голубчик, – возразил Акинфиев, – не из одного только этого все делается. Боже меня сохрани оговаривать великую княгиню, а просто этот немец умом и хитростью к ней подделался и осилил ее. Все сказывают, что он такой ловкий парень, что всякому в душу влезет, а она, известно, все-таки бабий ум.

– Вот поди, толкуй с ним, – с досадой проворкотал Ханьков, – фельдмаршал просто-на-



просто всем своей непомерной гордостью на-  
доел. Больно уж много себя славил, за то те-  
перь и другие с барабанным боем его славят.

Гвардейцы замолчали.

«А ведь неладно, что правительница уво-  
лила фельдмаршала, – думал Ханьков, идя с  
опущенною вниз головой. – Он – человек сме-  
лый, решительный, Бог знает, какого вреда  
наделать ей может; недаром же говорят, что  
он все к цесаревне Елизавете Петровне льнет.  
Ну, как что-нибудь устроит?.. Да и, кроме того,  
теперь все затараторят, что если уж она к Ми-  
ниху неблагодарной оказалась, то, значит, ей  
и не стоит усердно служить; стало быть, ни во  
что никакие заслуги не ставит... Плохо».

– Прощай, брат! – сказал Акинфиев, – я с  
Аргамаковым поверну направо.

Слова эти вывели Ханькова из задумчиво-  
сти.

– А что, господа, кажись, сегодня никакого  
наряда нам нет? Так не придете ли вечерком  
ко мне? Потолкуем кое о чем.

– Спасибо, придем, если что-нибудь паче  
чаяния не задержит, – отвечали гвардейцы.

Сошедшиеся под вечер к Ханькову его то-

варищи успели пособрать в городе разные вести. Они рассказывали теперь один другому, что принц Антон и Остерман не хотели удовольствоваться отставкой Миниха, но думали запрятать его в Сибирь, и что только правительница не пожелала так распорядиться, потому в особенности, что за Миниха сильно заступилась ее любимица, фрейлина Менгден. Гвардейцы толковали и об отданном в тот день приказе насчет усиления в Зимнем дворце караула и насчет ходьбы патрулей по городу и днем, и ночью, объясняя такой приказ опасением правительницы, чтобы Миних не накудесил что-нибудь. Говорили они и о том, что за фельдмаршалом зорко и постоянно следят шпионы, тайно приставленные к нему принцем Антоном, и что в случае, если окажется, что он бывает у цесаревны, то его приказано взять живого или мертвого. Акинфиев сообщил между прочим дошедший до него дворцовый слух, что правительница и ее муж боятся теперь ночевать в своей спальне и что они каждую ночь будут менять комнату из боязни, чтобы к ним не пробрался тайком Миних и не схватил бы их, как схватил он

бывшего регента.

В то время, когда подобные слухи ходили в городе, отставленный от войска фельдмаршал и уволенный от должности министр казался совершенно спокойным и довольным. Гордость не позволяла ему выразить ни малейшей тени неудовольствия, и он делал вид, что, получив отставку, нисколько не оскорбился этим, а между тем сильно негодовал на происки Остермана, поддержанные Линаром, на слабость и неблагодарность правительницы и на торжество принца, которого он считал ничтожнейшим в мире человеком и который, однако, тоже, со своей стороны, поспособствовал его падению.

Получив отставку, Миних представился со своей женой правительнице, которая приняла его чрезвычайно милостиво, а он уверял ее в своей неизменной преданности, заявив, впрочем, что очень рад полученной им отставке и что ее высочество ничем другим не могла оказать большего к нему внимания. От правительницы граф и графиня отправились к принцу, перед которым Миних выказал свою величавость. При прощании с торже-

ствующим принцем у раздосадованной графини выступили из глаз слезы.

– Надеюсь, – заметил горделиво Миних, – что вы плачете не по поводу моего увольнения, которому вы должны радоваться так же, как радуюсь я.

На душе у Миниха было, Однако, совсем другое. В ушах его повторялся теперь резко и гневно высказанный ему правительницей укор в словах: «Вы, фельдмаршал, всегда за короля прусского!» Укор этот тем более раздражал Миниха, что он казался ему намеком на подкуп, так как он только что перед тем получил от короля в подарок силезское имение Бюген, принадлежавшее до того времени Бирону. Все очень хорошо знали, что король делал этот подарок Миниху, надеясь склонить его на свою сторону. Не забыл Миних и переданного ему рассказа о том, что правительница, узнав о его выздоровлении после тяжелой болезни, выразилась, что «для Миниха было бы счастьем умереть теперь, так как он окончил бы жизнь в славе и в такое время, когда он находился на высшей ступени, до которой только может достигнуть частный че-

ловек». Отзыв этот убедил фельдмаршала, как мало его ценит Анна, даже и после того, что он сделал для нее.

Увольнение Миниха от военных должностей произвело неблагоприятное для правительницы впечатление и в войсках. Несмотря на то что он был немец и несмотря на его суровость и даже жестокость, солдаты чрезвычайно любили фельдмаршала и за его бесстрашие прозвали его «соколом». Офицеры из русских помнили, что, благодаря Миниху, они были уравнены с офицерами из иностранцев и остзейцев, получавшими, по указу Петра Великого, в полтора и в два раза более жалованья, нежели офицеры из природных русских. Отставкой Миниха не только не было удовлетворено, но, напротив, еще сильнее было раздражено оскорбляемое чувство национального самолюбия русских.

– Положим, – говорили они, – правительница хорошо сделала, спихнув немца Миниха с главных должностей, но разве дала она ход нашей братии, русским? Все должности фельдмаршала-министра расхватили чужеземцы, да и кто не знает, через кого все это

сделалось? – и при этом враждебно произносилось имя Линара.

Тревога правительницы, в особенности же тревога ее мужа насчет смелых замыслов Миниха, прекратилась тогда только, когда он перебрался за Неву в великолепный дом, подаренный ему правительницей, которая назначила ему ежегодную пенсию в 15000 руб., и в виде почета, но собственно для наблюдения за ним, приставила к его дому сильный караул. При назначенной теперь Миниху пенсии и при громадных доходах с своих имений Миних жил богатым барином, и в день своего рождения 9-го мая дал великолепный бал, на котором он открыл танцы в первой паре с правительницей. На сем «богатом трапезе», как сообщалось в «Ведомостях», были: «пребогатая ужина и италийский концерт, и ее императорское высочество со всяким удовольствием в доме его высокографского сиятельства забавиться благоволила».

Мало-помалу шумные толки об отставке Миниха, как это обыкновенно бывает и со всякими толками, стали стихать, но случай этот не был забыт недругами правительницы.

цы, и им готовы были воспользоваться, когда представится надобность, как явным доказательством ее неблагодарности. Казалось, теперь все успокоилось: не было слышно нигде особого ропота, как это было при регенте. Правительница поступала кротко. Бирона приговорили к смертной казни, но пощаженого правительницей собирались отправить с его семейством в Пелымь, на вечную ссылку. Иностранными делами стал управлять Остерман, а внутренними – граф Головкин. Иностранные государи посылали правительнице письма, в которых поздравляли ее с принятием правления империей, а некоторые отправляли и чрезвычайных посланников, чтобы они принесли лично поздравления Анне Леопольдовне и выразили ей приязнь и дружбу своих кабинетов. В числе явившихся теперь в Петербург дипломатов был прежний официальный сват принцессы, маркиз Ботта ди Адорно, посланник римско-немецкого императора, назначенный в Петербург по желанию самой правительницы, хотевшей составить свой домашний кружок преимущественно из образованных ино-

странцев.

Иностранные дипломаты пользовались настоящим колебанием петербургского кабинета, и каждый из них разными путями домогался похитрее повести свои дела. После удаления Миниха от дел, Ботта, при содействии Остермана и Линара, взял окончательный перевес. Правительница не думала вовсе, как это предполагалось прежде, поддерживать притязания короля прусского на Силезию, но и не переходила пока к решительным действиям в защиту императрицы Марии Терезии, хотя к этому, кроме Ботты, склонял ее и бывший в Петербурге английский резидент Финч. Происки дипломатов должны были отзываться и на внутренних делах империи, так как они, разделяя двор на два враждебных лагеря, заставляли одних ожидать содействия своим интересам со стороны правительницы, а других – со стороны цесаревны Елизаветы. Во главе последних находился в это время французский посланник ловкий и пронырливый маркиз де ла Шетарди, сблизившийся с Елизаветой в тех видах, что при вступлении ее на престол ему удастся впу-



тать и Россию в начавшуюся войну между Австрией и Пруссией, причем Россия делается, согласно политическим соображениям версальского кабинета, союзницей этой последней. В этом случае маркиз находил для себя энергическую поддержку в шведском посланнике, так как Швеция следовала во всем за Францией. Чем заметнее склонялась правительство на сторону Австрии, т. е. чем неудачнее шли дела маркиза де ла Шетарди, тем с большей энергией старался он произвести переворот в пользу Елизаветы, чрезвычайно благоволившей и к Франции, и лично к нему. Находя, что по отдаленности Франции она не может иметь непосредственного влияния на Россию, маркиз старался повести дела таким образом, чтобы ближайшая наша соседка – Швеция – объявила войну правительству Анны Леопольдовны, под предлогом чрезвычайно странным, а именно, что Швеция хочет избавить русский народ от господства над ним иностранцев. Понятно было, что в такой заботливости Швеции высказывалось ее требование о низвержении с русского престола брауншвейгско-люнебургского дома и о

предоставлении императорской короны Елизавете Петровне, как бы олицетворявшей собой все русское, в противоположность правительнице, на которую смотрели как на немку, чуждающуюся русских. Главным к тому поводом была молва о близких отношениях Анны Леопольдовны к графу Линару и о том неотразимом влиянии, какое он начинал иметь на нее. В Петербурге заговорили о новом Бироне...

## XXIV

В одном из домов так называемого «артиллерийского квартала», на нынешней Литейной улице, – тогда еще глухой и застроенной преимущественно «светлицами» или казармами артиллеристов, – в просторной комнате стояли аппараты с колесами и другими инструментами, необходимыми при отделке драгоценных камней. В этой комнате недавно поселился молодой ювелир, по фамилии Позье, родом швейцарец, только что отошедший от своего хозяина-забияки и обзаводившийся теперь собственной мастерской. На своем новоселье торговец-ремесленник мог рассчитывать на хорошие заказы и заработки, так как он, живя еще в учении у лучшего тогдашнего петербургского ювелира Гроверо, успел уже познакомиться со многими богатыми людьми, охотно тратившими громадные деньги на покупку драгоценных камней. Бриллианты и самоцветные камни в ту пору были в Петербурге, в особенности при дворе, в большой моде. Позье высчитывал, что на петербургских дамах, сравнительно даже не

так богатых, бывало надето бриллиантов не менее как на десять или на двадцать тысяч тогдашних рублей, а об известных богачках и говорить было нечего. Кроме того, и ко двору беспрестанно требовались то табакерки, осыпанные бриллиантами, то перстни с дорогими солитерами для подарков как иностранным послам, так и русским вельможам, то серьги и ожерелья тоже для подарков или придворным дамам, или фрейлинам. Притом и другое обстоятельство благоприятствовало начинавшейся торговле Позье: его прежний хозяин принялся кутить, играть в карты и скоро дошел до того, что целые месяцы проводил в непрерывном кутеже. Поэтому прежние заказчики и покупщики Гроверо перестали иметь с ним дело и начали обращаться к бывшему его ученику. Знатные господа и в особенности знатные госпожи частенько приглашали к себе Позье на дом с его изделиями и быстро раскупали их у него; нередко также именитые покупщики и покупщицы удостаивали своими посещениями его скромное жилище. Охотно и весело сидел молодой ювелир за работой, громко распевая песни своей род-

ной Швейцарии под неумолкаемый шум шлифовального колеса, когда к нему в комнату вошел щеголеватый паж из польско-саксонского посольства, отправленный графом Линаром. Паж сообщил Позье, что граф, по приказанию правительницы, просит его прийти сейчас же в Зимний дворец.

Ювелир не удивился нисколько присылке к нему пажа Линаром, так как он знал посланника, который любил не только пощеголять сам изящными вещичками, но и преподнести их в подарок разным петербургским красоткам, почему и делал закупки у Позье, изредка, впрочем, на чистые деньги, преимущественно же в кредит. Одно только обстоятельство показалось ювелиру несколько странным, а именно: почему правительница потребовала его к себе не обычным порядком: или через дворцового ездового, или через кого-нибудь из придворных, а через человека ей, по-видимому, совершенно постороннего? Позье в недоумении почесал затылок, переспросил хорошенько пажа и убедился в том, что в призыве его во дворец от имени графа Линара не может быть не только никакой

ошибки, но и никакого сомнения, так как граф, отправляясь туда, сам лично и вполне обстоятельно передал пажу то поручение, которое он и исполнил теперь в точности. Позье, как мысленно, так и на словах через посланного, поблагодарил графа Линара за его благосклонное внимание и просил доложить его сиятельству, что он без малейшего замедления исполнит его приказание – явиться к правительнице.

Идти в Зимний дворец было для Позье не впервые. Будучи еще подмастерьем у Гроверо, он часто бывал там. Незадолго до своей смерти, Анна Иоановна с караваном, пришедшим из Китая в Петербург, получила множество драгоценных камней, купленных на Востоке. Ей любопытно было посмотреть, как режут и шлифуют их, почему она и приказала дать знать хозяину Позье, Гроверо, чтобы он доставил свои рабочие снаряды во дворец и поместил бы их в одной из комнат, близких к покоям императрицы. Здесь принялся работать Гроверо со своим тогдашним подмастерьем Позье; работа их продолжалась непрерывно почти три месяца. Государыня приходила во

временную мастерскую каждый день раза по два, по три и следила внимательно за работой. Скромный и трудолюбивый швейцарец полюбился ей, и она лично сделала ему предложение: не пожелает ли он отправиться на несколько лет в Китай со снаряжавшимся тогда туда русским посольством, чтобы закупать там на ее счет драгоценные камни, до которых она была страстная охотница. Отправка в Китай Позье не состоялась, однако, по разным причинам, потом Позье как-то отстал от двора и теперь, отправляясь в Зимний дворец по зову Линара, молодой ювелир думал, не будет ли, по рекомендации графа, сделано ему от правительницы какое-нибудь предложение, подобное прежнему.

В ожидании важной перемены в своей жизни, Позье не без некоторого замирания сердца вошел в ту комнату, где находилась правительница. Он застал ее в простом домашнем уборе, наедине с его неожиданным покровителем, графом Линаром. С первого раза Позье не догадался, что тут делается: в маленькой, белой ручке правительницы был простой гвоздь, которым она силилась выко-

вырнуть из оправы великолепный бриллиант. Линар стоял за креслами и через ее плечо смотрел на эту работу. Раскрасневшаяся молодая женщина, видимо, употребляла все усилия, чтобы настоять на своем, но труд ее был напрасен: крепко вделанный в оправу камень не поддавался. Линар улыбался, да и сама она весело смеялась и над своей неумелостью, и над тем инструментом, который употребляла в дело.

– Неужели вы, ваше высочество, всегда и во всем бываете так настойчивы и так нетерпеливы? – спрашивал Линар, быстро отстранившийся от правительницы при входе Позье, отвечивавшего ее высочеству низкие поклоны.

– Почти что всегда, – отвечала она в шутовском тоне.

– Однако вышло так, как я предсказывал: вы ничего не успели сделать вашими нежными ручками. Но вот пришел Позье, я хорошо его знаю, он вполне достойный молодой человек и, несмотря на свою юность, знаток дела, которым занимается. Позвольте мне обратиться на него милостивое внимание вашего



императорского высочества.

Перед правительницей в это время лежала куча драгоценностей, и чего только тут не было! Увидев Позье, Анна Леопольдовна поспешно бросила на стол и гвоздь, и бриллиантовый аграф, бывшие в ее руках, и, оттирая непривычные к грубой работе пальцы, повернула голову в ту сторону, где стоял Позье.

– Надобно, чтобы вы помогли нам сломать эти вещи, я хочу переделать их по последней моде; ни я, ни граф никак не можем сделать этого, и я насилу дождалась вас, – сказала она ювелиру.

– Переделкой многих из тех уборов, какие я вижу здесь на столе, занимаются, ваше императорское высочество, собственно золотых дел мастера; моя же специальность заключается в оценке, резке и шлифовке драгоценных камней, – почтительно заметил Позье.

– Это будет очень кстати... А сломать эти вещи вы можете? – с живостью спросила она, встав с кресел и проводя по груди лежавших перед ней драгоценностей рукой, из-под которой брызнули яркие струи разноцветных огней и искр.

– Могу, если только вашему высочеству угодно будет приказать мне сделать это, – отвечал Позье.

– И сию же минуту можете сделать? С вами есть необходимые для этого инструменты? – с выражением сильного нетерпения, скороговоркой спрашивала Анна Леопольдовна.

– Я всегда имею их при себе, – было ответом Позье.

– Вы научите и нас этой работе, а потом мы будем помогать вам. Не стесняйтесь ни сколько моим присутствием; работайте как у себя дома: сидите, ходите, стойте, – только делайте поскорее, – проговорила второпях правительница.

Позье достал инструменты и принялся тотчас же за работу. Анна Леопольдовна, посмотрев несколько минут на его занятие, взяла от него щипчики и попыталась делать то же, что он, но у нее не было ни навыка, ни ловкости, ни силы, и она, видя свой неуспех, с досадой кинула на стол взятое ею для ломки ожерелье. Линар хотел было тоже приняться за работу, но и ему она оказалась не с руки.

– Пусть Позье работает один; мы, как вид-

но, к нему в помощники не годимся, – сказала Анна Леопольдовна, обращаясь к Линару, – будем лучше продолжать вчерашнее наше чтение; мне чрезвычайно понравилось это сочинение, – добавила она, подавая Линару французскую книжку, – в особенности же те страницы, где описываются страдания молодой несчастной принцессы. Я перечитывала это место уже несколько раз; но вы, граф, такой превосходный чтец, что мне приятно будет еще раз послушать то, что я знаю почти наизусть.

– Почту за особенное для себя счастье исполнить ваше приказание и постараюсь прочесть так, чтобы любимая вами книга понравилась вам еще более, – отозвался с утонченной любезностью Линар. – Мне кажется, впрочем, – продолжал он, – что сюжет этого сочинения очень печален, зачем вы выбрали эту книгу? Зачем слушать рассказы о приключениях какой-то молодой несчастной принцессы такой счастливой женщине, как вы? Зачем наводить себя в светлые минуты жизни на мысли о бедствиях и страданиях?..

Правительница не отвечала ничего, но по

ее лицу, только что оживленному веселостью, пробежало выражение сильной грусти, и она, задумавшись, опустилась в кресло. Линар сел невдалеке от нее и начал читать. Явственно и выразительно читал он, оттеняя каждое выражение, каждое слово. Анна Леопольдовна внимательно слушала его, и когда он дошел до любимого ею в книге места, она тяжело вздохнула и на глазах ее навернулись слезы, которые она силилась сдержать.

– Вы правду сказали, граф, – проговорила правительница, – зачем омрачать немногие светлые минуты жизни грустными мыслями? Я чувствую, что на меня находит страшная тоска, что меня начинают мучить ужасные предчувствия. Положите книгу в сторону и лучше займемся опять ювелирной работой, быть может, теперь она удастся нам...

– Мы, ваше высочество, сделали уже столько неудачных попыток по этой части, что едва ли стоит приниматься снова за дело. К чему подвергать себя малейшим, даже самым пустым неудачам в жизни, если только есть возможность как-нибудь избежать их? Посмотрим лучше, как работают за нас дру-

гие... – проговорил с улыбкой Линар.

– Вы правы, граф, – ответила правительница и, обращаясь к Позье, спросила его, скоро ли он кончит свою работу?

– Никак нет, ваше императорское высочество. При всей моей спешности, исполнение этой работы потребует несколько дней. Здесь, – проговорил Позье, указывая с видом знатока на стол, – драгоценностей на несколько миллионов. Одни эти рубины чего стоят! – вскрикнул он в восхищении, пожимая плечами.

Правительница взглянула на принадлежавшие ей сокровища с таким равнодушным выражением, как будто хотела сказать: «К чему мне все это?»

– Вы вот что сделайте, – стала она торопливо приказывать ювелиру, – отберите поскорее самые лучшие, самые дорогие камни и отложите их особо, я возьму их к себе; маленьких бриллиантов не вынимайте, а ломайте так, чтобы они оставались в оправе.

– Кому же, ваше высочество, прикажете отдать эти бриллианты, а также золото и серебро? – спросил Позье.

– Возьмите все это себе, а если этого вам не будет достаточно, как платы за вашу работу, то я прикажу прибавить вам денег по вашему счету. Да, кстати, я хочу еще переговорить с вами о других вещах, которые у меня лежат в особой шкатулке, а здесь положены только те, которые, как я думаю, вышли из моды и которые нужно поскорее переделать.

Изумленный Позье не верил такой щедрости, с какой вознаграждала правительница его труд. Он приходил к ней работать два раза, и по окончании работы оказалось, что он разного лома и маленьких бриллиантов вынес на такую сумму, что сделался вдруг весьма зажиточным торговцем-ювелиром, для чего, однако, требовалось немало денег такому бедняку, каким в то время был Позье.

Ювелир, согласно приказанию правительницы, отобрал самые лучшие камни, вынул из оправы и представил ей, а она положила их на особый столик.

– Вы сегодня довольно уже поработали, – сказала она ласково Позье, – приходите завтра утром, чтобы заняться остальным.

Позье откланялся и вышел.

– Я попрошу вас, граф, принять от меня эту безделицу, – сказала правительница по уходе Позье, взяв со столика полную горсть самых дорогих камней и ссыпая их в шляпу Линара, лежавшую на кресле.

При виде этого подарка всегда находчивый дипломат растерялся. Он понял, что правительница сразу желает обогатить его, и в смущении не знал, что сказать, и только движением головы и рук старался выразить свою благодарность и вместе с тем решительный отказ от неожиданного и дорогого подарка.

– Вы, вероятно, не хотите принять это, потому что вам дарит женщина?.. Самолюбие, весьма похвальное в мужчине, – сказала Анна Леопольдовна, – но вы, граф, ошибаетесь: это дарит вам правительница Русской империи, которая, слава Богу, в состоянии вознаграждать с еще большей щедростью тех, кто, как вы, приносит пользу России. Я обязана вам выгодным трактатом с Австрией и должна за это отблагодарить вас.

Линар кланялся и хотел сказать что-то, но правительница перебила его.

– Или вы, быть может, как дипломат, стро-

го соблюдающий все формальные тонкости, – сказала она, – желаете, чтобы я этот подарок, в каком-нибудь другом виде, препроводила к вам через моего министра и чтобы, таким образом, все знали о моей к вам признательности, о моем к вам высоком благоволении, а я этого не желаю... Как вы, однако, тщеславны, граф!.. Я этого от вас вовсе не ожидала... – насмешливо добавила Анна Леопольдовна.

– Не смею раздражать ваше высочество моим дальнейшим противоречием, но только позволю себе заметить, что такая щедрая награда не соответствует моим ничтожным заслугам.

– Предоставьте мне право оценивать их... – сказала твердым голосом Анна.

Линар схватил и поцеловал ее руку, но с таким чувством, с каким никогда представитель одной державы не целует руки у молоденькой и хорошенькой представительницы другой, хотя бы даже и самой дружественной державы.



В зимнюю пору на улицах Петербурга, чаще всего в окрестностях Смольного двора, где имела свой дом цесаревна Елизавета Петровна и куда недавно был переведен с Васильевского острова на постоянную стоянку Преображенский полк, — можно было встретить простые широкие сани, набитые внизу сеном, с высокой спинкой, через которую был перекинут наотлет богатый персидский ковер. Тройка коней в русской упряжи с блестящим медным набором, с сильным коренником под широкой дугою, узорчато расписанной пестрыми красками и золотом, быстро мчала эти сани. Под полозьями их скрипел и визжал снег, взвивавшийся пылью из-под копыт несшейся во весь опор тройки. Ямщик, стоя в санях, в шапке, надетой набекрень, распустив вожжи, ухарски гикая и молодецки то покрикивая, то посвистывая, ободрял коней, и казалось, что от быстроты их бега у седоков захватывало дух. Веселое бряцанье медного набора на упряжи, резкое звяканье бубенчиков и заливающийся звон валдайского колокольчика,

подвешенного под дугой, еще издали издали извещали проезжих и прохожих о приближении лихой тройки, которой все проезжие спешили давать дорогу и, смотря ей вслед, любовались ею.

– Вот так настоящая русская царевна! – часто слышалось от тех, кто встречался с мчавшейся в санях Елизаветой, – иноземщины не терпит, во всем, насколько может, русских обычаев придерживается.

Действительно, цесаревна представляла собой в Петербурге заметное исключение не только в домашней жизни, но даже и на улице. В эту пору и двор, и русские баре, усваивая иноземные обычаи, променивали уже русские сани на иностранные кареты, выписываемые из Варшавы, Вены и Парижа. В эту пору, по словам историка, князя Щербатова, «экипажи тоже великолепие возчувствовали», и между знатными людьми «богатые, позлащенные кареты, обитые бархатом, с золотыми и серебряными бахрамами, тяжелые и позлащенные или посеребренные шоры с кутасами шелковыми и с золотом и серебром, также богатые ливреи стали употребляться».

Все́му русскому как будто оказывалось пре-  
зрение и при дворе, и окружавшей его зна-  
тью.

Народу и преображенцам, близким сосе-  
дям цесаревны, нравилась, впрочем, не одна  
чисто русская обстановка цесаревны, они лю-  
бовались и ею самой. Елизавета была в ту по-  
ру настоящей, хотя уже и несколько зрелой,  
русской красавицей, представляя собой тот  
идеал женской красоты, какой создал наш на-  
род в своих песнях и сказках: высокая, строй-  
ная, полная, глаза с поволокой, а в лице кровь  
с молоком. Можно было засмотреться на нее,  
когда она мчалась на своей тройке с нарумя-  
ненными от мороза щечками, в душегрейке  
старинного русского покроя, в низенькой бар-  
хатной, отороченной соболем, шапочке, из-  
под которой выбивались густые пряди тем-  
но-русой косы.

Приветливо кланялась Елизавета каждому  
встречному, отдавшему ей почтение, и весело  
и ласково кивала преображенцам, как своим  
знакомым соседям. Да и они, в свою очередь,  
запросто обращались с нею. Во время ее ката-  
ния около Смольного двора они вскакивали

на задок или на облучок ее саней, то зазывая ее к себе на именины, на свадьбу или на крестины, то сообщая ей о каком-нибудь своем солдатском горе, помочь которому – как они все очень хорошо знали – цесаревна всегда была готова.

«Елизавета Петровна, – писал впоследствии в своих «Записках» фельдмаршал Миних, – выросла окруженная офицерами и солдатами гвардии, и во время регентства Бирона и принцессы Анны чрезвычайно ласково обращалась со всеми лицами, принадлежавшими к гвардии. Не проходило почти дня, чтобы она не крестила ребенка, рожденного в среде этих первых полков империи, и при этом не одаривала бы щедро родителей, или не оказывала бы милости кому-нибудь из гвардейских солдат, которые постоянно называли ее «матушкою». Елизавета, имевшая свой дом вблизи новых Преображенских казарм, часто бывала в нем и там виделась с Преображенскими офицерами и солдатами. До правительницы стали доходить слухи об этих собраниях, в особенности часто о них доносил ей ее супруг, постоянно опасавшийся

происков Елизаветы, но Анна Леопольдовна считала все это пустяками, на которые не стоило, по ее мнению, обращать никакого внимания. Угодливые голоса вторили ей в этом случае, и по поводу сношений цесаревны с солдатчиной при дворе только насмешливо повторяли, что она «водит компанию с Преображенскими гренадерами».

Не одни, впрочем, гвардейские офицеры и солдаты, ласкаемые Елизаветой, отдавали ей, как женщине, предпочтение перед молодой правительницей. Елизавета, неумолчная хохотушка, разговорчивая, ветреная до того, что, по собственным словам ее, она была счастлива только тогда, когда влюблялась, — несравненно сильнее привлекала к себе всех, нежели правительница, всегда являвшаяся в обществе холодной, сдержанной, задумчивой и как будто чем-то недовольной. На лице Анны выражалась постоянная грусть, тогда как улыбка не сходила с лица Елизаветы. Первую из них — особенно после неожиданно произведенного ею ночного переворота — стали считать женщиной чрезвычайно хитрой, долго обдумывающей каждый шаг и неспособной

проронить ни одного лишнего слова, и думали, что только молодость и неопытность не позволяют еще ей показать весь ее ум и ее сильный характер. Напротив того, в Елизавете видели самую простодушную девушку, готовую во всякую минуту высказать все, что лежит у нее на сердце, и так как она почти десятью годами была старше Анны Леопольдовны, то и полагали, что нрав ее установился окончательно и что она на всю жизнь останется такой же добродушной, кроткой и откровенной, какой уже все привыкли ее знать. Сильно, однако, ошибались в подобной оценке этих двух женщин-соперниц, считавших за собой право на русскую корону, так как, в сущности, правительница была и беспечнее, и простодушнее, чем Елизавета, хотя беззаботная, веселая и обходительная, но в то же время бывшая, что называется, себе на уме.

Елизавета, пользуясь тем, что правительница снисходительно смотрела на образ ее жизни и на сближение ее с гвардией, не подозревая в этом со стороны цесаревны никаких козней, мало-помалу приобретала себе верных приверженцев, готовых постоять за нее в

решительную минуту, и постепенно, исподтишка, расставляла сети своей сопернице. В то же время она чрезвычайно искусно притворствовалась теперь перед Анной, как притворствовалась прежде перед ее родной теткой, а своей двоюродной сестрой – умершей императрицей. Елизавета долгое время думала, что корона после смерти Анны Иоановны, избранной случайно на престол горстью вельмож, не минует ее как дочери Петра Великого, и потому, хотя она и была недовольна своим положением в царствование Анны Иоановны, но, в надежде на будущее, оставалась спокойной, не принимая со своей стороны никаких мер до тех пор, пока не состоялось бракосочетание принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Тогда она увидела, что вследствие этого брака она окончательно отстранена от наследия престола, и сделала несколько попыток, чтобы собрать около себя кружок своих приверженцев.

Честолюбивые свои замыслы она вела в такой глубокой непроницаемой тайне, что ничего не обнаружилось при жизни импера-

трицы, с которой она постоянно оставалась в самых дружеских отношениях. После кончины Анны Иоановны и в особенности после того, как Бирон был так нежданно-негаданно арестован Минихом и преображенцами, она поняла, что, опираясь на горсть надежных людей и на войско, не трудно будет повторить нечто подобное и в свою пользу, и вот она начала заботливо обдумывать свои коварные планы против правительницы и ее сына. Тем не менее Елизавета продолжала хитрить перед нею и старалась вводить всех в заблуждение своей напускной беспечностью. Первые месяцы после того, как принцесса Анна объявила себя великой княгиней и правительницей, прошли в величайшем согласии между ней и Елизаветой; они посещали одна другую почти каждый день, совершенно без церемонии и, казалось, жили между собой как родные сестры, как самые близкие приятельницы.

Такое согласие было, однако, непродолжительно: между ними вскоре пробежала черная кошка. Недоброжелатели той и другой стороны поселили между молодыми женщи-



нами начало раздора. До правительницы стали доходить оскорбительные отзывы, делаемые насчет нее Елизаветой, высказываемые цесаревной нескромные намеки на сердечные отношения правительницы к графу Линару, а также и обнаруживаемые Елизаветой подозрения насчет, если уже не сделанной, то весьма возможной подмены в случае смерти болезненного и слабого сына Анны, во имя которого она правила государством.

В то же время усердные вестовщики и вестовщицы передавали цесаревне о тех опасностях, которые грозят ей со стороны правительницы. Цесаревне стало известно, что проникавший в ее замыслы Остерман советует правительнице выдать ее поскорее замуж за какого-нибудь «убогого» немецкого принца, и в опасении этом ей пришлось убедиться, когда в Петербург, в качестве ее жениха, явился принц Людвиг Брауншвейгский, родной брат принца Антона, который при содействии России и был избран герцогом Курляндским вместо сосланного Бирона. Крепко не хотелось Елизавете, любившей свободу и привыкшей к воле, выходить замуж. К тому же предназна-

ченный жених ей вовсе не нравился, а в довершение ко всему, выйдя замуж за Людвига, она должна была бы отправиться на житье к немцам, до которых Елизавета не была большая охотница. Отказываясь от вступления в брак с принцем Людвигом, она ссылалась на то, что дала обет не выходить замуж.

Еще более, чем известие о браке, напугала цесаревну другая недобрая дошедшая до нее весть. Она вздрогнула и побледнела, когда ей рассказали, что правительница, по совету того же Остермана, намерена засадить ее в монастырь на вечное заточение. Поверить этому было не трудно, так как примеры насильного пострижения уже бывали в царской семье. С ужасом подумывала Елизавета, что ее заставят променять блестящую корону на черный клубок, который так не пристанет к ее молодому веселому лицу. Елизавете казалось уже, что она сидит в глухой обители за крепкими затворами, в маленькой мрачной келье с надежной решеткой; что ей ничего более не остается, как только сделаться смиренной, послушной инокиней, потому что в противном случае ее примутся укрощать

ключкой матери-игуменьи, голодом, железной цепью с ошейником, а, пожалуй, чего доброго, и шелепами, бывшими тогда в большом ходу в женских наших обителях, как самым надежным средством для усмирения строптивых отшельниц.

И другие обстоятельства болезненно раздражали Елизавету. Она роптала на свою горькую, обездоленную судьбу, сравнивая свое относительно скромное и – что всего казалось ей хуже – свое вполне зависимое положение с блестящим положением правительницы, пользовавшейся теперь полною свободой. Настроенная враждебно против Анны, Елизавета подозревала, что правительница оказывает ей самые недружелюбные чувства, и то, чего не замечалось прежде, при их добрых между собой отношениях, представлялось теперь цесаревне крайне и умышленно оскорбительным. Так, Елизавета считала себя обиженной донельзя тем, что приехавший в Петербург персидский посланник не был у нее с визитом. В этом видела она явный знак оказанного ей невнимания и неуважения, полагая, что правительница, распорядившись

таким образом, хотела унизить ее перед всем двором и иностранными посольствами, находившимися при русском дворе. Правительница поняла свою ошибку и отправила к цесаревне двух лиц, заведовавших церемониальными делами, для извинения перед нею. Сделав им выговор, Елизавета сказала:

– Я вам это прощаю, так как вы только исполняете то, что вам приказывают, но скажите Остерману, который, собственно, устроил это дело таким неприличным образом, если он забыл, что мой отец и моя мать вывели его в люди, то я сумею его заставить вспомнить, что я дочь Петра I и что он обязан уважать меня.

Смелая речь цесаревны встревожила правительницу, и она, слабая характером, сочла нужным отправиться к Елизавете для личных перед ней извинений.

Тяжелы и неприятны были для Елизаветы и денежные ее дела. Красавец Алексей Разумовский, заведованию которого они были поручены, только то и делал, что пел малороссийские песни и думки да играл на бандуре, не занимаясь вовсе ни интендантской, ни

шталмейстерской частью; частые и щедрые раздачи офицерам и солдатам чрезвычайно ослабляли денежные средства Елизаветы. Несмотря на получаемое ею большое содержание, она постоянно была без денег, ей приходилось занимать, а потом, конечно, и расплачиваться с кредиторами, и в этом последнем случае не оставалось ничего более, как только обращаться с просьбой к правительнице, и такое унижение было всего мучительнее для ее самолюбия. При просьбах Елизаветы о выдаче денег или об уплате долгов, Анна Леопольдовна входила в роль расчетливой правительницы-хозяйки и делала своей старшей родственнице внушения о бережливости и об умеренности расходов, не подавая, однако, сама тому примера. Однажды Елизавета под напором кредиторов вынуждена была обратиться к правительнице с просьбой заплатить за нее тридцать две тысячи рублей долгу. Анна Леопольдовна не отказала ей в этом, но чрезвычайно обидела ее, потребовав представления подлинных счетов. При проверке же их оказалось, что они не сходятся с той суммой, о которой заявила сама Елизавета.

Долги цесаревны хотя и заплатили, но дело это не обошлось без замечаний со стороны правительницы, сильно раздраживших цесаревну и давших ей новый случай почувствовать всю тягость своей зависимости от другой женщины, и она еще заботливее стала думать о том, чтобы поскорее выйти из такого положения.

## XXVI

Дом графа Андрея Ивановича Остермана был в свое время одним из самых заметных домов в Петербурге по своей архитектуре и по своей величине. Он был каменный, двухэтажный, не считая при этом подвальной постройки. На главном фасаде в двенадцать окон был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами, и такие же два окна были во фронтоне, устроенном над выступом. Над домом была высокая в два отдельных ската черепичная крыша; от парадного подъезда, выходившего на улицу, шли две широкие лестницы по обе стороны от дверей в виде больших полукругов. Внутренность этого графского жилища не соответствовала, впрочем, внешней его представительности. Манштейн в «Записках» своих сообщает, что образ жизни графа Андрея Ивановича был чрезвычайно странен: он был неопрятнее и русских, и поляков; комнаты его были меблированы очень плохо, а слуги были одеты обыкновенно как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того

грязна, что походила на свинцовую, а хорошие кушанья подавались у него только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение.

В таком наряде, с большим зеленым тафтяным зонтиком на глазах, сидел у себя в кабинете Остерман, когда его камердинер-оборванец доложил, что приехала баронесса Шенберг.

Остерман поморщился, но приказал просить гостью в кабинет. Хотя муж баронессы, бывший главным начальником по горной части, и находился в самых добрых отношениях к Остерману, но этот последний сильно недоблюбливал его супругу, опасаясь ее, как болтливую женщину, умевшую притом выведывать чужие тайны и чужие мысли, и вдобавок к этому он боялся ее, как страшную интриганку.

В кабинет Остермана вошла средних лет красивая женщина, стройная, с надменным взглядом, с горделивой поступью. В один миг она оглядела кабинет графа.



– Очень рад вас видеть, баронесса, – приветствовал притворщик-хозяин вошедшую к нему даму. – Вы, вероятно, изволили пожаловать ко мне по делу вашего супруга, но, к сожалению, я пока ничего еще не мог учинить в его пользу; надобно, впрочем, полагать, что все возводимые на его превосходительство обвинения окажутся злостной клеветой, я в этом уверен, и вам следует успокоиться...

– И не беспокоить других, думаете вы про себя, граф, но только из вежливости не говорите мне этого... На дело моего мужа я, впрочем, махнула теперь рукой – это пустяки, о которых не стоит и говорить. Я сама вполне уверена, что все обойдется благополучно, несмотря на все происки наших недоброжелателей, а потому и вас прошу нисколько не беспокоиться насчет барона. Не с просьбой я приехала к вам, а с предложением, за которое вам впоследствии придется поблагодарить меня.

Вступительная речь баронессы крайне удивила министра. Муж ее, пользовавшийся особым покровительством регента, после его падения был отдан под суд за злоупотребле-

ния, взяточничество, вымогательство и казнокрадство, и, по-видимому, ему угрожала большая беда, почему жена его еще весьма недавно и хлопотала за него самым деятельным образом у всемогущего при правительнице Остермана.

– Я посетила вас, – добавила баронесса, – по чрезвычайно важному делу.

Министр наострил уши, и в то же время как-то боязливо съежился на своем широком кресле, предчувствуя что-то недоброе.

– Знаете, баронесса, – проговорил он, запинаясь и надвигая на лицо зонтик, – относительно чрезвычайно важных дел я человек очень мнительный.

– Знаю, и даже как нельзя лучше знаю это... – перебила баронесса.

– Я боюсь... – заговорил Остерман.

– Бойтесь, вероятно, моей болтливости? И прекрасно делаете!.. Но если уже я хоть раз побеседовала с вами наедине, как теперь, то боязнь ваша не принесет вам решительно никакой пользы. Разве я после этого не могу, если только пожелаю, рассказывать всем и каждому о моей с вами беседе так, как мне бу-

дет угодно? Если, например, вы в настоящем случае откажете мне не только в вашем содействии, но даже в ваших разумных советах и полезных наставлениях, то тем не менее я буду иметь возможность рассказывать всему городу, что вы мне внушали то-то и то-то, – говорила баронесса с беззастенчивостью, переходившей в наглость. – Я же вам вот что скажу... – При этих словах она с креслом придвинулась еще ближе к Остерману, только пожимавшему плечами, и таинственным шепотом сказала ему под самое ухо:

– Я хочу женить графа Линара...

– Но ведь ее императорское высочество... – вздрогнув, сболтнул осторожный Остерман.

– Да разве ее императорское высочество тут при чем-нибудь? – строго спросила баронесса.

– Вы мне не дали договорить, милостивая государыня. Я хотел сказать, – начал вывертываться Остерман, – что вы, вероятно, изберете графу невесту из фрейлин, а потому, конечно, от воли ее императорского высочества будет зависеть...

– Нет, вы не то хотели сказать, – отрезала

баронесса, – и это было видно по выражению вашего лица. Не думайте, чтобы вы могли закрыться от меня вашим зонтиком. Я нарочно ближе подсела к вам, да и к чему такая прикрытие между друзьями?.. – С этими словами баронесса быстро сдернула зонтик с головы Остермана и бросила его на стол.

– Но, помилуйте, у меня глаза болят, я не могу смотреть на свет, – бормотал жалобно Остерман, пытаясь, не привставая с кресел, достать со стола зонтик, который бесцеремонная гостья при этой попытке отодвинула по-дальше.

– Будьте вполне откровенны со мной, граф; ведь мы отлично понимаем друг друга, и поэтому я повторяю вам, что я, по моим соображениям, хочу женить графа Линара...

– На ком же, однако, позвольте спросить? – проговорил смущенным голосом Остерман.

– На одной из девиц фон Менгден.

– На которой же из них: на Юлиане, Якобине или Авроре?..

– Угадайте.

– Думается мне, что если вы действительно собираетесь устроить эту свадьбу, то вы-

бор ваш никак не может пасть на Юлиану, ее высочество привязана к ней до такой степени, что не захочет ни за что расстаться с ней, а между тем неизвестно, долго ли граф Линар останется в Петербурге. Да и признаться, я что-то не понимаю, зачем вы затеяли это сватовство...

– О, при этом я руководствуюсь очень многими, не только моими личными, но даже и государственными соображениями...

– Даже и государственными соображениями?.. Гм, – прощамкал с расстановкой Остерман, вынимая из кармана своего камзола большую золотую табакерку и принимаясь медленно нюхать. – Желательно было бы, однако, узнать их...

– Вы и узнаете в свое время, а теперь скажите только: будете ли вы мне содействовать в моем намерении, а я со своей стороны могу прибавить, что брак этот отлично устроил бы и вас, и меня с моим мужем.

– Но ее высочество, ее высочество... – тревожно бормотал Остерман.

– Опять ее высочество! – вскрикнула баронесса, грозно взглянув на старика, – так знай-

те же, что ее высочество была бы чрезвычайно довольна женитьбой графа Линара...

При этих словах Остермана с головы до ног обдало жаром. Ему представилось, не сделалось ли около правительницы чего-нибудь такого, о чем он не успел еще проведать. Он подумал, не охладела ли привязанность ее к Линару, а потому и не желает ли она привести дело к развязке его женитьбой. Остерман встревожился при мысли, не был ли он слишком внимателен и предупредителен к покидаемому теперь правительницей любимцу, и старался припомнить малейшие подробности своих последних с ним встреч у Анны Леопольдовны.

– Позвольте, однако, – спросил он, оправляясь несколько от смущения, – вы изволили высказать предложение о женитьбе графа Линара на одной из девиц фон Менгден, но на которой же именно?

– На Юлиане...

– На Юлиане? – вскрикнул Остерман, окончательно озадаченный этими словами.

– Да, на Юлиане, – преспокойным тоном ответила баронесса. – По моим соображени-

ям, если граф Линар должен жениться, так именно на ней, а жениться он непременно должен.

– Признаюсь, я ничего не понимаю, – сказал Остерман, в недоумении разводя руками.

– И ничего нет мудреного; вы сидите дома и не знаете ничего, что делается. Вас считают человеком чрезвычайно проницательным, – с едкой насмешливостью продолжала баронесса, – а по моему мнению, выходит вовсе не то. Вы, например, когда уже весь город узнал о принятии принцессой правления, не знали ровно ничего... Какой вы министр! Если бы я имела власть, то завтра же уволила бы вас от должности.

Остерман чувствовал себя подавленным и уничтоженным. Он стал откашливаться, поправлял парик и бормотал что-то себе под нос, а между тем развязная гостья смотрела на него в упор своим смелым, беспощадным взглядом.

– Позвольте мне, глубоко чтимая мною баронесса, – начал жалобным голосом пристыженный министр, – несколько подумать и сообразить по делу, о котором вам, не знаю, по-

чему именно, благоугодно было сообщить мне. Высоко, как нельзя более, ценю оказанное мне вами слишком лестное доверие и могу уверить вас, что я во всякое время почту за особенное для себя счастье быть у ног ваших всепокорнейшим слугою, с чувством наиглубочайшего моего к вам высокопочитания...

– Оставьте, граф, подобные приторные фразы, я им очень мало верю, – перебила баронесса, махнув рукой.

– Конечно, вы совершенно справедливо изволили заметить, что в обстоятельствах, о которых мы теперь рассуждаем, не может идти вовсе речь о ее императорском высочестве. Они действительно касаются одного только графа Линара и избираемой вами для него невесты, кто бы она ни была. Дело в том, однако, что во всяком случае женить в Петербурге иностранного посла, и притом такого влиятельного, каким в дипломатических кругах считается граф Линар, можно только подумавши, и подумавши хорошенько. Женитьбою его мы легко можем обнаружить ту импрессию, которую имел наш двор на него, а обстоятельство сие вызовет недоразумения и



различные подозрения со стороны европейских кабинетов. Притом, – продолжал внушительно Остерман, – вы сами изволили высказать, что при предполагаемом вами браке вы благоволили руководствоваться не только вашими личными, но даже и государственными соображениями. Как же ввиду всего этого не подумать и не сообразить каждому министру, в особенности же такому, которого начинают подозревать в проницательности?

– Перестаньте петь эту скучную песню, мой милейший граф, – сказала самым фамильярным тоном баронесса. Она встала с кресел и, дружески трепля Остермана по плечу левой рукой, правой напаялила на его голову зонтик. – Теперь вы можете сидеть в этой полумаске. Вы сами не хотели привстать и взять ее, чтобы я не разболтала потом, что ваше здоровье настолько хорошо, что вы в состоянии ходить. Для вас это было бы не совсем удобно, потому что теперь наступает такая пора, когда вам, по принятым вами правилам, следует притворяться...

– Какая пора?.. – широко раскрыв глаза, спросил Остерман.

– Пора, когда отношения между правительницей и графом Линаром...

– Тс... ради Бога, тише; подумайте, что вы говорите?.. – шептал умоляющим голосом Остерман.

Не обращая никакого внимания на это предостережение, баронесса продолжала:

– ...Заставят вас на время заболеть жестоко, съездив, впрочем, предварительно во дворец, чтобы проведать там что-нибудь; но могу заранее уверить вас, что вы там ровно ничего не узнаете, все содержит в непроницаемой тайне; а не правда ли, как желательно было бы узнать такую тайну? – поддразнивала баронесса растерявшегося Остермана.

– Я вовсе не так любопытен, как вы, быть может, предполагаете, – холодно заметил оскорбившийся этим подтруниванием министр. – Я сегодня же должен бы ехать во дворец, несмотря на мою болезнь, по особенно важным докладам, но не поеду, а если бы и поехал туда, то о деле, о котором вы изволили мне передавать, я не решился бы заговорить уже по одному тому, что я никогда не мешаюсь ни в какие амурезные дела.

– Вы-то не мешаетесь в такие дела?.. Ха, ха, ха!.. А кто же, позвольте спросить, ваше сиятельство, надоумил бывшего регента вызвать сюда графа Линара?.. Разве тут был вопрос о государственных, а не об амурезных, как вы называете, делах? А?..

У Остермана заняло дух, и он замотал головой, как будто ему поднесли под нос что-то сильно одуряющее.

– Я должен уверить вас, что в вызове графа Линара я не принимал никакого участия, – отрезал решительным голосом лживый старик. – Тут были особые политические соображения регента, для вас, как я полагаю, вовсе неизвестные.

– Не отнекивайтесь, милейший граф; если дело пойдет на спор, то я докажу вам все, что вы проделали в этом случае. Я знаю, вы говорите часто, что я такая женщина, которая рассказывает то, чего вовсе не было, т. е., что я сплетница. Я же, в свою очередь, буду говорить о вас, что вы такой мужчина, который уверяет, что не делал того, что им было сделано, что он... Как вы думаете, что лучше?.. Положим, впрочем, что это ошибочно, – что вы

действительно не участвовали в вызове графа Линара в Петербург, но теперь речь идет не об этом, а только о женитьбе его на Юлиане. Что вы, собственно, на это скажете? Как отзоветесь вы по поводу этого предположения, если бы ее высочество, продолжая и теперь, как это было прежде (баронесса нарочно подчеркнула эти слова), удостоивать вас своим доверием, спросила что-нибудь о браке графа Линара?..

– Позвольте, многоуважаемая баронесса, подумать и посообразить; я имел честь объяснить вам, что это вопрос дипломатического свойства, а потому и крайне щекотливый.

– Хорошо! Я даю вам срок до завтра, а вы уведомьте меня, когда я могу быть у вас для решительных и окончательных объяснений. Прощайте, граф!.. – и она, встав с кресел, протянула свою руку к губам Остермана, которую тот поцеловал, а баронесса милостиво погладила его по голове.

Остерман выразил сожаление, что он сегодня так слаб, что лишен удовольствия проводить столь дорогую гостью хотя бы до дверей своего кабинета, а сам в душе радовался, что

наконец он отделался от этой ужасной посетительницы, язык которой казался ему страшнее змеиного жала и которая обходилась с ним так бесцеремонно, как будто забывала, что он старик, сановник и министр.

– Не беспокойтесь, дорогой мой друг, провожать меня, – проговорила баронесса.

Она медленно подошла к дверям и, выходя из кабинета, обернулась к Остерману.

– Прощайте еще раз! Будьте здоровы; не притворяйтесь, когда в этом нет особенной надобности, и верьте, что во многих случаях самый умный министр может быть менее дальновиден, чем иная самая обыкновенная женщина... До приятного и скорого свидания, то есть до завтра.

## XXVII

Беседа с баронессой Шенберг сильно озадачила Остермана. Хотя он вообще и не удивлялся бойкости этой хорошо ему известной дамы, но никогда еще не замечал он, чтобы развязность и бесцеремонность ее доходили до такой крайней степени, как это было во время последнего ее посещения.

«Что бы это значило? – думал Остерман. – Откуда теперь подул ветер? А ведь что-нибудь особенное да есть. Еще так недавно она хлопотала у меня о своем муже, дрожала за его участь, вздыхала и плакала, а теперь прямо говорит, что махнула на его дело рукой, и не только не просит моего покровительства, как прежде, но даже отказывается принять его по моему предложению. Уж не ослабела ли моя инфлуенция у правительницы? – с ужасом помыслил министр. – По всему видно, что около нее баронесса нашла для себя другую надежную опору и теперь пренебрегает моим заступничеством за своего мужа. Я очень хорошо знаю, что еще недавно правительница крайне недолюбливала ее и весьма

неохотно допускала ее в свое общество».

В таких тревожных размышлениях застал Остермана его шурин, Василий Иванович Стрешнев, толкавшийся и разъезжавший всюду для собирания свежих новостей своему зятю.

– Ну, Андрей Иваныч, новость важная, – сказал он, поздоровавшись с министром. – Шенбергша входит к правительнице в милость. От камер-фурьера Кочнева узнал я сегодня, что ей приказано посылать приглашения по средам на обеды, а по воскресеньям на вечерние собрания у правительницы. Прежде этого не бывало.

– Точно, что не бывало, и правительница всегда держала ее от себя очень далеко и принимала не иначе как только по особому разрешению, даваемому ей через гофмаршала. Ну, а еще что нового? – порывисто спросил Остерман.

– Говорят еще, что дело Шенберга замнут по желанию правительницы, а ему в награду за напрасное обвинение пошлетя александровская лента, – скороговоркой сообщал Стрешнев, а между тем его собеседник пожи-

мал плечами.

– А что же слышно о свадьбе?.. – спросил министр.

– Кого с кем?

– О свадьбе графа Линара с Юлианой Менгден, – отвечал Остерман своему удивленному зятю и затем рассказал ему о посещении Шенберг и о ее беседе.

– Пожалуй, что-нибудь эта разбитная баба Шенбергша и придумает. В последнее время Линар что-то особенно стал внимателен к ней, да и, верно, не кто иной, как он, расположил правительницу в ее пользу. Он же, конечно, помогает и барону покончить благополучно его делишки, за которые ему нелегко было бы рассчитаться. Надобно будет поразнюхать. Да к чему, впрочем, устраивать этот брак? – добавил Стрешнев.

– Как к чему? Тут есть очень тонкий расчет. Долго думал я об этом и, наконец, попал на верную мысль. Теперь начинают поговаривать о близости Линара к правительнице, а в войске, как ты мне сам передавал, слышится ропот по этому поводу. Если же Линара женят, то все это получит иной вид. Заговорят,



что если Линар почти безвыходно сидел у правительницы, так потому только, что ухаживал за неразлучной ее подругой. После свадьбы супруги останутся жить во дворце под тем благовидным предлогом, что ее высочество не в силах расстаться с Юлианой; на Линара, как на человека женатого, не станет падать никакого подозрения, и таким образом неприятная, а, пожалуй, даже и опасная для правительницы болтовня мало-помалу прекратится... Понимаешь?

– Пожалуй, что так, – согласился Стрешнев. – А знаешь, не худо бы тебе, под каким-нибудь предлогом, съездить самому к правительнице. Может быть, что-нибудь и поразведает. Смотри, Андрей Иваныч, не опростоволошься как-нибудь, чего доброго, опять дашь зевка... Обрати также внимание и на цесаревну; сильно поговаривают, что она затевает что-то и частенько видится с маркизом Шетарди.

Расставшись со своим верным и ревностным соглядатаем, Остерман принялся копаться в лежавших перед ним на столе бумагах. Он думал о том, как бы придать некото-

рым из них чрезвычайную, неотложную важность и, ссылаясь на необходимость спешного по ним доклада, явиться невзначай к правительнице под этим предлогом. Остерману не трудно было сделать это, так как он умел отлично вздуть значение каждого дела теми туманными и велеречивыми фразами, которые в случае надобности пускал в ход. Недаром же отзывался о нем один живший в Петербурге иностранный дипломат, что с ним можно было беседовать по какому угодно делу два битых часа сряду и все-таки не узнать, что хотел высказать Остерман. Перечитав несколько бумаг и потеряв несколько раз нахмуренный лоб, министр приказал заложить карету и, спустя немного времени, он был привезен ко дворцу, а затем и принесен в креслах в кабинет правительницы.

– Ах, Андрей Иванович, ты опять с бумагами!.. – проговорила с недовольным видом правительница, входя в кабинет и держа в руках детское платьице. – Тебя-то я, впрочем, всегда очень рада видеть, а бумаги твои мне порядком надоели. Вот, посмотри, какое красивое платьице я шью моему Иванушке. Мар-

киз Шетарди не довольствуется переговорами со мной и непременно требует торжественной аудиенции у самого императора; приходится уступить ему. Вот забавная-то будет аудиенция! Послушаем, как они разговариваются... Ох, уж мне эти придворные этикетки да государственные дела... скоро ли дождусь я того времени, когда вырастет мой сынишка и сам начнет править царством, а я буду жить как хочу.

– Но, ваше императорское высочество, – заметил почтительно Остерман, – при настоящих оказиях вам необходимо надлежит постановить некоторые резолюции.

– Хорошо, хорошо, только ты, Андрей Иванович, посмотри прежде это платье. Иванушка явится в нем на аудиенцию. Не правда ли, как оно хорошо? Вот здесь обошьется оборочкой, а тут пойдут кружевные прошивки, на этом месте будет бантик, – говорила правительница, поднося свое шитье к лицу Остермана, который поневоле должен был разделять удовольствие молодой матери, так заботливо думавшей о наряде своего малютки.

– Притом, ваше императорское высоче-

ство, насчет цесаревны, – начал министр, от-  
делавшийся, наконец, от неподходящего к его  
обязанностям занятия.

– Опять, Андрей Иваныч, ты с Лизой, да  
что она тебе делает? – с выражением упрека  
возразила правительница.

– Мне ее высочество ничего дурного не де-  
лает, а высочайшей вашей фамилии, вам, вы-  
сокоповелительная государыня, и всему рос-  
сийскому отечеству цесаревна намеревается  
учинить злокозненные факции...

– Ты да мой муж всегда пристаете ко мне,  
чтобы я или выдала ее насильно замуж, или  
посадила бы ее поскорее в монастырь, но я ни  
того, ни другого не сделаю. Оставьте Лизу в по-  
кое. Я на этих днях была у нее, все объясни-  
лось между нами, и мы теперь дружны по-  
прежнему. Так бы и всегда было, да на беду  
нас злые люди ссорить хотят. Говорю я это,  
впрочем, не о тебе, Андрей Иваныч, так как я  
знаю очень хорошо, что все твои советы идут  
от доброго сердца, – окончила ласковым голо-  
сом правительница.

– Позволю себе сказать, что каждое слово  
произношу я перед вашим императорским

высочеством по душевной моей чистоте, по рабской моей преданности к высочайшей особе вашей, предоставляя затем действовать вам так, как сие благоугодно будет соизволить...

Проговорив это, Остерман принялся вынимать бумаги из своего портфеля, внушавшего правительнице своим объемом опасение, что в нем слишком много запаса для доклада и объяснений.

Доклад, однако, кончился скоро. Правительница слушала рассеянно объяснения своего министра: она в это время шила сыну платье и иголка быстро двигалась в ее руке, и несколько раз Анна Леопольдовна, не обращая внимания на сановного докладчика, раскладывала перед ним свою работу на его бумаги и расправляла ее на них, чтобы посмотреть, верно ли она ведет к прошивке строчку. Такое невнимание сильно смущало Остермана. Но так как правительница подписала все доклады безоговорочно, не сделав никаких возражений и замечаний, то Остерман успокоился, убедившись, что кредит его не поколебался нисколько.

– Кажется, что дела наши с иностранными кабинетами устроились теперь как нельзя лучше, – сказала с довольным видом правительница по окончании доклада.

– В сем случае особенную полезительность для «российского отечества» оказывает наш альянс с венским кабинетом, заключенный по великодушной мысли вашего императорского высочества, – льстиво подхватил Остерман.

– А не правда ли, – с живостью спросила правительница, – что мы этим альянсом обяваны графу Линару?

– Сие безусловно утверждать не могу. Наперед всего совершение оногo альянса произошло по премудрости вашего императорского высочества; граф же Линар точно что оказал в сем случае превеликий сикурс, да и вообще надлежит признать, что его сиятельство – персoна крайне полезная для поддержания российских интересов и различных наших авантажей при иностранных дворах. Сожалеть можно токмо о том, что мы во всякую пору можем лишиться его содействия, – проговорил с опечаленным видом Остерман.

– Это каким образом? – встрепенувшись, спросила правительница.

– Граф Линар не состоит в российской службе, и посему польско-саксонский кабинет во всякую пору может отозвать его из Петербурга, да и он, как персоне здесь всем чуждая и ничем не привязанная, может сам пожелать удалиться отсюда.

– Мне было бы крайне жаль, если бы это случилось, – со смущением заговорила правительница, – я только что начала привыкать к нему, полюбила толковать с ним о делах, конечно, для того только, чтобы все мной от него слышанное передать потом на твое рассмотрение, так как ты, Андрей Иваныч, очень хорошо знаешь, что я, не посоветовавшись с тобой, никогда ничего не делаю.

При этих милостивых словах Остерман умилился, и слезы признательности, конечно, притворные, выступили на его глазах. Правительница заметила это и взглядом, полным ласки, посмотрела на него.

– Вообрази, Андрей Иваныч, – начала она, – мне никогда не приходило в голову, что граф Линар может уехать от нас. Мне казалось, что

он останется у нас вечно, вечно... – и дрожащий голос, которым сказаны были последние слова, выдавал грустную мысль, мелькнувшую теперь в голове молодой женщины. – Ты сам говоришь, что он нам так полезен по государственным делам, да и по правде скажу тебе, как моему старому другу, что мне без него будет очень скучно... Ты человек находчивый и умный, посоветуй же, как бы устроить, чтобы Линар никогда не уехал от нас...

– Женить его здесь, – брякнул решительным тоном министр.

Правительница вспыхнула: она почувствовала, что вся кровь бросилась ей в лицо, ударила в виски и точно множество самых тонких игл закололо ей глаза, к которым подступили жгучие слезы.

– Ах, как здесь сегодня жарко!.. – тихо проговорила она, обмахивая и закрывая платком зардевшееся румянцем лицо.

– Очень жарко, ваше высочество... Я чуть было не задохся от жары, только не дерзнул заметить сего перед вами, – проговорил Остерман, только что перед тем думавший о том, что в кабинете правительницы слишком



свежо, и опасавшийся, чтобы вследствие этого не схватить простуды. – Вы, ваше императорское высочество, слишком еще молоды, вас греет кровь. Вот нам, старикам, так тепло идет в пользу, а особе вашего юного возраста оно может быть вредоносно, от сего кровяные приливы случаются...

– Вот и я теперь что-то нехорошо себя почувствовала... Посмотри, как я вдруг вся покраснелась, – добавила она, показывая Остерману на свои щеки, горевшие ярким румянцем.

Выведя таким образом правительницу из сильного смущения, Остерман продолжал:

– Блаженной и вечно достойной памяти дед вашего императорского высочества, император Петр Алексеевич меня таким образом навеки в «российском отечестве» устроил. Возвысив и облагодетельствовав меня своими высочайшими щедротами, он однажды соизволил сказать мне: «Пора тебе, Андрей Иваныч, перестать быть немцем; ты теперь здесь, у меня, все имеешь: и чины, и почет, и богатство, и доверие мое полное успел заслужить, не вздумай только улизнуть от

меня; а чтобы у тебя и в мыслях сего не было, так я женю тебя здесь», и затем соблаговолил сосватать мне настоящую мою супругу Марфу Ивановну из славного рода бояр Стрешневых. После сего я, конечно, отселе никуда и ни за что не уеду. – Проговорив это, Остерман, однако, сильно поморщился при невольном воспоминании обо всем, что доставалось ему от его злой и привередливой Марфы Ивановны.

Неожиданное предположение, высказанное Остерманом, сильно взволновало правительницу. Остерман смекнул, однако, что он не совсем напрасно похитил мысль баронессы о женитьбе Линара, но только жалел, что поверил словам ее, будто эта женитьба будет приятна правительнице. Впрочем, такая частная ошибка не особенно смущала его ввиду того, что правительница не выразила прямо несогласия на брак, не стала противоречить этому предположению, но только сперва встревожилась, а потом глубоко задумалась, но и то и другое было вполне естественно при таком щекотливом для нее вопросе. Опустившись в кресла и слушая рассказ о женитьбе Остермана, она видела в

этом рассказе разницу, не применяемую к настоящему делу. Ее поразила мысль, что Линар может любить другую женщину, что он делается привязанным, преданным другом своей жены, которая станет господствовать над его сердцем. Но Анна Леопольдовна как будто опомнилась и, пересиливая волнение, равнодушно и даже как будто шутя спросила своего собеседника:

– А на ком же мы женим графа Линара?

– На баронессе Юлиане фон Менгден, – отвечал Остерман.

Анна Леопольдовна вздрогнула.

В это время дверь кабинета растворилась, и в нее, словно птичка, впорхнула Юлиана. Она сделала наскоро реверанс Остерману и кинулась, чтобы поздороваться с правительницей и поцеловать ее. Но Анна встретила теперь свою подругу гневным взглядом: она увидела в молодой девушке свою соперницу. Не привыкшая к такой встрече пригожая смуглянка остановилась в недоумении точно вкопанная.

– Оставьте меня на некоторое время с графом, – холодно проговорила ей правительница.

ца, и Юлиане не оставалось ничего более, как исполнить немедленно полученное ею приказание.

## XXVIII

Закрывая лицо платком и громко рыдая, вернулась Юлиана в свою уборную, отделенную лишь несколькими комнатами от кабинета правительницы.

– Что? что такое случилось с вами? – с удивлением и с участием спрашивала Юлиану бывшая у нее в это время в гостях баронесса Шенберг.

Юлиана, отняв от глаз платок, стоя посреди комнаты, печально взглянула на гостью. Хорошенькая девушка, за несколько минут веселая и живая, теперь нервно вздрагивала. Она в своем разноцветном наряде, с понуренной головкой и с опущенными вниз руками, походила теперь на пеструю бабочку, которая, с надломленными крылышками, бьется и трепещет на одном месте, чувствуя, что у нее нет уже прежней силы для быстрого и игривого полета.

– Что же случилось?.. Скажите Бога ради... – приставала баронесса.

– Она меня оскорбила... она прогнала меня от себя... – проговорила прерывистым голо-

сом Юлиана. Слезы стали душить ее, она задышалась и, чувствуя необходимость вздохнуть свободнее, судорожно отдергивала рукой от груди корсет, стеснявший ее дыхание, баронесса старалась удержать и успокоить ее, говоря:

– Разве вы успели уже рассказать ей то, о чем я беседовала с вами сейчас? Но ведь я с вами болтала об этом только в виде пустого предположения, не более как в шутку?..

– Нет, я не успела сказать, но сказала бы ей непременно все, у меня от нее нет никаких тайн... я так люблю ее... я люблю ее до безумия, – проговорила Юлиана, хватаясь руками за голову.

– Какая сентиментальность! – процедила сквозь зубы в сторону баронесса так тихо, что Юлиана не могла расслышать, и затем, обратившись прямо к ней, начала:

– Да ведь ее высочество точно тем же платит вам. Послушайте только, что говорят в городе. Кому неизвестно, что вы можете сделать у правительницы все, что захотите, стоит вам только сказать одно слово, и правительница...

– Не нужно мне ни власти, ни влияния, – вскрикнула Юлиана, затопав ножками в припадке сильного раздражения. – Высокое ее положение только тяготит меня, потому что она каждую минуту из дорогой для меня подруги может обратиться в надменную повелительницу...

– Успокойтесь, все объяснится... – вы – девушка и должны, конечно, знать неровность нашего женского характера. Правительница, наверное, была чем-нибудь огорчена или рассержена, надобно быть снисходительной к ее исключительному положению, у нее, наверное, есть такие заботы и тревоги, о которых мы с вами, обыкновенные женщины, не имеем даже никакого понятия. Не забывайте, что она на каждом шагу встречает затруднения и неудовольствия, что она правит империей, – внушала баронесса Юлиане, обнимая и целуя ее в голову.

– Мне все равно, чем бы она ни была, чем бы она ни правила!.. Зачем она за мою беспредельную к ней привязанность, за мою безграничную к ней доверенность отвечает мне холодностью и даже презрением? Какой важ-

ный вид!.. Какой строгий голос!.. Какое повелительное движение руки... – сердито и насмешливо ворчала молодая девушка, припоминая свою суровую высылку из кабинета правительницы.

– Поверьте, дорогая Юлиана, что вам все это показалось... Вы привыкли к тому, сказать между нами, что иногда и сами покрикиваете на правительницу, а теперь, когда она – я в том уверена – не думая вовсе оскорбить вас, выразила только перед вами свое раздражение неприятным для вас образом, вы уже видите в этом какое-то непростительное с ее стороны оскорбление. Быть может, она, против воли, должна была даже поступить так, только для поддержания своего достоинства, чтобы не обнаружить той дружеской близости, какая существует между ею и вами. Когда вы вошли в кабинет, у нее был кто-нибудь?

– Остерман, – отрывисто проговорила Юлиана.

«Понимаю теперь, что это значит, – подумала баронесса, – верно эта старая лисица или сообщила правительнице мое предположение, или сделала какой-нибудь намек и,



конечно, даже этого последнего было достаточно, чтобы возбудить в Анне ревность, а ревность такое чувство, которое в женщине, особенно при первом порыве, всегда берет верх и над другими чувствами. Ох, уж эти мужчины! Ни за что, право, не умеют взяться как следует. Этот безногий, как видно, в сваты пустился вперегонки со мной, да не очень ему это удастся».

– Вы не слышали, о чем разговаривали Остерман и правительница? – пытливо спросила баронесса после некоторого молчания.

– Нет, когда я вошла в кабинет, оба они нарочно замолчали.

– А когда вы подходили к дверям, вы ничего не подслушали?

– Я не имею, госпожа Шенберг, этой привычки, – с негодованием перебила Юлиана, – да если бы она и была у меня, то в отношении к Анне оказывалась бы совершенно излишней, потому что она решительно ничего не скрывает от меня.

– Вы видите, однако, теперь на деле, что ошибаетесь в таком предположении... Кроме того, если при вашем появлении он и она за-

молчали, то вы имеете достаточный повод думать, что у них речь шла именно о вас... Как вы еще молоды, как вы еще неопытны, даже в самых простых вещах!.. Погодите, я попроберусь потихоньку и подслушаю, о чем у них идет дело, – сказала баронесса, направляясь на цыпочках к кабинету правительницы.

– Что вы хотите делать? Разве это можно? – с удивлением и гневом вскрикнула Юлиана, удерживая любопытную барыню за широкую юбку ее робы.

– Если вы будете так щепетильны, мой друг, – хладнокровно, а вместе с тем и внушительно заметила баронесса, – то вы вечно будете обмануты, преданы и проданы. Разве следует поступать так в жизни вообще, а при дворе в особенности?

– По крайней мере я хочу поступать так, – резко ответила откровенная девушка. – При этом попытка ваша была бы совершенно напрасна: вы не много поняли бы, так как правительница и Остерман всегда говорят между собой по-русски, для нее это гораздо легче.

– Ну, тогда совсем иное, – проговорила баронесса. – Впрочем, я догадываюсь теперь, из-

за чего вышло все дело. То, о чем я говорила вам только в виде предположения, в виде шутки, т. е. о возможности вашего брака с Линаром, Остерман, вероятно, представил ее высочеству как вопрос серьезный, решительный, примешав, конечно, к нему, по своей привычке, и разные государственные соображения. Надобно вам признаться, милая и добрая моя Юлиана, что я позволила себе немножко обмануть вас. Часа за два перед этим я была у графа по делу моего мужа, и он вдруг ни с того ни с сего начал мне делать намеки, чтобы я, как женщина, довольно близкая к вам, замолвила с вами о вашем браке с графом Линаром.

– Так вы заговорили со мной об этом по внушению Остермана? – спросила удивленная девушка.

– Да... Только, Бога ради, никому не говорите этого, я уже и так много терплю за мою откровенность, за мою правдивость, и я думала, что все это окончится только разговором между нами с глазу на глаз, и никак не ожидала, чтобы этот лукавый старикашка, так жаловавшийся на свое нездоровье и заявив-

ший мне, что он сегодня не поедет во дворец, вдруг явился бы сюда и начал говорить с ее высочеством о том, о чем он по секрету говорил предварительно со мной. Вероятно, у него для такого поспешного сообщения есть какие-нибудь важные побуждения. Я, впрочем, — добавила баронесса, — никогда не вмешиваюсь в подобные дела и только из любви к вам была в этом случае невольной посредницей.

Беззастенчивая Шенберг лгала перед молодой девушкой. Привыкшая к интригам и проискам, она рассчитывала на то, что между ею и Остерманом не будет произведено очных ставок, что поэтому всегда, так или иначе, можно будет вывернуться из неприятного положения, ссылаясь на то, что ее или его не так поняли, что не точно передали ее слова и что, наконец, в случае крайности, просто-напросто можно отказаться от слов, сказанных наедине. Между тем, если бы сватовство пошло на лад, то она легко могла бы приписать себе честь почина, а встретившиеся при этом недоразумения и странности объяснить необходимостью повести все дело так дели-

катно, как оно было поведено ею.

– Теперь я понимаю, отчего на меня так рассердилась Анна, – сказала Юлиана. – Если Остерман действительно заговорил с ней о возможности моего брака с Линаром, то она могла подумать, что я выбрала его в свои посредники, и, разумеется, обиделась тем, что я прямо не обратилась к ней с этим. Она теперь может думать обо мне Бог знает что... – Но при этих словах в голове девушки вдруг мелькнула мысль, что Анна видит в ней свою тайную соперницу по отношению к Линару и что она была поэтому права, встретив ее так неприязненно.

– Бог мне свидетель, я нисколько не влюблена в Линара, я вовсе не занята им!.. – вскрикнула вдруг Юлиана, – я не могу долее выдержать, сейчас же пойду к ней и расскажу все.

Говоря это, Юлиана быстро вскочила с кресла, но тут уже баронесса, в свою очередь, стала удерживать ее за юбку, внушая ей, что она напрасно так сильно волнуется, что неуместной горячностью и несвоевременной откровенностью можно испортить каждое де-

ло, что лучше подождать немного и тогда, наверно, все объяснится, после чего обе подруги только посмеются между собой над неудачей старого, непрошеного свата.

В то время, когда Шенберг уговаривала, убеждала и утешала молодую девушку, Анна продолжала беседовать с Остерманом и речь шла у них о Линаре и Юлиане. Остерман очень ловко и тонко дал понять правительнице, что молве о Линаре, вследствие неприязненного о нем и в народе, и в войске говора, нужно положить конец и что можно устроить такой брак, при котором Линар будет пользоваться полной свободой, и в заключение намекнул, что в этом случае самой подходящей невестой может быть Юлиана, а самой пригодной посредницей – баронесса Шенберг, с которой, если угодно ее высочеству, он и возьмется переговорить по этому щекотливому вопросу, так как она очень дружна с графом Линаром. К этому Остерман добавил, что баронесса, как умная и ловкая женщина, сумеет повести это дело чрезвычайно искусно.

Под влиянием уговариваний со стороны Шенберг Юлиана успокоилась, и на ее доб-

ром, откровенном личике блеснула, как солнышко после умчавшейся тучи, беззаботная улыбка. Она засмеялась и принялась усердно дуть в носовой платок и прикладывать его к покрасневшимся глазам, чтобы уничтожить следы недавних слез. Баронесса воспользовалась этой переменной и завела с ней веселую речь о своих приключениях в большом свете.

Между тем в соседней комнате слышались шаги правительницы, которая, увидя через полуотворенную дверь, что Юлиана не одна, стала вызывать ее к себе рукой. Забыв горе, досаду и гнев, Юлиана бросилась к Анне, крепко охватила ее около шеи и вдруг снова громко разрыдалась.

– О чем, дурочка, плачешь? – ласково сказала правительница. – Полно, перестань, стыдно.

– Ты меня от себя гонишь, а мне что же делать – неужели смеяться? – с укором возразила Юлиана.

– Я была взволнована, прости меня, что я так неприветливо встретила тебя. Мне надобно было поговорить с Остерманом... – уступчиво сказала правительница.

– И я знаю, о чем ты говорила с ним!  
– О чем же, например?..  
– О моей свадьбе с Линаром, – шепнула на ухо Анне Юлиана.

Анна Леопольдовна пошатнулась и с удивлением взглянула на Юлиану.

– Я все, все расскажу тебе без утайки, – то ропливо проговорила она, сжимая крепко руку девушки. – У тебя в гостях баронесса Шенберг? Попроси ее ко мне.

Юлиана исполнила это приказание.

С почтительными реверансами представилась баронесса правительнице.

– Я очень рада, – сказала она г-же Шенберг, – что встретила вас совершенно неожиданно у моей милой Юлианы. Я распорядилась, впрочем, еще вчера о посылке к вам особых приглашений ко мне на обеда и на вечера. Надеюсь часто видеть вас у себя и прошу извинить меня за мою прежнюю забывчивость...



## XXIX

**В** XVIII веке европейская дипломатия, не оставшая еще и до сих пор от происков, интриг и таинственности, весьма усердно занималась соглядатайством или, проще сказать, шпионством за всем, что происходило при дворе и вообще в том государстве, куда она посылала своих искусных, изящных представителей. Подкуп лиц, управлявших государственными делами или имевших на них влияние, разделение этих лиц на враждебные партии, обманы, заведомо ложные обещания и приторная лесть были обычными орудиями дипломатов прежней школы, и для такого образа их действий Россия в половине прошлого столетия представляла едва ли не самую удобную местность. В ту пору иностранные послы, находившиеся в Петербурге, успевали влиять не только на внешнюю политику русского кабинета, но и на ход наших внутренних событий. Такой деятельностью отличался в особенности приехавший 15-го декабря 1739 года в Петербург французский посланник, маркиз де ла Шетарди, молодой, ловкий, ост-

роумный, лукавый, двуличный, обворожительный в обществе и умевший превосходно расставлять сети и устраивать западни соответственно расчетам версальского кабинета. Приехал маркиз на берега Невы с блистательной и роскошной обстановкой. Его сопровождала многочисленная свита, состоявшая из двенадцати кавалеров посольства, одного секретаря, восьми духовных лиц и пятидесяти пажей. Кроме свиты при нем было: шесть поваров, в числе которых один пользовался европейской известностью, а также множество камердинеров и ливрейных лакеев. Не забыл маркиз позаботиться и по части своего гардероба: платья, которые он вез с собой, были самые великолепные, такие, каких еще не видывали в Петербурге. Огромный багаж посла дополнялся сотней тысяч бутылок самых тонких французских вин, между ними было шестнадцать тысяч восьмьсот бутылок шампанского. Отъезжая в Петербург с такой свитой и с такими запасами, маркиз, по его словам, хотел показать там, что значит Франция.

Отправка в Россию великолепного и многочисленного посольства возбудила разные

толки и догадки в европейских газетах, так как настоящая его цель была известна только самому малому числу лиц, вполне посвященных в тайны тогдашней французской политики. Между тем настоящей задачей Шетарди было: удержать Россию от покровительства Австрии на случай войны с ней Пруссии и убедить петербургский кабинет сделать некоторые уступки Швеции – этой постоянной и искренней союзнице Франции. Вообще же ему поручено было сеять в России раздоры и беспокойства для того, чтобы отвлечь внимание петербургского кабинета от европейской политики. Для маркиза было теперь такое время, что оказывалось необходимым вести интриги в этом направлении. Под влиянием графа Линара правительница стала на сторону Австрии против Пруссии и не желала делать никаких уступок Швеции, следуя в этом случае и внушениям графа Остермана, который, как один из главных участников в подписании ништадтского трактата, дорожил неприкосновенностью этого договора. Видя, таким образом, безуспешность своих попыток у правительницы, маркиз обратился в

противоположную сторону: он постарался сблизиться с цесаревной Елизаветой Петровной, считавшейся чрезвычайно приверженной к Франции, и затем сообща с шведским посланником Нолькеном убеждал ее уступить шведам – в случае осуществления ее домогательств на русский престол – те из шведских областей, которые достались России при Петре Великом. Из депеш маркиза Шетарди видно, впрочем, что цесаревна, не отвергая помощи, которую ей для достижения ее целей предлагала Швеция, уклонялась, однако, от выдачи какого-либо письменного обязательства в том смысле, что она уступит Швеции хотя бы малейшую часть из завоеванных ее отцом земель. Маркиз, однако, не терял надежды добиться желаемого, и потому деятельно интриговал в пользу Елизаветы и во вред правительнице, от которой, как он убедился окончательно, нельзя было ожидать ничего иного, кроме самого решительного и упорного отказа.

Необходимое, однако, в настоящем случае сближение Шетарди с цесаревной представлялось делом нелегким.

«Поверите ли вы, – доносил он в Париж Людовику XV, от 9-го апреля 1740 года, – что стеснение в Петербурге развито до такой степени, и иностранные министры, мои предшественники, так поддались ему, что никто из них не бывал у великих княжон? Воспользовавшись предлогом, которого я искал, а именно тем, что они были нездоровы, – я решился отправиться к ним с визитом, и эта попытка для всех показалась новостью, обратившей на себя внимание, так что великие княжны, Елизавета и Анна, отдалили мое посещение для того, чтобы иметь время узнать насчет этого мысли царицы. Когда же они меня принимали, то г. Миних, брат фельдмаршала, находился у той и у другой, чтобы быть свидетелем всему происходившему. Это, – продолжает Шетарди, – вовсе не помешало мне выразить громко великим княжнам, так же как и герцогине Курляндской, надежду, что они дозволят мне от времени до времени являться к ним свидетельствовать мое почтение, и я тем менее пропущу это, что заведенный до сих пор обычай не более как остаток рабства; подчиняться же ему с моей стороны было бы

столько же неуместно, сколько важно изгнать такой предрассудок бережно и осторожно».

При представлении цесаревне маркизу Шетарди, несмотря на присутствие при этом (в лице гофмаршала Миниха) шпиона, удалось высказать «тихо и кратко», что если он не мог выполнить прежде перед ней своего долга, то это произошло только от желания выполнить его как можно проще и естественнее. Она, как замечает Шетарди, поняла это, и так как над ней, добавляет он, преимущественно тяготееют стеснения, то она потом говорила, что была чрезвычайно тронута моим вниманием.

Сближаясь с цесаревной, Шетарди, кроме явных свиданий, имел с ней еще и тайные, а также вел переговоры с цесаревной при посредстве состоявшего при ней хирурга Лестока и через жену придворного живописца Каравака. При одном из свиданий Елизавета заметила маркизу, что здоровье младенца-императора ненадежно, что он легко может умереть и что тогда на некоторое время скроют его кончину для того, чтобы подготовить

вступление на престол самой Анны Леопольдовны. Цесаревна прибавила, что ввиду этого она старается бывать как можно чаще во дворце, дабы знать в подробностях все, что там делается, и в заключение просила маркиза обратить внимание на высказанное ему ею опасение. Следуя ее внушению, маркиз заявил правительнице свое желание иметь у императора аудиенцию, но Анна Леопольдовна под разными предлогами старалась отклонить его от этого. Уклончивость правительницы еще более усиливала настойчивость маркиза. Он продолжал требовать аудиенции у самого императора, на что ему отвечали: «Это невозможно, ребенок будет кричать и может от того заболеть, и притом в каком положении будет он во время аудиенции? Мамка подержит его на руках, он расплачется — тем все дело и кончится». Упрямый дипломат не прекращал, однако, своих настояний, и ему, наконец, объявили, что желаемая им аудиенция будет дана, но затем сообщили, что предположение это состояться не может, так как у его величества прорезываются зубы. Оскорбленный этим Шетарди выразил свое

неудовольствие тем, что перестал являться ко двору и в то же время продолжал посылать к Остерману ноты, в которых объяснял ему, что представители его наихристианнейшего величества короля французского всегда имеют торжественные аудиенции непосредственно у царствующих особ, а не у заменяющих их лиц, несмотря на то, кто бы эти лица ни были. Переписку свою с Остерманом маркиз подкреплял ссылками и на Гуго-Гроция и на Пуфендорфа, а также на обычаи, принятые в дипломатическом мире, присовокупляя ко всему этому философские воззрения на исключительное значение особы государя и на положение состоящих при нем представителей иностранных дворов. Особенно сильно поддразнивало Шетарди то обстоятельство, что австрийский посланник, маркиз Ботта ди Адорно, пользовавшийся благосклонностью правительницы, удостоивался чести видеть малютку-императора, хотя и в частных аудиенциях, и потом не без хвастовства рассказывал об этом среди своих сотоварищей-дипломатов. Посол французского короля считал себя крайне обиженным этим; он заключал, что



Австрия взяла при петербургском дворе перевес перед Францией, между тем как одной из главных его задач было ослабить здесь влияние венского кабинета. Маркиз волновался, выходил из себя и теперь на неудовлетворение своего требования – видеть императора он уже смотрел не только как на невозможность исполнить данное ему цесаревной поручение, но и как на чрезвычайно важный международный вопрос, от разрешения которого зависело поддержание или ослабление во всей Европе высокого мнения о достоинстве и чести Франции, представляемой маркизом при русском дворе.

После долгих препирательств настоятельные хлопоты Шетарди увенчались, наконец, желаемым успехом, так как ему решились показать императора.

Утром, в день, назначенный для торжественной аудиенции, собрались по повесткам в Зимний дворец придворные и высшие чины; туда же явился и маркиз со своей многочисленной и блестящей свитой. Он теперь торжествовал, свысока окидывая всех гордым взглядом победителя. В тронной зале был по-

ставлен рундук, обитый алым сукном, а на нем стол, покрытый пунцовым бархатом с золотой бахромой и с такими же кистями. Против стола, установленного перед тронном, разместились, в виде полукруга, с одной стороны русские сановники и придворные кавалеры, а другая сторона, назначенная для посольской свиты, оставалась пока никем не занятой. На нижней ступени трона стояла в великолепном уборе с андреевской лентой через плечо правительница, а несколько поодаль от нее, по обеим сторонам трона, расположились придворные дамы. Вся эта группа блестела серебром, золотом, жемчугом и драгоценными камнями, белела кружевами, шумела бархатом и шуршала парчой и шелком. Кормилицу, в богатом русском наряде, с младенцем-императором, положенным на подушку, покрытым золотой порфирой, одетым в платье, нарочно сшитое для этого случая его матерью, поставили у стола, прямо перед главным входом. Она заботливо успокаивала ребенка, и среди глубокого молчания, водворившегося в зале, слышался только обычный и теперь самый тихий напев мамки: ши, ши,

ши...

Когда все было готово, на середину залы выступил пышно разодетый и величавый собой обер-гофмаршал, граф Левенвольд, с длинным золотым жезлом в руке и с бантом из кружев и разноцветных лент на левом плече. Поклонившись низко императору, преспокойно перебирававшему ручонками бусы, надетые на шее его мамки, Левенвольд отдал глубокий поклон правительнице и доложил ее высочеству, что его превосходительство господин «маркиз де ла Шетардий», посланник его наихристианнейшего величества, короля Французского и Наваррского, желает иметь счастье представиться его величеству императору и самодержцу всероссийскому.

Правительница приказала обер-гофмаршалу ввести маркиза в аудиенц-залу.

Двери широко растворились, и в зале показался сопутствуемый своей свитой посланник. Он поразил всех роскошью и изысканностью своего наряда. На нем было платье из серебряной ткани, расшитое золотом, он блеснул бриллиантами и, словно щеголиха-женщина, тонул в тончайших кружевах своего

белого жабо. С вычурной грациозностью, усвоенной на уроках знаменитейших парижских балетмейстеров того времени, выступал маркиз, легко вскидывая вперед и затем вытягивая ноги, охваченные бело-серебристыми шелковыми чулками, обутые в длинные тупоносые на высоких каблуках башмаки, с большими бриллиантовыми пряжками на бантах из белых лент. Сделав таких три шага, приведших в восторг наших модниц и модников, маркиз остановился и, прижимая к груди свою треуголку с золотым галуном, белым плюмажем и бриллиантовым аграфом, ловко проделал ногами что-то вроде антраша и затем почтительно поклонился императору.

Молодуха-кормилица, которой забыли внушить правила этикета, отвечала маркизу поклоном в пояс.

Сдержанный смех пробежал по залу. Левенвольд вспыхнул от досады и начал делать кормилице руками и глазами предостерегательные знаки, которые, однако, были понятны ей совершенно в ином смысле. Поэтому, чем ближе подходил маркиз, чем изящнее и почтительнее справлял он свои поклоны и

чем плотнее прижимал к своей груди треуголку, тем ниже и ниже отвечивала ему в свою очередь поклоны простодушная молодуха, представлявшая теперь первенствующую особу в этой торжественной церемонии.

Остановившись в некотором расстоянии от императора, маркиз разразился потоком цветистого красноречия. Уверяя менее чем годовалого малютку-императора в неразрывной дружбе своего с лишком тридцатилетнего августейшего повелителя, он заявлял настойчиво, что «дружба» обоих великих монархов послужит ручательством за поддержание спокойствия в Европе и залогом благоденствия обоих могущественных, дружественных между собой народов. На напыщенную речь посла отвечал вице-канцлер граф Головкин, разумеется, в таком же смысле и с оттенками той же искренности и уверенности, какими отличалась речь маркиза.

После этого правительница сошла со ступени трона и пригласила маркиза приблизиться к императору. Шетарди только и желал этого для того, чтобы, исполняя поручение Елизаветы, взглядеться попристальнее в

личико ребенка и заметить, нет ли на нем каких-нибудь особых примет. Но едва с этой за-таенной целью посол близко нагнулся к императору, как малютка, протянув свои пухленькие и цепкие ручонки, выразил явное и твердое намерение сцапнуть представителя Франции за его великолепно взбитый парик. В сильном испуге щеголеватый маркиз сделал в сторону отчаянный пируэт, сообразив сразу, какой всеобщий смех возбудила бы эта затея его величества, если бы она удалась, а малютка между тем, видя свою неудачу, разревелся на весь зал.

– Вас предваряли, господин маркиз, – улыбувшись, сказала на правильном французском языке Анна Леопольдовна, – чем может кончиться аудиенция у этого маленького шулуна. Надеюсь, впрочем, что вы извините нас как за это, так и за другие, быть может, замеченные вами отступления от строгих правил этикета. У нас такая церемония происходит в первый раз. – Говоря это, правительница приняла от мамки плаксу и, взяв его рукой за обе щечки, начала целовать со всей нежностью молодой матери.

Расшаркиваясь и раскланиваясь, маркиз рассыпался перед правительницей в самых утонченных любезностях и затем вышел из зала, горделиво неся голову, украшенную модным париком, который остался на месте благодаря только ловкой увертливости своего владельца...

Ранней весной 1741 г. на то место, где ныне находится Михайловский, или Инженерный, замок, стали возить строительные материалы, и в городе заговорили о намерении правительницы, разобрав старый деревянный Летний дворец, выстроить новый. Дворец этот должен был находиться среди Летнего сада, который был тогда чрезвычайно обширен, занимая в длину все пространство от Невы до Невского проспекта и в ширину от Мойки до Фонтанки. Он был разведен в 1711 г. Петром Великим по нарисованному им самим плану. В то время Голландия славилась своим садоводством, и государь, вообще любивший эту деятельную страну, заимствовал от нее образец для устройства дворцового, а вместе с тем и общественного сада в своей новой столице.

Люди из партии цесаревны Елизаветы, зорко следившие за каждым шагом правительницы, не пропустили случая распространять неблагоприятную для Анны Леопольдовны молву и по поводу возводимой постройки.



К новому Летнему дворцу примыкал дом Румянцева, в котором жил граф Линар, и обстоятельства этого было достаточно для возникновения догадки, что правительница желает быть как можно ближе к предмету своей страстной любви. Маркиз де ла Шетарди сообщал об этом, как о важном факте, в Париж, прибавляя, что во вновь строящемся Летнем дворце правительница желает проводить время свободно среди приятного уединения. Он передавал также, что по ее приказанию в так называвшийся тогда «третий» сад запрещено было входить кому бы то ни было, кроме фаворитки правительницы Юлианы Менгден и графа Линара. По рассказу маркиза, Елизавета Петровна захотела проверить эту молву, отправившись в «третий» сад, и гнев ее не знал пределов, когда от приставленных ко входу в этот сад часовых она узнала, что отданный правительницей приказ распространяется и на ее особу.

Около того же времени раздор молодой четы становился все сильнее и сильнее. Юлиана забирала все большую и большую власть над своей подругой-правительницей и, питая

какую-то слепую ненависть к принцу Антону, старалась на каждом шагу выразить ему это чувство. Когда принц приходил к своей жене, Юлиана не пускала его к ней, и если его высочество начинал горячиться и доказывать свои супружеские права, то бойкая фрейлина, не входя с ним ни в какие рассуждения по этому щекотливому предмету, просто-напросто захлопывала дверь перед самым его носом, и принц, вместо звонкого голоса молодой девушки, слышал только, как щелкал замок, проворно запираемый Юлианой. Растерянный и раздраженный муж оставался ни при чем перед запертой дверью; сперва он пытался толкнуть ее, думая, что она уступит его усилиям, потом постукивал легонько пальцем, надеясь смирением смягчить Юлиану; после того заглядывал в замочную скважину, и в конце концов, убеждаясь, что все попытки будут напрасны, удалялся, раздосадованный в особенности тем, как сперва он догадывался, а потом уже и наверно знал, — что супруга его ведет в это время приятную для нее беседу с его соперником графом Линаром. Дело доходило до того, что муж и жена

не виделись теперь по целым неделям и не было никакой надежды на их сближение.

Однажды, во время прогулки генералиссимуса по Летнему саду, его захватил внезапно проливной дождь и он, желая поскорее укрыться, направился ближайшей аллеей ко дворцу, рассчитывая пройти через «третий» сад. Ему, однако, не удалось сократить дорогу. Лишь только он подошел к воротам этого сада, намереваясь пройти через них, как стоявшие здесь на карауле часовые, отдавшие ему при его приближении подобающую воинскую почесть, скрестили перед ним штыки. Принц в изумлении остановился.

– Разве ты меня не знаешь? – спросил принц у часового.

– Как не знать, ваше императорское высочество! – бойко проговорил преображенец.

– Так отчего же ты меня не пропускаешь?

– Приказ от начальства вышел – не пропускать сюда вас, а больше ничего знать не можем.

– Что ж, вы так меня и не пропустите? – спросил часовых решительным голосом генералиссимус, полагая, что тут есть какое-ни-

будь недоразумение.

– Не пропустим, ваше императорское высочество, – проговорили оба они разом. – Приказ такой от начальства вышел...

– Молодцы вы, ребята, – сказал принц, желая дать иной оборот этому прискорбному для него случаю. Службу вы хорошо знаете, исполняете как следует приказ вашего начальства. Так и надлежит по воинскому артикулу поступать... Скажу об этом вашему командиру.

– Рады стараться, ваше императорское высочество! – гаркнули преображенцы.

– Пропустим только тех, кого особ-статьей пропускать велено, – добавил один из них, ободренный похвалой принца и полагая заслужить еще большую от него похвалу за точное знание обязанностей по караулу.

Такая добавка окончательно смутила принца, и он вне себя круто повернул в сторону.

Через несколько дней после этого принцу удалось не только попасть в комнату своей супруги, но и получить от нее приглашение к обеду. После обеда он завел речь о случае,

бывшем с ним в Летнем саду во время прогулки. Хотя принц заявил об этом под видом желания похвалить дисциплину, господствующую в войске, но тем не менее он имел надежду, что не разъяснится ли как-нибудь такой странный запрет, не обнаруживая, впрочем, что его интересует именно эта сторона дела. При самом начале этого рассказа принца гневный огонек блеснул в глазах молодой женщины.

– Я сама отдала такой приказ, – сказала она, – при моих постоянных трудах мне необходимо отдых и совершенное уединение. Я желаю пользоваться и тем, и другим и, кажется, имею на то полное право?

При этих словах принц, сдерживая охватившее его волнение, только откашлялся.

– Кажется, вы, ваше высочество, со мной несогласны, – продолжала Анна Леопольдовна, и в ее вопросе слышалось желание вызвать принца на противоречие.

Он, однако, промолчал и на этот раз.

– Те люди, которые привыкли никогда ничего не делать, – сказала правительница, обращаясь к сидевшей подле нее Юлиане, – не

имеют никакого понятия об усталости: для них беспрестанно бывает отдых...

– Я не могу принять это замечание на свой счет, – задыхаясь и в сильном раздражении, заговорил принц. – По повелению вашего высочества, я имею немало занятий и в войске, и в сенате, и в военной коллегии, и я полагаю...

– А, так вы тяготитесь вашей службой! – с живостью перебила правительница таким тоном, который не допускал со стороны принца никаких возражений. – Я очень рада, что наконец узнала об этом; завтра же я поступлю так, как поступил с вами герцог Курляндский, я уволю вас вовсе от службы... на ваших местах будут люди, которые станут служить императору с большим усердием, нежели вы...

Принц побледнел.

Видя, что Анна Леопольдовна отлично справится с мужем, Юлиана встала и пошла на террасу, выходящую в сад. Там начала делать рукой предупредительные знаки, удерживая ими Линара, который из потайной калитки, выходящей во двор занимаемого

им дома, пробирался теперь к Анне Леопольдовне.

Принц, озадаченный угрозой жены, молчал, а между тем молчание его выводило Анну Леопольдовну из терпения. Ясно было, что она хотела с ним ссориться.

– Вы, вероятно, не расслышали, что я сказала вам? Или, быть может, вы полагаете, что я говорю в шутку... – сказала она, обращаясь к мужу.

Принц взялся за шляпу.

– Оставайтесь, мне нужно поговорить с вами, – повелительным голосом сказала правительница.

– Я сам желал бы доложить вам... – пробормотал принц.

– О чем?..

– О цесаревне Елизавете... она...

– Как вам не стыдно, принц! – с резким укором вскрикнула правительница, – выбрать для себя такого рода унижительное занятие – сплетничать и ссорить между собой двух женщин... Это вовсе не дело генералиссимуса... – добавила она.

– Я не вижу в этом никаких сплетен и, до-

кладывая вам о замыслах цесаревны, полагаю, что исполняю этим мои обязанности, – робко пробормотал принц.

– Раз навсегда прошу ваше высочество не вмешиваться в мои дела. В этом отношении, как вы должны были бы помнить, вам однажды был дан хороший урок герцогом Курляндским... Я, впрочем, сумею устроить дело так, что все интриги и происки, с чьей бы стороны они ни велись, будут совершенно напрасны...

Принц, не говоря ничего, пожал от удивления плечами и, поклонившись жене, вышел из комнаты.

Юлиана заметила его уход.

– Теперь можете, граф, идти к нам, – весело кричала с террасы девушка, махая платком. – Мориц сюда идет! – предварила она через двери свою подругу.

Гнев Анны Леопольдовны мгновенно прошел.

«Что за охота ему, – думала она о своем муже, – мешаться в мои дела, ведь я предоставила ему полную свободу; пусть же он оставит меня в покое, а то всякий раз сердит меня, а



потом мне становится досадно, что я погорячилась. Жаль мне его, но что делать, если мы не можем сжиться друг с другом?.. Не моя в том вина, я никогда не хотела идти за него замуж...»

Вошел Линар. На этот раз с ним шла у правительницы долгая и серьезная беседа, а после этого она потребовала к себе вице-канцлера графа Головкина, начавшего с некоторого времени пользоваться особенной ее благосклонностью. Совещение с Головкиным было очень продолжительно, и он на другой день по приказанию Анны Леопольдовны привез ей описание обрядов коронавания императриц Екатерины I и Анны Иоановны...

Все лето 1741 года правительница провела в столице в новом Летнем дворце, не уезжая на некоторое время в Петергоф, чего не бывало прежде, при императрице Анне Иоановне. Ежедневным и постоянным ее собеседником был граф Линар. До какой степени ни считали бы Анну Леопольдовну виновной в неверности мужу, нельзя, однако, не сказать, что выбор Линара показывал не столько ее ветренность, сколько готовность любить постоянно и быть страстно привязанной к тому, кого однажды избрало бы ее сердце, но не того, кто был дан ей в спутники жизни против ее воли. Выходя замуж за принца Антона, девушка не скрывала отвращения, какое чувствовала к своему жениху, в этом отношении она оставалась верна самой себе и после брака. С своей стороны принц не умел приобрести над ней никакого влияния, и она, достигнув независимости, променяла его на Линара, – на человека совершенно иного склада, нежели принц. Линар, хотя и был замечательный красавец, но сравнительно с Анной оказывался доволь-

но пожилым мужчиной, шестнадцатью годами старше ее. Независимо от сердечной страсти, правительницу привлекали к нему те блестящие качества, каких она не находила в своем супруге. Ее пленял живой и смелый ум Линара; ей нравились его твердый характер, его обширное и разностороннее образование; ее поражали новизна и смелость его суждений, основанных на проницательности и наблюдательности, так что и помимо грешной любви, она, сойдясь с ним однажды, должна была бы попасть под неотразимое влияние его умственной силы. Но эти-то качества Линара и возбуждали всего более опасений и неприязни к нему в лицах, окружавших великую княгиню. Если бы вместо Линара был близок к ней какой-нибудь молодой вертопрах, красавчик, увлекший правительницу только пылкой, мимолетной страстью, то любовь к нему Анны, вызывая в обществе легко прощаемое осуждение, не возбуждала бы такого всеобщего неудовольствия, какое вызывала близость ее к Линару. Все заговорили теперь, что здесь уже не та любовь, которая, остывая постепенно, переходит в холодность

и затем вскоре кончается совершенным равнодушием к тому, кто был прежде предметом самой восторженной страсти. Ясно было, что давнишняя любовь Анны к Линару обратится в постоянную привязанность, что при такой привязанности правительница будет находиться в полной власти своего любимца, который, оттеснив мало-помалу всех, станет под ее именем править государством по своему произволу. Все догадывались насчет такого исхода взаимных отношений между Анной и Линаром, и потому слышавшийся прежде глухой ропот по поводу сближения с ним правительницы раздавался все громче и громче по мере того, как привязанность к Линару правительницы усиливалась заметнее. Теперь имя Линара делалось ненавистно, не как мужчины, господствующего над сердцем молодой женщины, но как временщика, готовящегося захватить всю власть в свои смелые руки.

– Видно, опять нами будет распоряжаться непрошенный немец, – заговорили в войске.

– Видно, опять на наш счет будет разжигаться выскочка-иноземец, – твердили недо-

вольные. И такие речи находили всюду отголосок, возбуждая общее неудовольствие против правительницы.

Сторонники цесаревны Елизаветы не упускали случая подбивать всех, кого только было можно, против Линара, очень хорошо понимая, что враждебные к нему чувства русских неминуемо должны будут отражаться и на Анне Леопольдовне. Между тем тайная канцелярия не действовала уже с прежней строгостью и чуткостью, так как шпионство и крутые меры были не по душе доброй Анне Леопольдовне.

Сама правительница, беспечная и неосмотрительная, поступала так, как будто она не только не желала прекратить враждебные о ней толки, но как будто нарочно хотела еще более усилить их. Народ, впрочем, не был нисколько ожесточен и раздражен против нее лично, но она, не показываясь никогда среди него, вселяла тем самым к себе полное равнодушие, тогда как, наоборот, соперница ее, Елизавета, делала все, чтобы приобрести доброе к себе расположение среди простонародья. В то же время и гвардия, за

исключением немногих горячих приверженцев правительницы, не выказывала к ней особенной преданности, явно выражая это чувство Елизавете, расщедривавшейся к солдатам выше своих средств.

Анна Леопольдовна не заботилась ни сколько о том, чтобы скрывать свои отношения к Линару. Разлад ее с мужем был известен всем; рассказы о таинственном назначении «третьего» сада распространялись по всему городу. Обнаруживались и другие соблазнительные поступки молодой женщины, несомненно умной и от природы не склонной к разврату...

Рассказы обо всем этом быстро, а вдобавок с разными преувеличениями и прикрасами, переходили от одного к другому, и прежняя молва об Анне Леопольдовне, как о женщине стыдливой и скромной, заменилась совсем иным говором.

– Как ни тяжело было при Анне Иоановне, из-за проклятого Бирона, – толковали теперь русские, – но все-таки не было того, что делается ныне: разве мы можем знать, чьим делам впоследствии будем служить, если не ста-

нет нынешнего государя?..

В этих немногих словах произносилось ужасное осуждение над правительницей. Видно было, что русские легче мирились с суровым гнетом, господствовавшим в царствование Анны Иоановны, нежели с супружеской неверностью ее племянницы, правление которой было кротко и милостиво.

Между тем, несмотря на свое ничтожество, принц Антон своей простотою и обходительностью начал приобретать в войске расположение, и вот стала ходить глухая молва, будто Остерман, видя то опасное положение, в каком находится правительница, и не надеясь поддержать ее власть, намеревается заменить Анну Леопольдовну принцем Антоном и даже провозгласить его императором, если только он, отрекшись от лютеранства, перейдет в православие. Таким образом, шаткой власти Анны Леопольдовны начинала грозить еще новая опасность со стороны хотя и самого близкого ей, по-видимому, человека, но в то же время настолько уже отчужденного от нее ею же самой, что не было бы ничего удивительного, если бы он стал, наконец, в

ряды ее врагов.

Однажды во дворцовом карауле стоял капитан семеновского полка, один из самых усердных приверженцев цесаревны Елизаветы и на которого по этому поводу падало сильное подозрение, так что он каждый день должен был ожидать преследования и допроса. Принц велел позвать его к себе. Капитан, хотя и храбрый воин, струсил, однако, при такой неожиданности.

– Что с тобой? – спросил принц капитана в присутствии других, – я слышал, что ты грустишь. Разве ты чем-нибудь недоволен?

Капитан отвечал принцу, что он имеет к тому уважительные причины и что он действительно впадает иногда в глубокое, невыносимое горе. Он рассказал при этом генералиссимусу, что у него на руках большая семья, которую он с трудом содержит, так как у него нет ничего, кроме маленького имения около Москвы, от которого он не получает почти никаких выгод, потому что, находясь на службе в Петербурге, не имеет возможности хозяйничать сам.

– Я ваш полковник, – начал принц, выслу-



шав горевавшего капитана, – и желаю, чтобы вы все были счастливы и сделались моими добрыми друзьями. Обращайтесь ко мне с полной доверенностью и будьте уверены, что я всегда буду поступать так, как поступаю теперь.

С этими словами принц подал изумленному капитану кошелек, в котором лежало триста червонцев, и просил его принять эти деньги как дружеский подарок.

Одобрительный говор о таком поступке принца не замедлил, разумеется, распространиться по всей гвардии, и молва о щедрости и ласковом обращении принца дошла в тот же день до сторонников цесаревны и до нее самой. И они, и она увидели теперь, что принц в отношении к гвардейцам начинает поступать так, чтобы отвлечь их от цесаревны, которая, в свою очередь, подумала, что принц может действовать таким образом не иначе, как только с согласия правительницы, и что при этом условии он будет иметь в своем распоряжении большие суммы, тогда как при постоянном безденежье Елизаветы ей невозможно будет тягаться в щедрости с супругом

Анны Леопольдовны. Все приверженцы цесаревны заволновались, засуетились при мысли, что если дело пойдет так далее, то шпаги и штыки гвардейцев легко могут оказаться на стороне правительницы и оградить ее власть от всяких злоумышленных покушений.

Но если принц начал действовать на гвардейцев или с расчетом приобрести их преданность в пользу правительницы, или только в личных своих видах, то сама она поступала по-прежнему, отдаляясь все более и более от всяких непосредственных сношений с гвардией, и в то же время, отвлекаемая постоянными беседами с Линаром, начала реже и небрежнее заниматься государственными делами, влияние на которые со стороны ее любимца становилось все сильнее, почему и заговорили, что вскоре все будет зависеть от него одного, что все будет делаться только по его желанию. Министры и царедворцы, ненавидя его в душе, спешили, однако, наперерыв раболепствовать перед ним и угождать ему на каждом шагу, так что Линар из посланника иностранной державы начал постепенно превращаться в будущего полномочного пра-

вителя империи. Любовь, привязанность и доверие молодой женщины открывали теперь этому чужеземцу широкую дорогу к безграничной власти над русским народом, и не было никакого сомнения, что Линар воспользуется благоприятными для него обстоятельствами с жадностью умного и смелого честолюбца.

Безгранично предавшись Линару, правительница, казалось, забывала обо всем, к чему обязывало ее исключительное, первенствующее положение ее в государстве. В ней окончательно замерло стремление к власти, которую она, как тяжелое бремя, собиралась передать избраннику своего сердца. Заботы о делах государственных утомляли; врожденная ее беспечность проявлялась резко во всем, начиная с важных дел и кончая мелочами домашней жизни. Доклады министрам назначались все реже и реже, разговоры с ее ближайшими сотрудниками о политике и внутренних порядках в государстве не представляли для влюбленной женщины ничего занимательного. Ее развлекало чтение Линаром вслух потрясающих немецких драм и

сентиментальных романов; ее занимали то веселые, то серьезные его беседы, и подолгу заслушивалась она его приятно затрагивавшего душу пения с аккомпанементом клави-корд.

Теперь для правительницы осуществилась та жизнь, о какой мечталось в то время, когда Миних предлагал ей корону, которую она торопливо отвергла, всегда, впрочем, готовая променять и блеск, и величие, и славу на любовь и на тихую, спокойную жизнь с тем, кто ей был мил и дорог.

Чуждаясь большого общества, Анна Леопольдовна ограничивалась небольшим избранным кружком, в который, нужно сказать это к чести молодой женщины, открывали доступ ум и образование. Пышные наряды, модная прическа, корсет и фижмы она считала для себя невыносимой пыткой. Обыкновенно она повязывала голову белым платочком и в самой простой домашней одежде являлась к обедне в придворную церковь, в публике и за обедом, возбуждая этим насмешливую болтовню придворных. После обеда она садилась играть в карты. Постоянными и любимыми

ее партнерами были: Линар, маркиз Ботта, английский посланник Финч и брат фельд-маршала Миниха. Прочие иностранные посланники, а также и придворные сановники никогда не допускались в эту партию, которая собиралась в комнатах Юлианы; исключение бывало, да и то редко, для принца Антона, если только он почему-либо успевал на короткое время заслужить особое расположение супруги.

Так и проводила правительница время в эту пору, которая, казалось, была самыми счастливыми днями ее жизни – теперь исполнилось то, о чем она прежде постоянно мечтала.

В современных сказаниях об Анне Леопольдовне встречаются сведения, намекающие на причины, по которым она так страстно любила Линара, но в сказаниях этих не находится никаких объяснений той необыкновенной привязанности и той изумительной дружбы, какими отличались отношения правительницы к фрейлине Юлиане Менгден. В свою очередь, молодая девушка платила Анне за ее привязанность и дружбу безграничной преданностью и готова была для нее пожертвовать всем. Несмотря на разность их положения, Юлиана являлась, однако, личностью как бы преобладающей над правительницей, и можно было сказать, что не фрейлина была в зависимости от своей повелительницы, а скорее наоборот. Юлиана, ровесница и подруга детских игр принцессы, была предметом самой нежной заботливости со стороны Анны, доверию которой к ней не было границ, и она, по своему усмотрению, распоряжалась образом жизни правительницы. Обе они сходились как нельзя более в главных чертах ха-

рактера: обе они были вспыльчивы, но зато и добры, доверчивы, своенравны, впечатлительны и беспечны. Была, впрочем, между ними и резкая разница: Анна Леопольдовна была постоянно задумчива и печальна, тогда как Юлиана олицетворяла собой веселость и резвость. Часто и подолгу, в молчании и в грустном раздумье, сживала Анна, тогда как Юлиана щебетала без умолку, и звонкий ее смех заглушал тяжелые вздохи ее подруги. Анна Леопольдовна была беспечна собственно под влиянием равнодушия, но ее все-таки смущали порой страшные предчувствия, ее мучила неодолимая тоска, и без особых внешних побуждений у нее не проявлялось ни бодрости, ни решительности. Совсем иного рода была беспечность молодой девушки: жизнь ей казалась так легка и так хороша, что она не видела никакой надобности задумываться над чем-нибудь. Мало того, она готова была махнуть ручкой на всякую угрожавшую ей беду в полной надежде, что все пройдет благополучно и что все дурное устроится как нельзя лучше. В тревожные для правительницы часы, когда Анна, преодолевая обычную

свою беспечность, готова была встрепнуться, стряхнуть одолевавшую лень и сделать решительный шаг, Юлиана отвлекала ее от забот своей веселой болтовней, внушая, что напрасно она волнуется и тревожится и что незачем портить по пустякам жизнь какими-то вымышленными, не существующими на самом деле горестями. Тогда правительница делалась еще более беспечной, поддаваясь успокоительному влиянию своей подруги, к которой она, по словам английского резидента Финча, выказывала такую нежность, что в сравнении с этой нежностью показалась бы слишком слабым чувством самая пылкая страсть мужчины к женщине, в которую он только что влюбился до ослепления, до безумия.

Баронесса Юлиана фон Менгден, родившаяся 7 марта 1719 г., происходила из древней вестфальской фамилии, еще в XIV столетии поселившейся в Лифляндии. Имена ее воинственных предков очень часто мелькали в летописях тевтонского ордена, как имена мужественных бойцов не только с эстами и ливами, но и с русскими и поляками. Предки ее беспрестанно участвовали в тех битвах, в ко-



торых закованные с головы до ног в железо немецкие латники топтали наши дружины; они участвовали и в тех боях, где и мы, в свою очередь, беспощадно мяли горделивых меченосцев. Но настали иные времена, и семья Юлианы была семьей мирных лифляндских помещиков, не столько богатой наследственными замками, сколько представителями и представительницами своего старинного рода. Этих последних в той семье, к которой принадлежала Юлиана, было четыре, считая в том числе и ее саму. Будущность этих подрастающих милovidных немочек не предвещала ничего особенного: их ожидало супружество с каким-нибудь лифляндским дворянином, затем предстояли им тихая однообразная жизнь на уединенной мызе, вынянчивание производимых ими на свет Божий детей и постоянные, мелочные заботы и хлопоты по деревенскому хозяйству. Сообразно с таким скромным предназначением, родители этих девиц давали им неблестящее образование.

Вышло, однако, иначе. В царствование Анны Иоановны немцы были в большом ходу

при ее дворе, и государыня чрезвычайно охотно принимала в число своих фрейлин «благоурожденных» лифляндских девиц. Многих из них, желая обеспечить их будущность, привозили в Петербург еще в детстве, и между такими привозными девочками была Юлиана со старшей сестрой Доротеей и с младшими сестрами Якобиной, которую звали по-русски Биной, и Авророй. Доротeya вышла замуж за графа Миниха, сына фельдмаршала, – того самого Миниха, который разделял с Анной Леопольдовной все ужасы ночного предприятия своего отца против регента. Надобно также заметить, что находившиеся при русском дворе немцы или еще и прежде были родственниками между собой, или же роднились посредством браков, составляя таким образом одну партию, твердо сплоченную или родством, или близким свойством.

При дружеских отношениях, какие существовали между правительницей и Юлианой, не могли, конечно, остаться тайной те разговоры, которые, как уже знаем, велись о браке Линара с молодой девушкой, первый из них с Остерманом, а другой – с баронессой Шенберг.

Лишь только баронесса, после той беседы, во время которой так сильно была встревожена Юлиана, вышла за двери, как Юлиана, позабыв о неблаговидной привычке баронессы подслушивать, передала Анне с полным чистосердечием свою беседу с г-жой Шенберг. Оказалось, что при этом баронесса употребила следующий хитрый прием: высказав Юлиане, что она, Шенберг, полагается вполне на скромность молодой девушки, и заявив ей о том, что люди бывают болтливы некстати, баронесса передала фрейлине, будто бы частые посещения Зимнего дворца Линаром объясняют в обществе тем, что он страстно влюблен в Юлиану, и затем, шутя, добавила:

– И в самом деле, отчего бы вам не пойти за него замуж?.. – Таким ловким вступлением баронесса не только ограждала честь правительницы от всякого нареkania, но и показывала, будто ей самой ничего не известно об отношениях Анны к Линару.

– Что же ты сказала ей на это? – порывисто спросила правительница.

– Я промолчала.

– Почему же?

Юлиана не отвечала на этот вопрос и только взглянула на Анну с такой улыбкой, которой она как будто хотела сказать: «Странно, что ты спрашиваешь меня об этом, ты сама очень хорошо знаешь, почему я промолчала».

– Динар нравится тебе?.. – тихо и пытливо проговорила правительница в сильном волнении.

– Нет! – коротко и твердо ответила Юлиана, – мне никогда не может нравиться тот мужчина, который любит уже другую, – добавила Юлиана, насупив тоненькие брови над темными глазами, прикрытыми длинными ресницами.

– И ты не вышла бы за него замуж? – задыхаясь, спросила Анна.

– Нет, не вышла бы.

– А если бы это было необходимо? – с какой-то таинственностью промолвила Анна.

– Необходимо?.. – перебила изумленная девушка. – Для кого, однако, и почему это может быть необходимо?

– Например, хоть бы для меня...

– Для тебя?.. – с удивлением переспросила Юлиана, – ты, вероятно, так же шутишь те-

перь надо мной, как прежде шутила Шенберг. Должно быть, вы как-нибудь сговорились между собой, чтобы позабавиться на мой счет, – добавила она, засмеявшись.

– Нет, я говорю тебе не шутя, мне нужно будет или расстаться с Динаром, или... или... Как ни уклончиво, как ни хитро толковал со мной Остерман, но я могла понять, что близость ко мне Динара возбуждает вообще неудовольствие среди русских и что такое неудовольствие может кончиться гибельно для нас, а расстаться с Динаром я не могу... не могу ни за что на свете... – вскрикнула правительница с каким-то отчаянием.

– Для тебя, Анна, я готова на все... – прошептала Юлиана.

Правительница обняла Юлиану и крепко прижала ее к себе.

– Но, – начала Анна нерешительным, прерывающимся голосом, – при этом будет одно важное условие... решишься ли ты, милая Юлиана, принять его?.. Ты... ты должна будешь, как бы сказать это... уступить Морица мне... – Видно было, что правительница выговорила эти последние слова, сделав неимо-

верное усилие над собой. Она вся вспыхнула и, тяжело дыша, опустила вниз глаза в ожидании рокового ответа.

– Уступить тебе его?.. – с удивлением спросила Юлиана. – Значит, я не буду женой моего мужа?.. Он будет твоим лю... – Юлиана не договорила последнего слова и только слабым движением головы выразила свое несогласие...

– Но ведь ты его не любишь, ты не будешь ревновать его ко мне, а между тем ты навсегда устроишь этим мое спокойствие, мое счастье... Ты отнимешь у моих врагов повод говорить обо мне то, что говорят они теперь, а Мориц будет иметь возможность навсегда остаться в России.

– Какое, однако, странное будет супружество! – с горькой усмешкой заметила Юлиана. – Но, положим, что я, как ни тяжело, как ни ужасно будет это для меня, соглашусь на такое унижительное замужество, но согласится ли Мориц на подобный брак?..

– Он, наверно, согласится! – с живостью подхватила правительница, твердо уверенная, что Динар из любви к ней решится на

все.

– В таком случае я не стану тебе противоречить... Знай, Анна, что я буду любить тебя по-прежнему, ты ни в чем не виновата, ты ослеплена Морицом, но его я буду презирать и ненавидеть – он продает себя тебе...

Анна вздрогнула и с изумлением посмотрела на свою подругу.

– Ты, – продолжала Юлиана, – наделишь его богатством, ты осыплешь его почестями, а я, как законная его жена, буду разделять с ним все милости, оказанные ему тобой... Как это будет хорошо!.. – с нервным хохотом проговорила молодая девушка. – Но зато и я с моей стороны предложу ему одно условие: пусть он предоставит мне полную свободу... Я молода, как ты; я так же, как ты, могу любить и, выйдя замуж за Линара, я без оглядки отдамся тому, кого люблю, как ты любила Морица...

Юлиана громко зарыдала. Анна Леопольдовна совершенно растерялась, на глазах у нее выступили слезы. Она с ужасом поняла, до какой степени она унизила преданную ей девушку таким предложением.

– Если ты не хочешь выйти замуж за Линара, то и не будем ни говорить, ни вспоминать об этом... Я сама не решилась бы даже и заговорить с тобой о подобной сделке, на это навел меня Остерман... Ты знаешь, как я люблю тебя, и клянусь тебе, что я не хочу не только сделать тебя несчастной на всю жизнь, но не желаю даже быть причиной минутного твоего огорчения? Прости меня за то, что я неумышленно оскорбила тебя...

– Ты позволишь мне от себя переговорить с баронессой? – спросила Юлиана, утирая слезы. – Она так близка с Линаром и, как ты знаешь, уже заводила со мной об этом речь. Мы оба, как оказывается, здесь ровно ни при чем, за нас вздумали хлопотать другие.

Анна Леопольдовна призадумалась, как будто соображая что-то.

– Зачем говорить с баронессой... Забудем весь наш нынешний разговор... ты вольна поступать как хочешь... Впрочем, если находишь нужным, то поговори и с ней, – равнодушно после некоторого молчания добавила Анна. – Баронесса действительно близка с Линаром, и быть может... – Она как будто опом-



нилась, замолчала и, охватив рукой Юлиану за тоненькую ее талию, повела ее на террасу.

Долго еще беседовали между собой подружки, и разговор их мало-помалу становился спокойнее, и вот уже послышался обычный веселый смех молодой девушки. Можно было предположить, что она и Анна так или иначе поладили между собой или не касались более взволновавшего их вопроса, а вели обычную беседу.

В назначенный баронессой Шенберг срок она была в кабинете Остермана, который принял ее чрезвычайно любезно, заявив ей, прежде всего, что по его докладу правительница приказала прекратить начатое о бароне Шенберге дело, причем ее высочеству угодно было добавить, что барон будет прилично вознагражден за те неприятности, какие пришлось ему испытать совершенно безвинно.

– Уж вы благоволите простить меня, высокоуважаемая баронесса, – проговорил Остерман, – за то, что я не послушался вас и доложил ее высочеству о вашем супруге. Минута вышла самая благоприятная, и не следовало упускать ее, да и пора кончить это при-

скорбное дело...

– Напротив, я вам очень благодарна, милый граф. Вы всегда бываете так любезны и предусмотрительны, – и в знак благоволения баронесса протянула к губам Остермана для поцелуя свою руку. – Ну, а что же скажете по делу Линара?..

– Нужно будет ваше содействие согласно воле правительницы... – пробормотал министр.

– Согласно воле правительницы?.. Какой вы, однако, негодный старый болтун, тотчас же поехали во дворец и разболтали... – прикрикнула баронесса.

– Но ведь ее высочество приняла это предложение благосклонно. Правительница, как я мог заметить, находит, что мысль о браке Линара с девицей Менгден положит конец всем нынешним вздорным толкам.

– И вы, чего доброго, рассказали, что я надумила вас на это? – с видом недовольствия спросила баронесса, хотя в душе и желала услышать положительный ответ на этот вопрос, так как предположение о браке Линара было, по заявлению Остермана, принято пра-

вительницей.

– Конечно... конечно... – замямлил лгавший беззастенчиво Остерман. – С моей стороны было бы крайне недобросовестно присваивать себе то, что не принадлежит мне. Ну, а как поступили вы, баронесса? Упомянули ли обо мне Юлиане, или нет?..

– Ни полслова!.. – с бессовестностью отрезала баронесса. – Так как предложение о браке с Линаром Юлиана приняла с сильным раздражением, то я находила недобросовестным примешивать вас к этому делу. Вы знаете, что я вовсе не болтлива. Впрочем, вот что, если об этом станут говорить, то пропускайте, пожалуйста, мимо ушей, а то, чего доброго, нас захотят перессорить тогда именно, когда нам нужно действовать союзными силами. Я вам должна сказать, что я с графом Линаром чрезвычайно близка, он вполне откровенен со мной; и с какой любовью, с каким уважением он всегда отзывается о вас!.. Вы будете необходимым для него человеком, а он для вас – самой надежной, самой дружеской поддержкой. Положим, что теперь вы сильный, можно даже сказать, всемогущий министр,

но прочно ли ваше положение? Вы, конечно, знаете, что здесь, в России, можно каждую минуту так... – и при этом баронесса сделала в воздухе быстрое движение рукой, показывая наглядно, как может кувырком полететь Остерман с занимаемого им теперь высокого места.

Министр сильно крякнул и сделал кислую гримасу.

– Ведь вам очень хорошо жилось при герцоге Курляндском? Не правда ли? Ну, и теперь будет то же самое. Я должна признаться вам, что сватовство это я затеяла по мысли самого Линара. Сказать между нами, он очень верно понимает свое шаткое, ложное положение: его во всякое время могут отозвать из России, да и кроме того, против него начинается здесь сильный ропот; брак с Юлианой прекратит все толки. Притом, несмотря на те щедрости, которые ему уже оказала правительница, его денежные дела далеко не в блестящем положении: он всегда жил, да и теперь живет слишком роскошно, гораздо выше своих скромных средств. У него множество долгов... Понимаете?

Остерман, казалось, не столько слушал свою собеседницу, сколько соображал что-то, кивая лишь по временам головой в знак согласия.

– Положим, впрочем, что мы, так или иначе, сладим эту свадьбу, но как же мы пристроим Линара по службе? – спросила баронесса.

– Это легко будет сделать, – перебил Остерман, – теперь есть при дворе высокая, никем не занятая должность: правительница, если только ей это будет угодно, может назначить графа Линара обер-камергером.

– Ну и прекрасно! – вскрикнула баронесса. – Значит, он будет на той же должности, которую занимал герцог?..

– Да, – отрывисто ответил Остерман.

Затем, поговорив еще о женихе и о невесте, баронесса сказала графу, что ей пора отправиться домой, так как к ней около этого времени должен был приехать Линар для окончательных переговоров.

Сидя за письменным столом в своем богато убранном кабинете, маркиз де ла Шетарди готовил для отправки в Париж депешу, в которой были между прочим следующие строки: «Впечатление, произведенное здесь милостями, оказываемыми графу Линару, было сильнее, чем я ожидал. В этом видят верный признак несомненной и еще большей благосклонности; и трудно выразить досаду, с которой русские, вспоминая прошедшее, говорят, что они теперь находятся накануне того, чтобы опять подчиниться произволу фаворита. Даже женщины, которые здесь более, чем в других странах, приучены к сдержанности, и те не стесняются вовсе в своих речах». Эти строки, написанные наблюдательным дипломатом, показывают, до какой степени стали вредить правительнице ее отношения к Линару, — отношения, которые представлялось необходимым если не прекратить вовсе, то, по крайней мере, прикрыть их. Остерман принялся хлопотать о последнем, склоняя Анну Леопольдовну, по мысли баронессы Шен-

берг, на брак Линара с Юлианой. Тем не менее он очень хорошо понимал, что такое средство может быть хорошо только отчасти и то лишь на короткое время, потому что тайная цель подготовленного брака так или иначе, но, во всяком случае, должна будет вскоре обнаружиться, и тогда послышится еще больший ропот и почувствуется еще сильнейшее негодование. Остерман даже раскаивался в своем вмешательстве в эту затею, опасаясь, что браком Линара с Юлианой еще более упрочится положение графа в России. Умный министр, одураченный бойкой женщиной, и, по-видимому, доброхотствуя как нельзя более Линару и заискивая в нем для себя поддержки, подумывал, однако, и о том, не лучше ли будет воспользоваться предстоящей кратковременной отлучкой фаворита из Петербурга и устроить дело так, чтобы Линар сюда более не возвращался и чтобы правительница, погоревав некоторое время о дорогом для нее человеке, сошлась бы, наконец, с принцем Антоном, на которого Остерман имел такое сильное влияние и которому в душе сочувствовал гораздо более, нежели его супруге.

Пока министр, колебавшийся и в ту и в другую сторону, обдумывал и днем и ночью затруднительность настоящего положения, изыскивая более удачный из него исход, ловкая и пронырливая сваха успешно приводила к концу затеянное ею дело. Она стала теперь радушно принимаемой у правительницы гостьюей. Муж ее не только что был освобожден от всякой ответственности перед наряженным над ним судом, но даже, к общему изумлению, получил александровскую ленту. Баронесса с каждым днем входила в большую милость у правительницы, и вскоре она была в гостинной Анны Леопольдовны как у себя дома, нисколько не стесняясь ни в своих разговорах, ни в обращении с кем бы то ни было. Очевидно было, что она сознавала важность услуги, оказанной ею правительнице. Благодаря посредничеству баронессы, все участвовавшие в этом деле лица были избавлены от тяжелой необходимости объясняться непосредственно друг с другом в тех случаях, когда приходилось краснеть, заминаться и опускать глаза долу. Усердно работала г-жа Шенберг за всех, то приглашая Линара к себе,



то приезжая к Юлиане, то являясь к Анне Леопольдовне. Она вела сватовство постепенно, но вместе с тем и чрезвычайно быстро, передавая безотлагательно кому следует возникшие при этом щекотливые вопросы в ловко обдуманной ею форме и поступая точно так же с получаемыми на эти вопросы ответами. Она, по возможности, устраняла всякое личное вмешательство правительницы, которой в конце концов оставалось только поздравить будущую чету с предстоящим браком и пожелать ей счастливой супружеской жизни.

Вскоре женитьба Линара на Юлиане была решена окончательно. Постановлено было, что он отправится прежде свадьбы в Дрезден, чтобы испросить там от короля-курфюрста Августа II увольнение из польско-саксонской службы для вступления в русскую; что по возвращении из Дрездена в Петербург он обвенчается с Юлианой, будет назначен обер-камергером и затем, поселившись на первое время после своего приезда в особом доме, переедет потом на жительство во дворец, под тем предлогом, что правительница никак не

может переносить разлуку с его женой, своей подругой, с которой она сжилась как с сестрой чуть ли не от самой колыбели. Каким образом уладила баронесса самый трудный вопрос об уступке Линара правительнице, это осталось неизвестным. Можно только догадываться, что, судя по безграничной привязанности к Анне Юлианы и по ее доброму сердцу, невеста, убежденная доводами баронессы, решилась и на такое самопожертвование. Быть может, впрочем, и то, что речь о такой уступке оставили пока в стороне, надеясь, что впоследствии все устроится само собой, без всяких предварительных соглашений.

Об отказе Линару в его просьбе со стороны короля-курфюрста нечего было и думать, так как Августу II оставалось только радоваться, что при русском дворе получит полную силу такой преданный ему человек, такой ревностный оберегатель его интересов, каким постоянно оказывался Линар. Притом сам король-курфюрст был весьма деятелен и счастлив по части любовных походов, и потому брак Линара при настоящей романической обстановке, независимо от политиче-

ских соображений, представлялся королю-волоките таким увлекательным событием, воспрепятствовать которому он счел бы для себя страшным преступлением.

Предстоящий брак Линара с Юлианой не прошел бесследно в депешах французского посланника.

«Чем более я думаю об этом браке, – писал Шетарди в Париж, – тем более я убеждаюсь, что он повлечет за собой много хлопот и вызовет много возмутительных сцен. Не говорю о великолепии, с которым отпразднуют свадьбу, так как я вполне уверен, что в этом случае не остановятся ни перед какими расходами. Я преимущественно обращаю внимание на последствия, которые могут произойти, если смотреть на этот брак, как на сигнал для столкновения двух противоположных партий». Главным представителем одной из этих партий маркиз считал принца Брауншвейгского, представителем другой – фельдмаршала Миниха, который был заклятым врагом принца и который теперь, – как думал Шетарди, – по родству своему с Менгденами, найдет для себя самую сильную поддержку у прави-

тельницы. Очевидно, однако, что маркиз смотрел на дело иначе, нежели устроители брака, которые, напротив, рассчитывали, что женитьба Линара скорее всего должна будет успокоить раздражение принца, как рогоносного супруга, потому что даст возможность совершенно другим образом, нежели прежде, объяснять известные всем посещения Линаром правительницы и достаточно убедить хоть кого угодно, что предметом его страсти была не Анна, а ее хорошенькая и молоденькая фрейлина и что, следовательно, напрасно оскорбляли молодую женщину подозрениями насчет того, в чем она нисколько не была виновата.

Обручение Юлианы происходило с большою торжественностью. Как ни старалась молодая девушка казаться веселой, но, не будучи притворщицей по природе, она плохо умела скрыть те чувства, которые волновали ее.

– Вот вы так настоящая невеста, – громко и одобрительно говорила после обручения баронесса Шенберг Юлиане, в присутствии толпившихся около фрейлины гостей, – грустны

на столько, на сколько следует быть грустной невесте. Вы понимаете важность шага, который вы делаете, да и, кроме того, легко можно представить себе, как вас должна мучить мысль о предстоящей для вас разлуке с ее императорским высочеством, правительницей, с которой вы привыкли быть неразлучно целый день, каждый час, всякую минуту... Такая ваша привязанность выше всякой похвалы...

Пересиливая себя, Юлиана улыбалась на эти слова беззастенчивой свахи, радуясь тому, что барон хоть сколько-нибудь охраняет ее от казавшихся Юлиане насмешливыми взглядов, которые были направлены присутствующими на ее всегда веселое, а теперь печальное личико.

Правительница так щедро одарила свою обрученную с Линаром подругу, что щедрость эта дала ошибочный повод говорить, будто богатые подарки, а не преданность Юлианы правительнице заставили молодую девушку заслонить собой и прошедшие и будущие грешки ее страстно влюбленной покровительницы. Разумеется, что и Линар не был забыт при этом. Уезжая через два дня после об-

ручения в Дрезден, он, кроме значительных капиталов, увозил с собой одних драгоценных камней более чем на тридцать тысяч тогдашних рублей. Дом, который правительница подарила Юлиане, поражал всех великолепием отделки и необыкновенной роскошью мебелировки. Кроме того, к Юлиане перешла в огромном количестве, в виде приданого, золотая и серебряная посуда, конфискованная у бывшего герцога Курляндского.

Сверх всех этих подарков Юлиане следовало еще получить и обыкновенное фрейлинское приданое. Каждая из фрейлин, выходящая замуж, получала его в ту пору от двора не только деньгами, количество которых не было определено назначено раз навсегда, но и еще разными вещами. Невесте давались: парадная постель, кусок серебряного глазета на подвенечное платье, два куса дорогой шелковой материи на другие платья и тысяча рублей на белье и кружева. Свадебный обед и следовавший затем бал справлялись за счет двора. За день до венчания гоф-фурьер приглашал на свадьбу придворных дам и кавалеров, а также иностранных министров с их су-

пругами и знатных обоого пола особ. К членам же царской фамилии ездил сам жених, прося их удостоить своим присутствием его бракосочетание.

В назначенный день, в десять часов утра, собирались во дворце приглашенные на свадьбу гости. Невесту одевали к венцу в комнатах государыни, которая на этот раз давала ей свои собственные бриллианты. Женщина, считавшаяся самой счастливой в супружеской жизни, вдевала невесте серьги, обувал ее неженатый брат или, если его не было, то ближайший из молодых родственников. Пока наряжали невесту, несколько особо назначенных лиц в придворных каретах, запряженных в шесть лошадей цугом, отправлялись в дом жениха, и самый знатный из этих лиц привозил его с собой во дворец. По приезде жениха из покоев государыни выходила разодетая невеста.

Венчали фрейлин или в придворном Казанском соборе, или в дворцовой церкви. В первом случае свадебный поезд отличался особенной торжественностью. Впереди ехали придворные трубачи и литаврщики; за ними

в открытой коляске гофмаршал с жезлом в руке, потом все приглашенные на свадьбу кавалеры по двое в каждой карете, запряженной в шесть лошадей цугом, с кучерами, форейторами и лакеями в парадных придворных ливреях. За кавалерами ехал жених в сопровождении того, кто приезжал за ним, чтобы отвезти его во дворец. Затем следовали дамы, по две в каждой карете, а за ними в великолепной карете невеста. По окончании венчания поезд возвращался во дворец в том же порядке с той только разницей, что молодые ехали вместе в той карете, в которой прежде сидела одна невеста.

Если бракосочетание происходило в дворцовой церкви, то выход туда открывали придворные музыканты, играя на трубах и литаврах, которые тащил на спине самый здоровенный придворный гайдук, а гости следовали один за другим в том же порядке, как и при поездке в церковь, и среди них жених и невеста занимали те же места, какие заняли бы они при этой поездке. По возвращении из церкви гости садились по чинам за большой великолепно убранный стол. Средние, самые



почетные места предоставлялись на этот раз жениху и невесте, по правую сторону которой садились особы женского пола из императорской фамилии, подле них размещались вдоль стола придворные дамы; по левую сторону жениха садился знатнейший из гостей, а за ним все прочие кавалеры, занимая места починам. Во время обеда была инструментальная и вокальная музыка, а при возглашении тостов гремели трубы и литавры.

После обеда, в пять часов вечера, начинался бал, продолжавшийся обыкновенно до десяти часов ночи. По окончании бала молодые подходили к руке государыни и приносили ей свою благодарность. Затем гости становились попарно, кавалер с дамой, и, предшествуемые музыкантами, проходили через все дворцовые залы на главный подъезд. Здесь невеста садилась в карету с обер-гофмейстериной или статс-дамой, а жених отправлялся к себе домой с тем, кто возил его во дворец и в церковь. По приезде гостей в дом новобрачных происходило вечернее угощение, по окончании которого молодых уводили в их спальню. Пока дамы раздевали невесту, гости

поднимали бокалы за здоровье новобрачной четы, их родственников и разных лиц, почему-либо близких жениху или невесте. Это продолжалось до тех пор, пока не выйдет к гостям жених и, опорожнив большой бокал, не пожелает им покойной ночи, после чего все присутствовавшие на свадьбе разъезжались по домам.

На другой день молодые ездили во дворец, где вторично приносили свою благодарность сперва государыне, а потом и всем членам императорской фамилии, бывшим на свадьбе. В полдень они принимали и угощали своих родственников, друзей и знакомых, а вечером ездили снова во дворец на бал, который оканчивался роскошным ужином.

Если с таким торжеством, по заведенному императрицей Анной Иоановной обычаю, справлялась при дворе свадьба каждой фрейлины, то легко можно было вообразить, какой великолепной обстановкой должна была отличаться свадьба Юлианы с Линаром. В этом случае все ожидали чего-то еще невиданного и небывалого, и толки об этом занимали все петербургское общество.

## XXXIV

Скрестив на груди руки, стоял Линар перед Справительницей. Взгляд его, выражавший нетерпение, был пристально устремлен на нее, и, казалось, Анна чувствовала непреодолимую силу этого взгляда: она не поднимала потупленной головы, как будто боясь встретиться с глазами Линара.

– Так чем же мы покончим этот вопрос?.. – спросил Линар голосом, в котором слышалось некоторое раздражение. – Я уезжаю, как вам известно, завтра и потому хотел бы теперь же знать...

– Я не могу решиться... – чуть слышно проговорила Анна.

– Странно!.. Но не вы ли сами, когда вам было сделано это предложение, с такой радостью, с такой поспешностью приняли его?..

– Я не могу решиться... – несколько громче прежнего повторила Анна.

– Как сейчас видно во всем женское непостоянство!.. – с шутливым укором, пожав плечами, возразил Линар, – сегодня одно, завтра другое. Да когда же вы перестанете быть ка-

ким-то нежным цветочком, который колеблется то в ту, то в другую сторону, смотря по тому, откуда повеет на него ветерок?

– Я боюсь, что моя попытка вызовет раздоры, смуты и что – сохрани, Боже, от этого, – воскликнула с ужасом правительница, – тогда прольется кровь!..

– Зачем же было становиться на такую высоту, – хладнокровно заговорил Линар, – на такую высоту, где нежность и чувствительность вовсе неуместны и где даже простое сострадание к людям бывает очень часто вовсе нестати.

– Я сама не желала ничего. Судьба, против моей воли, поставила меня в то положение, в каком я нахожусь теперь. Впрочем, я счастлива, вполне счастлива; но не потому, что я имею власть и богатства, а потому... – голос Анны замер, и она после короткого перерыва быстро проговорила, – только ты, Мориц, возвращайся поскорее...

Линар любил Анну, но в любви его не было уже того юношеского, бессознательного увлечения, того безумного пыла и той порывистой страсти, которые так часто делают смеш-

ным мужчину, перешедшего за рубеж первой молодости. Услышав слова Анны, прозвучавшие и радостью, и грустью, Линар не упал к ногам молодой женщины, не обнял ее колен, не схватил ее рук, не прижал их к своему сердцу и не стал в немом томлении долго и страстно смотреть в задумчивые очи Анны. Он медленно подошел к ней.

– Неужели на этом челе никогда не блеснет императорская корона?.. – торжественно произнес Линар и, прикоснувшись слегка рукой к голове правительницы, поднял вверх глаза, как будто ожидая свыше ответа на этот вопрос.

– Для меня не нужна корона... – проговорила Анна.

– Она нужна для меня, – громко и твердо сказал Линар.

Правительница с изумлением вопросительно взглянула на него.

– Она нужна для меня! – повторил он еще громче и тверже. – Для мужчины, – начал Линар восторженно-страстным голосом, – не может быть больше счастья, не может быть больше блаженства, как видеть любимую им

женщину на недостигаемой другими высоте величия и славы... Видеть, что она владычитствует над всем, повелевает всеми, и в то же время знать, что эта женщина принадлежит ему, что один только он составляет для нее исключение в раболепствующей перед нею толпе...

– А мне кажется, – простодушно заметила Анна, – что для любви не нужно ни величия, ни славы... Мне часто думается, что я была бы счастливее, если бы я встретилась с тем, кого мне привелось любить, не в пышных чертогах, не во дворце, а в убогой хижине...

– Не могу не заметить вашему высочеству, – сказал, засмеявшись, Линар, – что такое понятие о любви вы изволили почерпнуть из какого-нибудь прочитанного вами сентиментального романа. Конечно, и хижина нисколько не мешает любви, но несомненно, что блаженствующая в ней парочка все-таки предпочла бы переселиться в хорошо устроенный дом и разве только по временам заглядывать в оставленную хижину, чтобы помечтать на досуге о прошедшем... Впрочем, у нас и речь идет не о хижине, в которой вам

бы первой показалось жить не очень удобно, а совсем о другом. В хижину вам всегда можно будет переселиться, а теперь нужно подумать о том, чтобы вы удержали за собой те дворцы, в которых вы, как правительница, не более как временная жилища...

– О, как еще много времени предстоит впереди для того, чтобы пользоваться этим... Да и вообще стоит ли теперь и думать об этом?.. – возразила Анна.

– Кто знает, не будет ли поздно думать об этом, когда пройдет еще несколько времени?.. Чем могут закончиться замыслы Елизаветы?

– Я полагаюсь во всем на волю Божию и считаю борьбу с Елизаветой совершенно бесполезной... Пусть называют меня суеверной, но меня никогда не покидает тяжелое предчувствие, что жизнь моя будет полна бедствий и страданий, – печально проговорила Анна.

– Устранить и те и другие, если не всегда, то все же очень часто зависит от нас самих, нужно только быть смелыми, решительными и деятельными, а врагов своих, где только можно, давить безжалостно железной пя-

той. – При этих словах на привлекательном лице Линара проявилось злобное выражение. – Что же касается предчувствий, – продолжал он, – то стоит только настроить себя на унылый лад, поддаться пустой робости, и тогда вся наша будущность начнет представляться в самом мрачном, безотрадном свете. Чтобы успокоиться вашему высочеству, нужно прежде всего устранить те опасности, которые грозят вам со стороны коварной цесаревны...

– Напрасно заботиться об этом: я верю предсказанию, которое, конечно, слышал и ты, Мориц, что она будет царствовать. Был со мной и такой случай: однажды я приехала к ней в гости; при отъезде цесаревна провожала меня; я как-то споткнулась, упала перед ней и, поднимаясь, невольно проговорила громко: «Я предчувствую, что буду у ног Елизаветы». В настоящее время происходит что-то таинственное, непонятное: в народе носится молва, будто над гробом покойной императрицы Анны Иоановны является тень императора Петра...

Линар, улыбаясь, слушал этот рассказ Ан-



НЫ.

– Если верить в предсказания, предчувствия, приметы, предзнаменования, – перебил он, – то надобно верить не в одно дурное, как это обыкновенно водится, но нужно верить и в хорошее. Отчего бы, например, не поверить тому предсказанию, которое существует у нас в Германии? Оно гласит, что некогда – а по какому-то мистическому расчету теперь близится это время – какая-то немецкая принцесса выйдет замуж за какого-то принца, что потом она совершенно неожиданно будет царствовать над сильной и обширной державой и слава ее деяний разнесется по всем концам вселенной. Отчего бы, спрошу я, этого предсказания не применить к нынешней правительнице Русской империи?.. Правда, что имя этой принцессы, которой предречена такая блестящая будущность, не сходно с вашим именем, но разве можно требовать от каких бы то ни было пророчеств совершенной точности? Достаточно и того, если они намекают на некоторые главные признаки...

– А как имя этой напороченной принцес-

сы? – с любопытством спросила Анна.

– Екатерина... – проговорил равнодушно Линар.

– Екатерина?.. – с удивлением переспросила правительница. – Но это имя одно из тех имен, которое я получила при крещении и которое потом, при переходе из лютеранства, было заменено моим настоящим именем.

– Значит, пророчество еще точнее указывает на ту, над которой оно должно исполниться, – заметил Линар, – и так как это пророчество составилось в Германии, то для этой страны вы и были не Анна, а Екатерина...

Рассказ Линара произвел впечатление на правительницу, для которой таинственность имела всегда увлекательную сторону, и она с видимым нетерпением ожидала, что будет говорить Линар далее.

– Оставим, впрочем, в стороне и пророчества, и предсказания и обратимся только к действительности, – сказал он. – Каково настоящее ваше положение?.. Вы полновластная правительница могущественного государства, и жребий миллионов зависит от вашего произвола, от вашего женского каприза.

Этим, конечно, может удовлетворяться самое притязательное властолюбие, но надолго ли это? Правда, что те с лишком пятнадцать лет, в течение которых вам остается еще править государством, представляются, при вашей молодости, чем-то нескончаемым, какой-то вечностью. Но поверьте, что годы эти промелькнут так быстро, что вы и не заметите их. Убежит от вас молодость, и тогда вы почувствуете нестерпимую жажду власти, к которой вы привыкнете и которой у вас уже не будет более. Притом, как бы высоко вы ни были поставлены теперь, но, в сущности, чья вы преемница? Вы, которой русский престол принадлежит по праву рождения, не преемница царей московских – ваших венчаных Богом предков – вы, как правительница, не более как только преемница ничтожного Бирона, которого вы же сами в одну ночь сбросили с вершины могущества и послали куда-то в неизвестную даль. Может ли такая власть считаться властью твердой, незыблемой?.. Наконец, подумайте о том, что император станет подрастать и мужать, и кто вам может поручиться, что сын принца Антона, – про-

должал Линар, напирая на последние слова, – будет оказывать вам должное уважение и что озлобленный против вас ваш супруг не воспользуется обстоятельствами и не постарается отмстить вам свои обиды хоть бы, например, вечным заключением в глухой, далекий монастырь?..

Правительница встрепенулась и глубоко вздохнула.

– Но если это и может случиться, то разве в слишком далеком будущем, и зачем так заботливо думать о нем?.. – проговорила Анна.

– Я думаю, что нужно. На вас нет еще знамения избранницы Божией, а для народа власть должна иметь священное обаяние. Провозгласите себя самодержавной государыней и возложите на себя в Москве наследственный венец, отнятый у вас по произволу вашей предшественницы в угоду недостойному ее любимцу... Вы, а никто другой, после кончины императрицы должны были вступить в ее права.

По лицу правительницы Линар мог заметить, что Анна поддается его внушениям.

– Впрочем, чтобы окончательно склонить

вас на мое предложение, – продолжал Линар, переходя от торжественного тона в веселый, – я скажу вам, что вы будете самая хорошенькая женщина в золотой императорской мантии, опущенной горностаем, и в короне, сверкающей алмазами... – Говоря это, он приблизился к правительнице, стал у ног ее на одно колено и начал с жаром целовать ее руки.

– Для меня это все равно, – с грустной улыбкой отозвалась Анна, – о моей наружности и о моих нарядах я вовсе не забочусь. Вот уж и баронесса Шенберг подсмеивается надо мной, что я не белюсь, не румянюсь, не пудрюсь, не шнуруюсь каждый день, а выхожу запросто одетой к моим гостям...

– Которые должны скоро собраться, – подхватил Линар, взглянув на часы, – однако, как же мы заговорились! Что вы решили: поздравлю ли я вас, по моем возвращении из Дрездена, самодержавной императрицей?..

– Поздравишь, Мориц... – твердо произнесла Анна. – Переговори сегодня вечером с графом Головкиным: он первый и пока еще единственный человек, которому я передала твою мысль.

– И прекрасно сделали, – заключил Линар, – на Остермана слишком много полагаться нельзя.

Наступали сентябрьские сумерки, начали освещать залы дворца, и стали съезжаться обычные вечерние гости правительницы; в числе их приехали на проводы Линара граф Головкин и баронесса Шенберг; пришла в гостиную Анны и невеста Линара...

Во время вечерней беседы, которая касалась главным образом поездки Линара, расстроенная правительница несколько раз выходила в другую комнату, чтобы скрыть набегавшие на ее глаза слезы; Линар следовал за ней, и до чуткого уха баронессы доходил их шепот: слышно было, что Линар утешал и ободрял плакавшую Анну.

Перед тем как сесть играть в карты, Линар вызвал Головкина в смежную залу. Разговор их там был непродолжителен. После того Линар возвратился в гостиную с веселым лицом, а вице-канцлер с озабоченным видом, и он как будто искал случая заговорить наедине с правительницей, чего, однако, не удалось ему сделать в течение целого вечера. В этом со-

брании Линар казался каким-то полухозяином у правительницы, но, как человек светский, он был чрезвычайно любезен и внимателен ко всем и, конечно, в особенности к своей невесте. Заметно, однако, было, что прямодушная от природы девушка не умела притворяться как следует и не могла скрыть свою холодность к Линару.

По заведенному порядку сели играть в карты. Анна Леопольдовна играла в этот вечер рассеянное, чем когда-нибудь. Игра кончилась в обыкновенное время. Гости разъехались, и Линару последнему пришлось проститься с Анной Леопольдовной. Расставание не обошлось для нее без горьких слез, и Линар напрасно утешал ее скорым свиданием. Наступила последняя минута прощания.

– Я предчувствую, что никогда тебя более не увижу!.. – в отчаянии вскрикнула Анна. Она рванулась от Линара и, громко зарыдав, выбежала в другую комнату.

Линар не бросился за ней. Он не хотел томить молодую женщину продолжительностью расставания и, тяжело вздохнув, вышел из ее уборной...

Анна Леопольдовна, несмотря на всю свою нерешительность и врожденную робость, исполнила обещание, данное ей Линару. На другой день по его отъезде она потребовала к себе вице-канцлера графа Головкина и объявила ему, что, после долгих колебаний, она, чтобы положить конец всем проискам со стороны цесаревны Елизаветы Петровны, решилась провозгласить себя императрицей, с тем, что сын ее, сохраняя признанный уже за ним титул императора, будет царствовать только или после смерти, или после ее отречения. Сочувствуя этому плану, Головкин представил ей все те благоприятные последствия, какие произведет решимость правительницы, так как после этого будут устранены всякие посягательства на ее власть, и она явится в глазах народа не временной, не случайной только правительницей, а природной самодержавной государыней. Зная нетвердый характер Анны Леопольдовны, он убеждал ее как можно скорее осуществить это предположение. Решено было, что правительница объявит се-



бя царствующей императрицей в день своего рождения, 18-го декабря, так как необходимо было принять еще некоторые меры, чтобы вернее обеспечить успех этого предприятия.

Слухи о намерении правительницы не замедлили дойти до Елизаветы и дали новый толчок деятельности ее приверженцев. Они увидели, что если теперь не сдержать смелого шага правительницы, то потом будет уже поздно, и поэтому они убеждали цесаревну ускорить исполнение ее намерения. Она, однако, отложила свою попытку до 6-го января 1742 года. В этот день, по случаю праздника Крещения, гвардия собиралась обыкновенно для участия в торжестве водосвятия на Иордане, устраиваемом, как и ныне, на Неве, против Зимнего дворца. Елизавета намеревалась при этом случае стать во главе Преображенского полка и, объявив правительницу и сына ее низложенными, провозгласить себя императрицей. Такое отважное предприятие могло бы, впрочем, не удасться, если бы другие гвардейские полки остались верны Анне Леопольдовне, и тогда кровопролитие было бы неизбежно.

Еще весной таинственный агент Елизаветы, состоявший при ней хирург Арман Лесток, вошел в тесные сношения с маркизом Шетарди. Так как цесаревна пользовалась превосходным здоровьем, то у Лестока не было никаких забот по его специальному назначению и он занимался при Елизавете исключительно по косметической части, заготавливая разные притирания для поддержания и без того прекрасного цвета лица и нежности кожи у кокетливой цесаревны. Почти так же деятельно и едва ли еще не с большим успехом, чем Шетарди, хлопотал в пользу цесаревны шведский посланник Нолькен. Как лифляндец и, следовательно, земляк Юлианы Менгден, он приобрел расположение фрейлины и, часто бывая у нее, выводывал от молодой девушки не только о том, что делалось около правительницы, но и о сокровенных ее намерениях, так как Анна Леопольдовна никогда не скрывала их от своей любимицы. Нолькен, как и Шетарди, избрал главным своим посредником у Елизаветы того же Лестока, который, по-видимому, как балагур, болтун и порядочный кутила, вовсе не был пригоден для

того, чтобы стать во главе заговорщиков. Между тем Остерман и принц Брауншвейгский скоро заподозрили Лестока, и первый из них просил английского резидента Финча, как человека преданного правительнице, принять участие в разведке тех козней, которые ведутся против нее. Первоначально, однако, Остерман посоветовался с Финчем о том, не арестовать ли хирурга? Финч отвечал на это, что ему, графу Остерману, как первенствующему министру, лучше, чем кому-либо другому, следует знать, каким образом должно поступить в настоящем случае, добавив, впрочем, что, по мнению его, Финча, так как против Лестока не собрано еще никаких улик, то и арест его будет преждевременным и только повредит правительству, показав всем неосновательность подозрений.

Тогда Остерман, заметив Финчу, что Лесток любитель хорошего вина и что он, подвыпивши, охотно болтает обо всем, что у него на уме, попросил этого джентльмена, чтобы он зазвал к себе хирурга на обед или на ужин, порядком подпоил бы его и затем повел бы с ним беседу так ловко, чтобы этот последний

проговорился. Дипломат, как пишет он сам, ввиду такого предложения, подумал, что если посланники и считаются шпионами своих государей, то все же им некстати исполнять подобного рода должность в отношении других каких бы то ни было лиц. Этого взгляда на круг своей деятельности Финч не высказал, впрочем, Остерману, но уклонился от возлагаемого на него поручения под другим благовидным предлогом.

– Я вообще пью мало и голова у меня довольно слаба, – сказал Финч министру, – а между тем, как мне известно, Лесток молодец выпить, и от постоянной практики по этой части голова у него очень крепка. Для того чтобы подпоить его хорошенько, с той целью, какая будет иметься при этом в виду, надобно будет пить много, а для того, чтобы не возбудить в хирурге подозрения и развязать ему язык, я не должен буду отставать от него по части выпивки. Попойка же и беседа должны будут, конечно, происходить у нас с глазу на глаз, а при всех этих условиях и при неравенстве наших сил дело может окончиться тем, что, пожалуй, проболтаюсь я, а не Лесток.

Доводы, представленные практическим британцем, убедили министра, и Лесток не только не попал под арест, но и благополучно увернулся от той ловушки, какую расставлял ему неразборчивый на средства Остерман.

Кроме Финча у правительницы, как и у Елизаветы, были доброжелатели и за границей. Так, еще весной ей было прислано письмо и «предостроги» (т. е. предостережения) от некоторого чужестранного двора «якобы о имеющейся в Российском государстве по действиям некоторых иностранных министров факции». Линар, на обсуждение которого правительница передала это письмо, советовал ей письменно действовать решительно и по поводу происков Шетарди писал следующее: «Повторяю вам то, что передал вам вчера словесно. Народное право существует, как и всякое другое право, и ни один государь не обязан допускать возмущений, которые поддерживались бы иностранным министром; последний же чрез то самое утрачивает права посланника и почести, какие ему воздаются». Копию с этого письма успела достать Елизавета; Шетарди испугался и тотчас же сжег те

бумаги, которые могли бы выдать его сношения с цесаревной.

О злых умыслах против правительницы уведомляли ее также из Бреславля. В полученном оттуда письме сообщалось, что шведы начинают войну с русскими, зная наверно, что к ним в России пристанет большая партия. Правительница показала это письмо Елизавете, которая, одолев свое смущение, с притворным прямодушием отвечала, что она решительно ничего не знает, и доверчивая правительница не усомнилась в искренности своей противницы. Между тем подбиваемые агентами цесаревны гвардейские офицеры волновались, они выходили из терпения и просили Нолькена заявить Елизавете, что бездействие ее крайне удивляет их, так как они давно желают служить ей. Видя нерешительность цесаревны, несколько офицеров стали поджидать, когда она выйдет из своего дворца на прогулку в Летний сад. Увидав ее, они подошли к ней, и один из них, от имени своих товарищей, сказал ей:

– Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний. Что прикажешь нам де-

лать?

– Ради самого Бога молчите, – проговорила цесаревна, боязливо осматриваясь по сторонам, – остерегайтесь, чтобы вас не услышали; не делайте себя несчастными, да и меня не губите!..

Офицеры с неудовольствием отступили.

– Экая трусиха! – проговорил один из них, – того и смотри, что со страху всех нас выдаст.

– Да уж не лучше ли, братцы, – подхватил другой, – отстать от нее: видно, с нею ничего не поделаешь; правительница куда отважнее ее будет: с Бироном расправилась скоро.

И офицеры, бормоча что-то, разбрелись по сторонам.

Шетарди и Нолькен продолжали, со своей стороны, подбивать Елизавету, предлагая к ее услугам один – французское золото, а другой – шведские пушки и ружья. Чтобы усилить еще более замешательство России, деятельные дипломаты хлопотали о том, чтобы Турция дозволила крымским татарам напасть на наши южные пределы. Они же находили нелишним распустить в народе слух, что и персидский шах идет на Россию с тем, чтобы засту-

питься за притесненную цесаревну. Они рассчитывали, что легковерный народ, увидя, что правительница накликала войну, тяжкую для всех русских поборами людей и денег, поднимется против настоящего правительства и пожелает видеть на престоле Елизавету, которая избавит его от угрожающих ему бедствий и тягостей. Елизавета не отвергала всех этих предложений, и одна только робость удерживала ее от решительных мер.

Чтобы сильнее подействовать на цесаревну, Нолькен передавал ей, будто он слышал из верного источника, что правительница сказала однажды: «Надобно как можно более ласкать принцессу Елизавету, чтобы вернее опутать ее в сетях, когда придет время». Этот выдуманный рассказ произвел на Елизавету большое впечатление, и она убедилась, что Анна Леопольдовна такой враг, который не даст ей пощады.

Шетарди между тем устраивал свидания с Елизаветой в Летнем саду, а она каталась в лодке по Неве мимо дачи маркиза с роговой музыкой, чтобы обратить на себя его внимание и, не навлекая никакого подозрения, по-



лучить с балкона его дачи условленный сигнал. Он успевал перешептываться с ней на вечерах у правительницы, причем Елизавета жаловалась маркизу на тот высокомерный тон, который с некоторого времени в отношении к ней принял Линар.

Разные темные личности, такие бродяги-иноземцы, как выкрещенный жид Грюнштейн и отставной музыкант, саксонец Шварц, были привлечены также к замыслам Елизаветы. Прислуга тоже не оставалась без участия в этом деле. Елизавета передавала Нолькену, что она узнала через горничную, которая служила при ней и сестра которой находилась в услужении в доме графа Остермана, будто правительница приехала ночью к больному Остерману и, войдя в нему в спальню, заклинала его Христом-Богом спасти ее. На это будто бы Остерман отвечал ей, что она никакой помощи не может ждать от дряхлого старика, который не в силах даже встать с кресел, почему и советовал ей обратиться или к князю Черкасскому, или к графу Головкину. Когда же Елизавета спросила горничную: что было далее? – то она ответила,

что не знает, так как ее заметили и приказали ей уйти из комнаты.

Трудно определить, до какой степени было или даже могло быть справедливым все это, тем более что Остерман не только не отказывал в своих советах правительнице, но даже склонял ее к самым решительным мерам. В таком же духе говорил Анне Леопольдовне и Линар. Он предлагал ей, чтобы, обвинив Елизавету в тайных сношениях с врагами отечества, подвергнуть ее предварительно допросу, и если бы открылось что-нибудь, то судить ее за государственную измену. Суд должен был бы произнести смертный приговор над цесаревной, а правительница заменила бы этот приговор вечным заточением Елизаветы в отдаленном монастыре. Доброе сердце правительницы отвергло все подобного рода предложения. На все указываемые ей меры предосторожности она отвечала только, тяжело вздыхая: «К чему это послужит?». Она как будто спокойно смотрела на угрожавшую ей опасность, то не понимая своего настоящего положения, то веря в какое-то роковое определение свыше и, казалось, твердо была

убеждена в том, что она никакими способами не предотвратит грядущих бедствий. Она сделалась еще задумчивее и еще недоступнее прежнего, тогда как Елизавета казалась и беспечнее, и откровеннее и встречала приветливо всех, кто посещал ее.

Война Швеции с Россией считалась делом решенным, и верстах в шестнадцать от Петербурга, со стороны Выборга, близ деревни Осиновая Роща, был расположен сильный лагерь под начальством фельдмаршала Ласси, а генерал Кейт двинулся со своим корпусом к Выборгу по берегу моря, и 12 августа, в день рождения императора, поставив войска под ружье, объявил солдатам о войне со Швецией, которая несколькими днями ранее известила петербургский кабинет о своем разрыве с Россией. В войске и в народе стал теперь обращаться составленный на русском языке манифест генерала Левенгаупта, главнокомандующего шведской армией. В этом манифесте объявлялось, что шведы хотят «избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого, чужеземного притеснения и бесчеловечной

жестокости и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства».

В исходе августа фельдмаршал Ласси прибыл к действующей армии, и русские войска, миновав уже Выборг, начали пробираться в глубь Финляндии по болотам, скалам и дремучим лесам, обходя проезжие дороги, и 23 августа взяли Вильманstrand. Победа эта праздновалась в Петербурге с большим торжеством. Приверженцы Елизаветы приуныли. Ломоносов, воспевший впоследствии годовщину вступления на престол императрицы Елизаветы в обращенной к ней оде, начинавшейся стихами:

*Заря багряною рукою,  
Из сумрачных спокойных вод  
Выводит с солнцем за собою  
Твоей державы новый год! —*

Ломоносов пел теперь иную песню. Он, по случаю взятия Вильманstrandа, написал торжественную оду с намеками на младенца-императора и на гербы России – орла и Швеции – льва. Ода начиналась:

*Российских войск хвала растет,  
Сердца продерзки страх трясет.  
Младой орел уж льва терзает и  
т. д.*

Поэзия, редко сходящаяся с действительностью, была, однако, на этот раз права: русские побеждали шведов, а страх тряс продерзкие сердца; Елизавета и ее сторонники упали духом. Они увидели, что дела правительницы принимают благоприятный оборот, и теперь многие русские, принадлежавшие к числу приверженцев Елизаветы, скорбели о том, что не стыд поражения, а слава победы покрыли их родные знамена...

Уборная Анны Леопольдовны представляла образчик той роскоши и того изысканного вкуса, которые окружали в тогдашнюю пору богатых и знатных дам во Франции. Уборная правительницы казалась уголком роскошного Версаля, перенесенным на берега Невы. В этой комнате было собрано все, что только могла придумать затейливая и прихотливая мода тогдашнего времени. Линар, везде всего насмотревшийся, по желанию Анны Леопольдовны распоряжался отделкой уборной, стены которой были обиты дорогой шелковой тканью серо-розового цвета с золотыми по ней городками и разводами. Потолок был расписан искусною кистью иностранных художников. На нем виднелись в грациозных позах полуобнаженные красавицы: нимфы и богини древнего Олимпа. Вперемежку между ними, среди зелени, цветов и пестрых арабесок, показывались амуры, из которых одни, сидя с вытянутыми вперед ножками, клали на тети́вы стрелы, долженствовавшие пронзить сердца богов, богинь и простых смертных;

другие, обвитые гирляндами из цветов, ухватившись друг с другом ручонками и как будто помахивая крылышками, плясали и резвились с выражением беззаботной веселости на кругленьких румяных личиках; третьи словно порхали в небесном пространстве, подманивая к себе тех, у кого в сердце не погасла еще молодая, кипучая жизнь.

На стенах уборной в золотых медальонах висели картины, изображавшие сцены из современной жизни, но только уже слишком опозитизированной на тогдашний французский лад. На одной картине какая-то маркиза или виконтесса, в великолепном модном наряде, с напудренной головкой и крепко затянутой талией, полулежала с пастушеским пошком среди беленьких овечек и смотрела вдаль, вероятно, поджидая появления своего возлюбленного из-за листвы деревьев. На другой картине не менее пышно разодетая дама сидела над светлым ручейком, опустив в тихие его струи удочку, а у ног ее блаженствовал на зеленой мураве кавалер, которому, судя по плотно натянутым чулкам, туго завязанным подвязкам и другим узким принад-

лежностям туалета, было весьма неудобно лежать, и надобно было полагать, что едва ли бы он в таком наряде мог привстать с муравы без помощи своей подруги. На третьей картине щегольски разодетый шевалье, стоя под тенью деревьев на одном колене, надевал, неизвестно по какой именно оказии, крошечный башмачок на ножку молоденькой дамочки, опиравшейся рукой на его спину. По выражению лиц этой шаловливой парочки можно было догадаться, что и кавалеру и даме очень хотелось, чтобы надевание башмачка продолжалось как можно долее. Вообще все картины, небольших размеров, бывшие в уборной правительницы, наглядно гласили о том блаженстве, какое доставляют любящим сердцам таинственные встречи и уединенные беседы среди прелестей природы. Все в этих картинах было ярко, свежо, мило и изящно, но вместе с тем и натянуто, и неестественно. Видно было, что идиллическая поэзия г-жи Дезульер, воспевавшей пастушек в образе великосветских дам, умилявшихся при бляении овец и знавших красоты природы только по стриженным садам, — поэзия,



вдохновлявшая таких известных живописцев, как Буше и Вато, нашла для себя радужный прием у Анны Леопольдовны, постоянно мечтавшей о тихой жизни на лоне природы, с тем, впрочем, условием, чтобы стеснительные наряды идиллических маркиз-пастушек были заменены более удобным костюмом, а именно: широкой кофточкой и простым платочком на ненапудренной голове.

С расписанного потолка уборной спускалась бронзовая люстра с неизбежными на ней амурами и с большими хрустальными привесками в виде древесных листьев. На большом камине из белого каррарского мрамора, с огромным над ним венецианским зеркалом, стояли бронзовые часы парижского изделия с изображением над ними трех обнаженных, обнявшихся между собой граций. На экране в вызолоченной раме, заслонявшем камин, было превосходно вышито шелками преследование Дафны Аполлоном. Убранство этой комнаты дополняли: шелковые портьеры светло-лазоревого цвета, поддерживаемые положенными крест-накрест золотыми стрелами; тонкие, как паутина, с изящным узо-

ром кисейные занавесы на окнах с такими же подержками, как и над портьерами; дорогие ковры, жардиньерки с тепличными растениями, множество статуэток и привезенная из Парижа мебель розового дерева, отделанная бронзой и обитая шелком.

На туалетном столе Анны Леопольдовны, казалось, было собрано все, что должно было раздражать и нежить обоняние и, по тогдашним, впрочем, можно сказать и по нынешним понятиям, усиливать искусственно блеск женской красоты. Здесь были лучшие произведения французской и итальянской парфюмерии и косметики: духи самых тонких букетов, благовонные помады, благоухающие эссенции, нежная пудра, дорогие румяна и белила и другие снадобья этого рода. Но до всего этого редко и неохотно прикасалась двадцатидвухлетняя владелица уборной. На туалетном же столе лежал поданный Анне Леопольдовне и уже порядочно устарелый счет господина Pierre Lobry, первого парикмахера ее императорского высочества. Счет этот был написан почти год назад, и в нем значилось по-русски под разными месяцами и числами

следующее:

8 малых машкаратных локонов  
..... 25 р.

Машкаратные же армянские длинные во-  
лосы ..... 10

Фаворитов 8 пар .....  
16

1 паручек дамский  
..... 2

3а переправку локонов  
..... 12

Этот неоплаченный счет свидетельство-  
вал, по-видимому, о беспечности правитель-  
ницы даже и по предметам, самым близким  
каждой молодой женщине.

Анна Леопольдовна чрезвычайно редко  
посещала это роскошное убежище. Забытая  
ее уборная как будто ждала той поры, когда  
явится другая хозяйка, которая будет любить  
и понимать все тонкости женского туалета и  
которая станет проводить в уборной сряду по  
нескольку часов, пока не выйдет из нее во  
всем блеске своего пышного наряда.

Впрочем, под вечер 9-го ноября 1741 года,  
в день первой годовщины по принятии прав-

ления Анной Леопольдовной, в ее уборной было заметно особое оживление. Несколько камеристок суетились там под руководством старой камер-фрау Анны Петровны Юшковой. Теперь в этой комнате, ярко освещенной множественным восковых свечей, разложены были на низеньких табуретах и на столах принадлежности наряда, в котором правительница должна была появиться на бале, назначенном ею в Зимнем дворце.

На одном из табуретов стояла пара белых шелковых башмачков с высокими каблучками и бриллиантовыми пряжками. На другом табурете лежал корсет, бывший предметом самого сильного отвращения Анны Леопольдовны и составлявший в то время необходимую принадлежность бального туалета. Этот корсет был введен в моду в Париже дофиной, и король Людовик XV показывал подобного рода корсет Морицу Саксонскому, как небывалую еще модную диковинку, и действительно было чему подивиться: Мориц в «Записках» своих рассказывает, что такой корсет со вставленными в него сплошь стальными пластинками был гораздо тяжелее для жен-

щины, чем тогдашние самые тяжелые латы для здоровенного немецкого кирасира. На пяти других табуретах, составленных вместе, были расположены фижмы – препространнейшая юбка на китовых усах, неизбежная принадлежность тогдашнего модного наряда, тоже не терпимая Анной Леопольдовной.

На узком и длинном столе, нарочно внесенном теперь в уборную, лежало платье из тяжелой серебряной ткани, с вытисненными на ней узорами, с бесконечно длинным шлейфом, называвшимся тогда и у великосветских русских дам, и даже в официальной русской печати попросту «шлепом». Корсаж этого платья был обшит сверху, в виде широкой бахромы, чрезвычайно драгоценными в ту пору кружевами, называвшимися «point de rose», изображавшими с неподражаемым изяществом мельчайшие узоры цветов и листьев с тонкими, как волос, стебельками. На особом столе, в раскрытых футлярах, были разложены украшения из драгоценных камней: ожерелья, аграфы, запонки, браслеты и так называвшаяся тогда по-русски «трясила» – от французского слова «tresse» (коса), служив-

шая для поддержания в порядке кос, как родовых, так и благоприобретенных. Тут же сверкали две бриллиантовые звезды: андреевская и екатерининская, надеваемые правительницей в торжественных случаях. Принадлежности ее наряда дополнялись длинными белыми лайковыми перчатками с кружевной бахромой и веером, отделанным рубинами и алмазами.

Все было уже готово в уборной, и камеристки ожидали только прихода своей госпожи, чтобы приняться около нее за сложную и суетливую работу. По их расчету, оставалось уже слишком мало времени, чтобы успеть как следует разодеть правительницу к часу, назначенному для открытия ее торжественного бала. Между тем Анна Леопольдовна не показывалась в уборную, и старая камер-фрау Юшкова, привыкшая при императрице Анне Иоановне к самым строгим порядкам по части одевания, видя медленность правительницы, приходила в отчаяние и ворчала вполголоса:

– Все читает; только и знает, что это, а нет того, чтобы принарядиться как следует; не по-

смотри только за нею хорошенько, так Бог знает что и как на себя напялит...

Камеристки, слушая ропот своей начальницы, слегка поддакивали ей, одна смеялась, другая вздыхала, а все вообще частенько позевывали. Но вот послышалось шуршанье женского платья и в уборную вошла совсем уже одетая Юлиана.

– А ее высочество неужели еще не одевалась? – с удивлением спросила фрейлина.

– Да вот поди же ты, моя голубушка, – заговорила жалобным голосом Юшкова, – знай себе читает, а потом мы примемся торопиться и наденем на нее одно криво, а другое косо. Ей-то до этого, разумеется, никакого дела нет, а нас-то из-за нее при дворе осуждать станут, скажут: не умеют порядочно одеть ее высочество. Уж и парикмахер-то с полтора часа, если не более, ее дожидается. Хотя бы ты, матушка, сходила к ней, да поторопила ее, а мы-то не смеем этого сделать... Сидим да стоим сложа руки. Мука с нею, да и только.

Юлиана пошла в ту комнату, где была правительница. Анна сидела на софе в домашнем платье и внимательно читала какую-то

книгу. Так как в это утро был во дворце торжественный прием, то парадная прическа правительницы хотя и сохранилась, но все-таки, порядочно уже растрепанная, требовала продолжительной поправки.

– Ведь пора одеваться... – громко проговорила Юлиана, – уже шестой час...

– Еще успею, только несколько страниц остается дочитать, – отвечала Анна. – Меня так заняла эта книга, что не хочется от нее оторваться.

Юлиана выжидательно остановилась перед ней. Правительница заметно ускорила чтение, быстро пробегая глазами страницу за страницей, и затем, сделав ногтем отметку на полях книги, неохотно закрыла ее и лениво приподнялась с места.

– Тебя нужно вести в уборную силой, – сказала, смеясь, Юлиана, взяв под руку Анну Леопольдовну.

– Ах, как мне надоели все эти торжественные приемы и балы! – с досадой проговорила Анна Леопольдовна. – Знаешь, Юлиана, я никогда не думала, чтобы женщине было так трудно править государством.



– Да ты всегда была ленивица по части туалета, – перебила Юлиана, и, выговаривая за это Анне, она привела ее в уборную.

Лицо у камер-фрау засияло радостью при виде своей жертвы вечерней. Она быстро приотворила дверь в соседнюю комнату и громко крикнула: «Господин Лабры! пожалуйста поскорее к ее высочеству. Нужно торопиться... и так уж запоздали...»

Явился парикмахер, щеголеватый француз. Анна села на табурет, одна из камеристок накинула на нее пудрмантель, а ловкий волосочес принялся за свое дело. Правительница вообще не была поклонницей моды и следовала ее требованиям только по необходимости, особенное же упорство она оказывала в том случае, когда дело касалось прически. Миних-сын, в «Записках» своих замечая, что она «всегда с неудовольствием наряжалась, когда во время ее регентства надлежало ей принимать и являться в публике», добавляет: «В уборке волос никогда моде не следовала, но собственному изобретению, отчего большею частью убиралась не к лицу». И на этот раз придуманная ею прическа отличалась от

модной: подпудренные волосы правительницы были не взбиты вверх, но низко расположены надо лбом в крупных завитках, а по обе стороны головы шло по одному длинному локону, опускавшемуся до плеча и свернутому в плотную толстую трубку. Наперекор тогдашней моде, в волосах Анны не было ни цветов, ни бриллиантов.

Лобри, убиравший правительницу, был не очень доволен настоящими государственными порядками, так как во главе империи стояла молодая женщина, не ценившая ни во что способностей и познаний одного из первых светил Парижа по парикмахерской части, и тщеславный француз был бы очень рад, если бы революционный переворот предоставил более практики его искусству и дал бы ему поболее денежной наживы. Убирая волосы правительницы, Лобри частенько кидал взгляды на счет, лежавший на виду у нее, на туалетном столе, и останавливал их на исписанной бумаге в надежде, что авось привлечет этим внимание своей высокопоставленной клиентки. Наконец, маневр его удался.

– А я еще ваша должница, – сказала она Лобри, заметив его счет, – сколько вам всего следует?..

– Семьдесят три рубля... – отозвался он, рассыпаясь в почтительнейших просьбах не беспокоиться об уплате.

– Как это можно? Вы человек рабочий, деньги вам постоянно нужны, – отозвалась она. – Пожалуйста, Анна Петровна, отдай господину Лобри сегодня же вдвое по счету, пусть лишнее будет ему за терпение...

Камер-фрау проговорила что-то себе под нос, очевидно, не намереваясь исполнить данного ей приказания.

Уборка головы кончилась. Лобри, ловко и почтительно расшаркавшись, вышел на цыпочках. Началась суетня камеристок около Анны Леопольдовны, на лице которой в то время, когда ее одевали, выражались и нетерпение, и неудовольствие. Она беспрестанно шевелилась, подергивалась и отклонялась то в ту, то в другую сторону. После натягиваний, подтягиваний, приколок, приглаживаний, обдергиваний, расправок, вытяжек, сглаживаний, пришиливаний, застежек, расстежек и

пристежек правительница была наконец одета.

– Вы совсем меня измучили, – сказала камеристкам утомленная Анна Леопольдовна.

Камер-фрау отошла несколько поодаль от пышно разодетой правительницы и с важным видом знатока бросила на нее последний общий взгляд. Затем, подойдя к ней, сочла нужным пригладить несколько отдельных волосков, обдернуть кружевную оборку корсажа, поотодвинуть вбок голубую орденскую ленту, прикрывавшую бриллиантовую звезду, расположить «шлеп» у платья правительницы в виде павлиньего хвоста и затем сказала торжественным голосом:

– Теперь выходить можно!..

Правительница пошла медленным шагом из уборной.

– Наряжалась бы так почаще, так побольше бы все уважения и страха имели, – проговорила Юшкова, смотря вслед уходившей Анне Леопольдовне...

## XXXVII

Когда Анна Леопольдовна переходила из своей уборной в бальную залу, не злоеющее, а веселое зарево пылало над невысокими зданиями тогдашнего Петербурга: зажженная по случаю торжественного дня иллюминация была в полном разгаре, а окна Зимнего дворца были залиты ярким светом. Сюда в богато убранные залы собрались многочисленные гости, и давно уже нарядная толпа двигалась, колыхалась, волновалась, шутила и смеялась, а отчасти и роптала – впрочем, только или мысленно, или исподтишка – на неаккуратность Анны Леопольдовны, так долго замедлявшей своим появлением открытие бала.

Правительницу на пути в бальную залу через одну комнату от уборной встретили давно уже ожидавшие ее здесь: принц Антон, великолепно разодетый гофмаршал граф Левенвольд – первый щеголь при тогдашнем русском дворе, дежурный камергер в пунцовом бархатном кафтане, расшитом золотом, несколько фрейлин, к которым присоеди-

лась и шедшая с Анной Леопольдовной из уборной Юлиана, и четыре пажа, одетые в богатые старинные испанские костюмы. Паживзяли по сторонам длинный шлейф платья правительницы, а конец шлейфа дежурный камергер положил к себе на левую руку, фрейлины стали позади правительницы, а рядом с ней ее супруг. Левенвольд, выступив вперед и отдав поклон их высочествам, открыл торжественное шествие.

При приближении Анны Леопольдовны в шумной зале, по данному знаку, все стихло и смолкло; глаза присутствующих устремились на те двери, в которые она должна была войти, а звуки труб и гром литавр возвестили ее вступление в бальную залу.

Широко и почтительно раздвинулась толпа перед медленно шествовавшей правительницей. Завитые и напудренные головы низко склонялись перед молодой женщиной, с лица которой и теперь не сходила обыкновенная задумчивость, и Анна Леопольдовна рассеянно, как будто нехотя, отвечала на низкие реверансы дам и на глубокие поклоны кавалеров, и даже цесаревна Елизавета со сторо-

ны ее не удостоилась особенно ласкового привета.

Правительница стала обходить залу под торжественные звуки польки, вошедшей уже у нас в моду на больших балах; принц Антон вел ее под руку. За этой первой парой шла Елизавета с маркизом Боттой, а за ними шли другие представители иностранных дворов с дамами, заранее предназначенными им по расписанию, составленному обер-гофмаршалом. Далее выступали придворные чины, военные и гражданские сановники и, наконец, офицеры гвардии с дамами. После первого обхода залы принц Антон явился кавалером Елизаветы, а Ботта заменил его при правительнице. Этой же чести, при третьей перемене кавалеров, удостоился и маркиз Шетарди, приехавший на бал во дворец не только по своей официальной обязанности и по страсти к увеселениям, но и преимущественно в надежде, не представится ли ему возможность, не возбуждая никаких подозрений, переговорить с Елизаветой и тем самым подвинуть вперед приостановившееся в последнее время исполнение его замыслов.

– Как сегодня прекрасна правительница!.. – сказал восторженным голосом маркиз Елизавете, улучив минуту, чтобы подойти к ней, когда она осталась одна. При этих словах по лицу цесаревны пробежала судорожная улыбка и она бросила недружелюбный взгляд на сидевшую вдалеке от нее Анну Леопольдовну.

«Мне только этого и нужно, – подумал Шетарди, – если до сих пор так трудно было склонить Елизавету, чтобы она стала действовать против правительницы из честолюбивых видов, то теперь не надобно пропускать удобного случая, чтобы сделать ее врагом Анны и по другому побуждению: из-за зависти женщины к женщине».

– Все находят ее высочество просто красавицей, – продолжал Шетарди, – и действительно, она заметно хорошеет день ото дня... – добавил он.

Елизавета быстро распахнула веер и начала им опахиваться. Она тяжело и гневно дышала, а ее полная, белая грудь высоко поднималась из-за кружевной оборки корсажа. Маркиз заметил раздражение цесаревны, но



не щадил ее, говоря:

– Действительно в правительнице есть что-то величественное, царственное, и то, в чем одни видят угрюмость и холодность, другие видят ту важность, то спокойствие и ту степенность, которые как нельзя более соответствуют ее высокому сану...

От таких похвал, делаемых правительнице маркизом, неудовольствие ее соперницы возрастало все более и более, но Шетарди показывал вид, что не замечает этого.

– Есть такие женщины, – продолжал он совершенно равнодушно, – которые, не имея красоты, бросающейся в глаза с первого раза, хорошеют с годами, и к числу таких женщин принадлежит правительница, и в этом отношении ее высочеству предстоит еще много в будущем. Ведь ей нет еще и двадцати трех лет. Правда, что ей много вредят ее застенчивость, робость, а также непривычка к шумным собраниям, но, без сомнения, все это пройдет мало-помалу к тому времени, когда она сделается императрицей...

– Этого никогда не будет!.. – задыхаясь от долго сдерживаемого волнения, полушепо-

том проговорила Елизавета, схватив крепко за руку маркиза и как бы желая этим порывистым движением удержать его от дальнейшего разговора.

– Будет, и будет даже очень скоро, если вы станете медлить, как вы медлите теперь, – прошептал маркиз, и в голосе его звучала уверенность, не допускающая никакого возражения.

– Что же делать?.. – тревожно спросила Елизавета.

– Предупредить ее замыслы, – наставительно проговорил Шетарди, – до осуществления их остается с небольшим только месяц, мне это очень хорошо известно...

Он хотел продолжать начатый разговор, но увидел подходящего к цесаревне обершталмейстера, князя Куракина. Елизавета, заведя князя, замолчала и хотела уйти.

– Останьтесь, не хорошо будет, вы навлекете на себя подозрение, – быстро проговорил ей Шетарди.

Подошедший Куракин с низкими поклонами заявил цесаревне, что он желал иметь счастье повергнуть к стопам ее высочества чув-

ства своего благоговейного уважения. С обычной своей приветливостью обошлась она с князем, слывшим при дворе за самого словоохотливого человека.

– Я передавал ее императорскому высочеству мои замечания об этой великолепной зале, – начал Шетарди, обращаясь к Куракину. – Вы, князь, были в Лондоне и потому можете сказать мне, больше или меньше эта зала залы Св. Георга в Виндзоре?

Куракин принялся за глазомерные соображения, но маркиз не дождал их результатов.

– У англичан есть обычай, – продолжал Шетарди, – называть целые здания и отдельные их части именами царствующих лиц. Водится ли, князь, подобный обычай в России? Отчего бы, например, не назвать какой-нибудь дворцовой залы именем Св. Иоанна, в честь ныне царствующего императора?..

– Его императорское величество еще малютка... Ему не до зал, – отвечал, улыбаясь, Куракин.

– Так бы назвать залю Св. Анны в честь бывшей императрицы, – заметил маркиз.

– Это название пожалуй что и впослед-

ствии от нее не уйдет, – как-то загадочно проговорил Куракин.

Елизавета и Шетарди переглянулись друг с другом.

– А я должен сообщить вам, любезный князь, некоторые новости о вашем старинном приятеле виконте Фронтиньяке, – сказал Шетарди Куракину, подмигивая вместе с этим Елизавете.

– Я вам, господа, не буду мешать в этой приятельской беседе, – сказала она, улыбаясь.

– Я должен сожалеть, что ваше императорское высочество оставляете нас, что же касается князя, то ему остается только поблагодарить вас за такое внимание, – шутливо заметил Шетарди, – ему придется, быть может, конфузиться, так как, по всей вероятности, у нас зайдет речь о некоторых его сердечных похождениях в Париже...

Куракин самодовольно захохотал, а Шетарди, ловко подхватив князя за руку, повел его с собой в сторону, надеясь добыть от болтливого царедворца некоторые пригодные для себя сведения. Бальная зала для выведочной беседы маркиза с князем представляла своего

рода удобства; вдоль ее стен были расставлены шпалерой миртовые и померанцевые деревья в полном цвету, за ними находились мягкие диваны, и Шетарди отыскал за этой зеленой и благоухающей изгородью укромный уголок, куда и затащил обер-шталмейстера. Потолковав с ним наедине, маркиз поспел украдкой, во время перерыва танцев, перешепнуться с Елизаветой. Потом снова подхватил князя и, поболтав еще с ним, опять подошел к цесаревне и отрывисто сообщил еще что-то к ее сведению. Вообще в продолжение всего бала Шетарди был самым деятельным агентом цесаревны и не от одного только слишком разговорчивого Куракина, но и от других лиц успел пособрать новости и слухи, окончательно убедившие его в необходимости побудить цесаревну действовать и решительно, и как можно скорее.

Елизавета в этот вечер не обнаруживала своей обыкновенной веселости и беззаботности. Лицо ее делалось все сумрачнее и сумрачнее: ее тревожили теперь не одни только неблагоприятные известия, сообщаемые ей на лету маркизом, но ее сильно волновали

и другие еще мысли. Сметливый дипломат достиг своей цели: еще ни разу в жизни цесаревна не чувствовала к Анне такой неприязни, какую почувствовала она теперь, и неприязнь эта быстро переходила в ненависть и в озлобление.

«Счастливая женщина! – думала Елизавета, бросая искоса гневные взгляды на Анну, – у нее есть все: ничтожный и слабый муж, которым она может прикрывать, да уже и прикрывает, свои грехи... у нее есть власть и несметные богатства: как много может она сделать всякому, если только пожелает! И как печальна моя горемычная жизнь в сравнении с ее жизнью... Счастливица она! Как много еще перед ней годов, которых у меня уже нет – тех годов, когда она будет цвести и хорошеть, а я уже буду увядать и стариться... Пройдет еще несколько лет, и чем будет прежняя красавица Елизавета? А она явится тогда в полном цвете если и не поразительной красоты, то той миловидности, которая в ней так нравится многим мужчинам... Да, маркиз прав, повторяя мне, что женщине нужно торопиться жить, а то улетит моло-

дость и ничто уже не будет мило».

Завидуя блестящей обстановке правительницы и ее юности, Елизавета с ужасом раздумывала о том, что стан ее начинает терять прежнюю стройность и гибкость, что белизна ее лица и румянец ее щек, хотя теперь еще и очень хороши, но все же не те, какие были прежде; что густая ее коса стала уже не так упряма под гребнем и что чуть-чуть заметные тоненькие морщинки стали показываться под ее глазами, в которых нет уже того огня и того блеска, какими они еще так недавно светились и искрились. Вспомнилось Елизавете и о том, как она в былую пору игрывала на лугу в горелки с деревенскими девушками и была такой проворной бегуньей, что никто не мог догнать ее, а теперь уже тяжеленько стало ей бегать взапуски: нет прежней прыти, нет прежней легкости. Вспомнилось цесаревне и о том, что, когда, бывало, она запоет какую-нибудь любимую песенку, звонкий голосок ее свободно переливался, словно соловьиные трели, а теперь не то! Перебрала мысленно Елизавета своих сверстниц-красавиц, и с грустью убедилась она, что время делает

свое, и тяжело стало у нее на душе. Теперь раздраженная против Анны зависть гораздо сильнее волновала Елизавету, как обыкновенную женщину, нежели волновало ее прежде, как дочь Великого Петра, негодование против правительницы за похищение у нее наследственного права на русскую корону...

Правительница, не охотница до танцев, вовсе отказалась от них в этот вечер под предлогом нездоровья; ее не покидала мысль о Линаре, и ей стало жаль, что он не видит той беспредельной почтительности, которой окружают ее теперь.

«Он, быть может, – думала Анна, – удовольствовался бы этим и не стал бы побуждать меня к такому смелому и опасному предприятию, которое даже в случае удачи удовлетворит одну лишь пустую суетность, а при несчастном исходе может навлечь на меня не только много бедствий, но даже и гибель...»

Равнодушно смотрела Анна на торжественное придворное празднество, отличавшееся уже не прежней тяжелой азиатской, но утонченной европейской роскошью того вре-



мени. Через несколько дней в «Ведомостях» явилось описание бала, данного в Зимнем дворце. В описании этом, между прочим, сказано было: «Богатые украшения и одежды на всех туда собравшихся персонах были, по рассуждению искуснейших в том людей, так чрезвычайны, что подобные оным едва ли при каком другом европейском дворе виданы были, причем благопристойность и приличный ко всему выбор и учреждение употребленному на то богатству и великолепию ни в чем не уступали». Такой отзыв тогдашнего, ныне не совсем удобопонимаемого публициста, должно признать вполне справедливым, если принять в соображение, что, например, леди Рондо, описывая один из придворных балов, бывших около той же поры при петербургском дворе, и рассказав о великолепии обстановки и роскоши нарядов, добавляла: «все это заставляло меня думать, что я нахожусь в стране фей, и в моих мыслях в течение целого вечера был «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Какие поэтические думы возбуждало это зрелище!»

Перед правительницей, сидевшей в боль-

ших раззолоченных креслах, поставленных на особом возвышении, происходили оживленные танцы. Музыка, под управлением итальянца-капельмейстера, играла то гавот, то менуэт; дамы и кавалеры любезничали и смеялись, а между тем правительница, подзвав к себе президента академии наук Бреверна, разговаривала с ним о своем недавнем посещении в академии библиотеки, кунсткамеры и кабинетов с монетами и другими редкими вещами. Она объявила президенту, что пришлет в подарок в кунсткамеру привезенный ей в дар из Персии от Шах-Надира дорогой, украшенный алмазами и жемчугами пояс жены Великого Могола. Она расспрашивала Бреверна об ученых занятиях академиков и просила выписать ей из-за границы новые французские и немецкие книги, так как весь имеющийся у нее запас для чтения должен был скоро истощиться.

Правительница не дождалась конца бала и удалилась из залы с той же торжественностью, с какой туда вступила. Танцы продолжались и после ее ухода и заключились шумным гротеском, после которого гостям, вдо-

бавок к обильному бальному угощению, был предложен еще роскошный ужин.

## XXXVIII

Зима замедляла действие наших войск против шведов. Русские оставались на занятых ими позициях, а правительница не думала делать никаких уступок стокгольмскому кабинету, и в Зимнем дворце происходили ежедневно совещания о дальнейших военных предприятиях. 23 ноября был отдан гвардейским полкам приказ о выступлении в двадцать четыре часа из Петербурга, так как пронесся слух, что шведский главнокомандующий Левенгаупт направляется на Выборг. Распоряжение это сильно взволновало гвардию и произвело большой переполох среди сторонников цесаревны. Они распустили молву, что правительница без всякой надобности удаляет из столицы гвардейские полки, расположенные к Елизавете Петровне, для того только, чтобы, пользуясь их отсутствием, провозгласить себя самодержавной императрицей. Приверженцы цесаревны приступили теперь к ней с решительными предложениями, но она колебалась и на внушения маркиза Шетарди произвести немедленно перево-

рот военной силой отвечала, что не может решиться на это из опасения, чтобы «римские гистории обновлены не были», т. е. она опасалась, что войско станет взводить и низлагать государей подобно тому, как то делали в Риме преторианцы.

Кроме того, приверженцы Елизаветы старались возбудить народ против существующего правительства; они повсюду толковали, будто император Иоан не был крещен, что он родился от отца, не крещенного в православную веру, что мать его держится втайне лютеранской ереси; что немцы забирают все в свои руки, что скоро приедет опять в Петербург любимец правительницы, граф Линар, и станет делать все, что захочет, и что тогда народу будет еще хуже, чем было при Бироне. Сопоставление этих двух имен порождало сильную ненависть к Линару. Чтобы подействовать на людей суеверных, враги правительницы распускали молву, будто над гробом императрицы Анны Иоановны являются по ночам привидения и между ними Петр Великий, требующий от покойной государыни корону для своей дочери. Пытались для уси-

ления замешательств пустить в народ говор, что император умер и что умышленно скрывают от народа его кончину. Поднялись толки о том, что малютке-императору предстоит самая плачевная судьба. Рассказывали, что при рождении принца тетка его приказала знаменитому математику Эйлеру составить гороскоп новорожденного. Ученый, посмотрев с обсерватории в трубу на твердь небесную, принялся за вычисления и выкладки и ужаснулся: светила небесные предсказывали страшный жребий царственному младенцу! Тогда Эйлер, боясь огорчить императрицу и посоветовавшись со своими товарищами, заменил настоящий гороскоп подложным, в котором предрек новорожденному долголетие Мафусаила, мудрость Соломона, богатства Креза, славу Александра Македонского и вообще предсказал ему такую счастливую жизнь, какая не доставалась еще на долю никому из смертных. Вдобавок ко всем слухам, агенты Шетарди пугали петербургское население молвой о приближении к столице шведов, прибавляя, что если бы не было правительницы и ее сына, то не было бы и войны,

так тяжело отзывающейся на всем народе.

Со своей стороны беспечная Анна Леопольдовна не принимала никаких мер для прекращения враждебных ей слухов. Она вела обычную жизнь: читала, беседовала с Юлианой, переписывалась с Линаром, а по вечерам проводила время в небольшом обществе близких ей лиц, и только по понедельникам бывали у нее более многолюдные вечерние собрания.

Перед одним из таких собраний, происшедшим 23 ноября, она получила из Бреславля письмо, в котором внушали ей быть сколько возможно осторожнее с Елизаветой и советовали немедленно арестовать состоящего при цесаревне хирурга, как главного вожака той партии, которая намеревается свергнуть и ее – правительницу и ее сына. В этот вечер ранее всех гостей приехал в Зимний дворец маркиз Ботта. Он просил Юлиану доложить ее высочеству, что ему тотчас же, до приема других гостей, нужно видеть правительницу. Настоятельное требование маркиза было немедленно удовлетворено, и он, разъяснив Анне Леопольдовне настоящее положение дел, заключил свой разговор с ней следующи-

ми словами: «Вы находитесь на краю пропасти; позаботьтесь о себе, спасите, ради Бога, и себя, и императора, и вашего супруга!» Эти два одновременных предостережения, письменное и словесное, подействовали наконец на правительницу, и она решилась объяснить откровенно с Елизаветой. В обычный час съехались к правительнице гости: одни беседовали между собой, другие сели за карты, но сама она, против обыкновения, не играла в этот вечер. Она в сильном волнении ходила взад и вперед по комнате, останавливаясь несколько раз у того стола, за которым играла цесаревна, и заметно было, что она хотела сказать ей что-то, но только никак не могла решиться. Наконец, преодолев себя, она слегка дотронулась до плеча Елизаветы. Цесаревна вздрогнула, а правительница сделала глазами знак, что желает переговорить с ней наедине.

Хозяйка и гостя пошли в отдаленную от гостиной комнату, и там Анна Леопольдовна начала свои объяснения с Елизаветой, предъявив ей прежде всего полученное утром из Бреславля письмо.



– Я ни в чем не виновата!.. – проговорила смущенная этой неожиданностью Елизавета, – я никогда и в мыслях не имела предпринимать что-нибудь против вас и против его величества... Я слишком чту данную мною вам и императору присягу, чтобы я посмела когда-нибудь нарушить ее. Письмо это подослано к вам моими врагами, они же сообщают вам ложные на мой счет известия, которые только напрасно тревожат спокойствие и ваше, и мое; на все это решаются злые люди для того, чтобы сделать меня несчастной...

– Но ведь маркиз де Шетарди бывает у вас, а мне очень хорошо известно, что он только и старается о том, чтобы возбудить раздоры и беспорядки и тем самым отвлечь внимание России от европейской политики; я, впрочем, очень мало понимаю в политике и говорю это не прямо от себя, передаю вам только то, что говорят знающие люди, не доверять которым я не имею никакого повода...

– Мало ли что говорят, – запальчиво перебила Елизавета, – говорят, например...

– Но ведь маркиз де Шетарди бывает у вас, – с большей против прежнего настойчи-

востью повторила правительница.

– Да, бывает, – отрывисто ответила Елизавета.

– Я хочу, чтобы он прекратил эти посещения, – требовательным тоном проговорила правительница.

– А я не в состоянии исполнить волю вашего высочества. Я могу отказать маркизу под каким-нибудь выдуманым предлогом один раз, много два раза, а потом, когда он приедет ко мне в третий раз, я должна буду принять его, против моего желания. Отчего вы не действуете проще: вы – правительница и имеете власть; так прикажите Остерману, чтобы он, со своей стороны, передал маркизу о вашем ему запрещении ездить ко мне...

– Я попросила бы вас не учить меня, – сказала правительница таким грозным тоном, который изумил Елизавету. Цесаревна смешалась. – Я немедленно прикажу арестовать Лестока, – продолжала Анна Леопольдовна, – он часто бывает у маркиза.

– Клянусь вам всемогущим Богом, клянусь вам всем святым, клянусь памятью моего отца и моей матери, что это неправда; нога Ле-

стока не бывала ни разу у Шетарди, – вскрикнула Елизавета, показывая на образ и заливаясь слезами.

– Не надо мне таких страшных клятв!.. Не надо!.. – проговорила изумленная правительница. – Я верю и без них...

Набожная и богобоязненная Елизавета смело клялась теперь, так как действительно Лесток ни разу не бывал у Шетарди, а видался с ним всякий раз в уединенной роще, бывшей тогда в окрестностях Смольного двора. Прибегая к такой уловке, Елизавета думала, что тут нет никакого клятвопреступления, а между тем таким смелым оборотом разговора она прикрывала все подозрения, высказанные против нее правительницей.

Страшная клятва, так твердо произнесенная цесаревной, ее слезы и рыдания до такой степени подействовали на Анну Леопольдовну, что она кинулась на шею Елизавете и начала просить ее, чтобы она простила ее за напрасные подозрения. При этом правительница ссылалась на то, что она была введена в ошибку, в которой теперь чистосердечно раскаивается.

Елизавета воспользовалась переходом молодой женщины от твердости к слабости и, в свою очередь, начала выговаривать ей, жалуясь на те обиды и оскорбления, какие ей приходится постоянно переносить без всякого с ее стороны повода. Цесаревна до такой степени успела убедить правительницу в своей невинности, что Анна расстроенным голосом сказала ей:

– Теперь я вижу, что нас ссорят злые люди: вы слишком набожны и настолько чтите и боитесь Бога, что не измените вашей присяге и никогда не призовете напрасно Его святое имя. Впрочем, – добавила она с неуместной откровенностью, – скоро все устроится так, что у наших недоброжелателей не будет более поводов к интригам и проискам.

От этих слов у цесаревны захватило дух, но она выдержала себя и, не говоря ничего более, возвратилась в гостиную и села продолжать игру; правительница, совершенно расстроенная объяснением с цесаревной, не знала, как дотянуть тягостный для нее вечер.

На другой день, т. е. 24 ноября, в день Св. великомученицы Екатерины, правительница

ездила к обедне в Александро-Невскую лавру, где была погребена ее мать – царевна и герцогиня Меклембургская, Екатерина Иоановна, и так как в этот день были именины покойной, то правительница отслужила панихиду над ее могилой. Едва успела она возвратиться во дворец, как к ней явился ее супруг. Его растерянный и испуганный вид предвещал что-то недоброе, и, действительно, он объявил правительнице, что, по дошедшим до него сведениям, не остается никакого сомнения, что ей, ему и всему их семейству угрожает страшная опасность.

– Непременно нужно, – говорил он, заикаясь второпях еще более, чем всегда, – непременно нужно сейчас же арестовать Лестока, не упускать из виду цесаревны, наблюдать за маркизом и расставить около дворца и по всему городу караулы и пикеты...

– Вы, ваше высочество, – с раздражением заметила правительница, – опять с вашими предостережениями, но они мне ужасно надоели. Я вчера поверила подобным внушениям и потом чрезвычайно сожалела, когда убедилась в тех клеветах, какие возводят на Ли-

зу. Неужели же такая чистосердечная и набожная девушка, как она, может так страшно клясться и так искусно притворяться?.. Вчера я довольно настрадалась за мое легкоеверие. Будет с меня и этого, я вам скажу только одно: вы слишком мнительны и чрезвычайно трусливы...

Принц тяжело вздохнул, пожал по привычке плечами и с опущенной вниз головой вышел молча от своей супруги.

В этот же день вице-канцлер граф Головкин давал торжественный бал по случаю именин своей жены Екатерины Ивановны, урожденной княжны Ромодановской. Весь большой петербургский свет был у него в гостях, но правительница, под предлогом поминовения своей матери, отказалась от приглашения графини Головкиной и, чтобы не отвлекать от нее гостей, отменила даже обычное у себя собрание. Весь этот вечер она провела за письмом к Линару, описывая ему, между прочим, в подробностях те тревоги, которые причиняют ей клеветами на не повинную ни в чем цесаревну. Письмо это предназначалось для отправки на другой день в Ке-

нигсберг, куда вскоре должен был приехать Линар на возвратном пути из Дрездена в Петербург.

Успокоенная насчет Елизаветы и в ожидании скорой встречи с Линаром, правительница была в этот вечер веселее обыкновенного; она заговорила с Юлианой до поздней поры и попросила ее переночевать в ее спальне. Болтая о том и о сем, молодые подруги заснули около полуночи крепким сном. Во дворце и кругом его было все тихо и только по временам раздавались обычные протяжные оклики часовых, бодрствовавших на страже, несмотря на жестокий мороз.

В то время, когда правительница и Юлиана ложились спать, кругом дворца быстро обежал какой-то человек, закутанный в шубу, с нахлобученной на глаза шапкой, что, однако, несколько не мешало ему зорко осматриваться во все стороны. Обежав кругом дворца и убедившись, что никаких особых предосторожностей не принято, он быстро повернул в Большую Миллионную и вошел в биллиардную, которую содержал в этой улице савояр Берлен. Там поджидал неизвестного господи-

на секретарь французского посольства Вальденкур, который, пошептавшись немного с вошедшим в бильярдную посетителем, вручил ему несколько свертков червонцев.

– Желаю вам, господин Лесток, полного успеха, – проговорил тихо секретарь.

– Я в этом вполне уверен... Впрочем, если бы я не решился на мое предприятие, то для меня все равно: я должен был бы пропасть, так как завтра буду непременно арестован, – проговорил довольно громко Лесток.

Выбежав проворно из бильярдной с полученными от Вальденкура червонцами, Лесток пустился опрометью к дворцу цесаревны, бывшему не в дальнем расстоянии от бильярдной, на том почти месте, где ныне находятся казармы павловского полка.

Лесток нашел Елизавету в страшном волнении, которое усилилось еще более, когда он объявил ей, что в настоящую минуту не остается ничего более, как только действовать самым решительным образом, что теперь для этого самая благоприятная пора, что завтра, по выступлении в поход гвардейских полков, будет уже поздно, да и он не в состоянии бу-



дет ничего предпринять, потому что утром возьмут его в тайную канцелярию. Цесаревна, видимо, колебалась, она молча слушала убеждения преданного ей человека, и, чтобы окончательно поколебать нерешительность Елизаветы, Лесток подал ей небольшой клочок папки. На одной стороне этого клочка была нарисована цесаревна в императорской короне, а на другой она была изображена в монашеском одеянии, а вокруг нее были колеса, виселицы, плахи, топоры и разные орудия пытки, ожидавшие ее приверженцев.

– Ваше императорское высочество, – сказал решительным голосом Лесток, – выбирайте одно из двух: или сделаться императрицей, или отправиться на заточение в монастырь и видеть при этом, как ваши верные слуги будут гибнуть в казнях и страдать в пытках. Если даже, – заметил Лесток, – вы и не успеете теперь в вашем предприятии, то вся разница будет только та, что вы попадете в заточение несколькими месяцами ранее, так как во всяком случае вы не избежите этой участи... Решайтесь же на что-нибудь!

В это время к цесаревне пробрались семь

гренадеров Преображенского полка. Они объявили ей, что так как гвардия уходит завтра в поход, то цесаревне необходимо теперь же положиться на войска и порешить со своими врагами. Окружавшие цесаревну тогда еще неизвестные лица, Алексей Разумовский, Михаил Воронцов и Петр Шувалов, тоже склоняли ее к решительным мерам.

Елизавета упала на колени перед образом Спасителя и долго молилась не только о том, чтобы Господь благословил исполнение ее предприятия, но чтобы Он и отпустил ей ту страшную клятву, которую она только вчера дала правительнице.

Окончив молитву, цесаревна объявила, что она готова на все, и в сопровождении своих приверженцев отправилась добывать корону...

# XXXIX

**П**од покровом ночи, с 24 на 25 ноября 1741 года, совершилось в Петербурге событие, значение которого было непонятно для зрителя, не посвященного в тайну замысла, приводимого в исполнение.

Около 12 часов ночи к казармам Преображенского полка подъехала в санях молодая женщина с четырьмя мужчинами: из них один заменял кучера, двое стояли на запятках, а один сидел рядом с ней. Около саней бежали семь гренадеров. Эти ребята, пробегая мимо казарменных помещений, стучали в двери и в окна, вызывая своих полковых товарищей именем цесаревны. Заспанные солдаты, одевшись наскоро, кое-как, выбегали с заряженными ружьями на улицу и окружали сани, медленно двигавшиеся вдоль Преображенских казарм. Вскоре около саней составила толпа человек в 300, и они вместе с цесаревной привалили на полковой двор. Здесь при слабом свете нескольких фонарей и звездного неба, отражаемом белой пеленой снега, Елизавета, выйдя из саней и став по-

среди гренадеров, сказала:

– Ребята! вы знаете, чья я дочь! Идите за мной!..

Так как заговор в пользу цесаревны составлялся давно и так как и офицеры, и солдаты знали уже, в чем дело, то никаких особых объяснений теперь не требовалось. Елизавета села опять в сани, а гренадеры гурьбой побежали за ней. На пути число их уменьшилось, так как по несколько человек, отделяемых от отряда, были отправляемы в разные стороны для заарестования сановников, считавшихся наиболее преданными правительнице. Со значительно уменьшившимися вследствие этого силами подъехала Елизавета на угол Невской «перспективы» и Адмиралтейской площади, и перед ней выдвинулся в ночном мраке Зимний дворец. Ни одного огонька не светилось уже в его окнах, видно было, что обитатели дворца погрузились в глубокий сон. Наступало решительное мгновение: у Елизаветы замер дух, она чувствовала, что у нее не надолго достанет отваги, возбужденной в ней ее прислужниками.

– Не наделать бы нам шуму санями и ло-

шадьми, – проговорил один гренадер, – вишь, ведь, как визжат полозья, да лошади-то, чего доброго, как назло примутся фыркать. Вылезай-ка лучше, матушка, из саней да пойдём все пешком, – добавил он, обращаясь к Елизавете, за санями которой следовали ещё трое других саней, взятых на всякий случай с полкового Преображенского двора.

Елизавета повиновалась бессознательно этому распоряжению. Она вмещалась в толпу солдат и направилась с ними пешком к Зимнему дворцу, но тотчас же оказалось, что небольшие и робкие шаги женщины были вовсе не под меру размашистым и смелым шагом рослых солдат.

– Вишь, как она отстаёт от нас. Подхватывай её, ребята, на руки! – крикнул тот же молодец, и цесаревна не успела опомниться, как уже очутилась на руках своих спутников, которые бегом принесли её к дворцовой караульне.

Сильный, здоровенный храп раздавался там, когда вошла туда Елизавета со своими главными пособниками, весь караул спал вповалку. Очнувшийся прежде всех барабан-

щик, видя что-то необыкновенное, кинулся было к барабану, но прежде чем он успел ударить тревогу, Лесток кинжалом распорол на барабанах кожу и сделал то же самое на двух других бывших в караульне барабанах. Четверо из караульных офицеров попытались было оказать сопротивление, но их притиснули к стене и обезоружили, и, втолкнув в соседний с караульной чулан, заперли там, оставив часовых.

По задней дворцовой лестнице, освещаемой одной только сальной свечкой, захваченной в караульне, поднималась Елизавета, сопровождаемая гренадерами. Стоявшие в разных местах дворца часовые, озадаченные неожиданным появлением цесаревны в глубокую ночь, не знали, что им делать, и молча сходили со своих постов, которые занимали елизаветинские гренадеры. Между тем часть пришедших с Елизаветой солдат сторожила все дворцовые выходы. Таким образом, без всякой тревоги и шума она пробралась во внутренние покои правительницы. Теперь оставалось ей пройти одну только комнату, отделявшую ее от спальни Анны Леопольдов-

ны. В страшном волнении опустилась в кресла Елизавета, чтобы собраться с силами: ноги ее подкашивались, руки дрожали, голос замирал. Осторожным шепотом ободрили ее Лесток и Воронцов. Цесаревна встала с кресла и медленным шагом, притаив дыхание, начала подходить к спальне правительницы.

С сильным биением сердца и с лихорадочной дрожью во всем теле она прикоснулась к ручке дверного замка, нерешительно нажала ее, дверь в спальню тихо приотворилась. Там, при слабом свете ночной лампы, Елизавета увидела спящую сладким сном на софе Юлиану. Цесаревна остановилась в нерешительности, но Лесток слегка подтолкнул ее, и она очутилась в спальне. На цыпочках подкралась она к правительнице и неслышным движением руки распахнула задернутый над постелью шелковый полог.

– Пора вставать, сестрица! – проговорила Елизавета насмешливо-ласковым голосом, наклонившись над Анной Леопольдовной.

Правительница вздрогнула и, не понимая, что вокруг нее происходит, быстро, в одной сорочке, вскочила в постели.

Горделиво стояла перед ней разодетая в бархат Елизавета, с голубой через плечо лентой и с андреевской звездой на груди, которые она, как нецарствующая особа, не имела права носить.

Не успела еще Анна Леопольдовна проговорить ни одного слова, как увидела выглядывавшие из-за дверей соседней комнаты суровые лица гренадеров, услышала тяжелый топот и скрип их сапог, стук об пол ружейных прикладов и бряцанье оружия.

– Я пропала! – вскрикнула она, закрыв в отчаянии лицо руками.

От громкого возгласа Анны Леопольдовны проснулась Юлиана и, сидя на софе со свешенными вниз голыми ножками, бессознательно посматривала кругом. Она протирала свои черные глазки, думая, что все это видится ей во сне, а не совершается наяву.

– Умоляю вас, – проговорила Анна, задыхаясь и опускаясь на колени перед Елизаветой, – не делать никакого зла Юлиане и пощадить моих детей!..

– Никому никакого зла я не сделаю, – равнодушно отвечала Елизавета, – только оде-



вайте поскорее, потому что здесь хозяйка уже я, а не вы... Да и ты, сударушка моя, поторапливайся поживее, – шутливо добавила она, обращаясь к недоумевавшей Юлиане.

Гурьба гренадеров ввалила теперь в спальню правительницы, и в присутствии этих неожиданных ночных посетителей молодые женщины начали одеваться. Елизавета поторапливала их.

– Надобно взять принца Ивана и принцессу Екатерину и увезти их, – проговорила она как бы про себя и затем, обратившись к своим спутникам, приказала никого не выпускать из спальни.

Исполняя последнее приказание цесаревны, по двое гренадеров стали на караул у каждой двери, скрестив штыки, а Елизавета, в сопровождении Лестока, отправилась в те комнаты, где находились император и его сестра, принцесса Екатерина.

Малютка спал в это время беззаботным сном, свернувшись крендельком в своей колыбели. Осторожно вынула его оттуда Елизавета.

– Мне жаль тебя, бедное дитя, – проговори-

ла она, – ты не виноват ни в чем, виноваты только твои родители.

С этими словами она передала спавшего ребенка на руки его мамки, не догадывавшейся вовсе о том, что делается.

Так же осторожно взяла Елизавета из колыбели и крошечку Екатерину, передав ее кормилице.

После этого цесаревна отправилась в спальню матери захваченных ею детей: «Иванушка» спал беспробудно, а его сестричка как-то болезненно ворковала спросонья. Между тем в спальню Анны Леопольдовны привели окруженного гренадерами принца Антона. Испуганный и бледный, он только с неммым укором посмотрел на свою растерянную жену и бросил сердитый взгляд на Юлиану, которая, как казалось, все еще не сознавала ясно того, что происходило. Цесаревна прикрикнула на нее, приказывая ей не наряжаться как на свадьбу, а выбираться поскорее. По распоряжению Елизаветы, горничные принесли шубки и шапочки для Анны Леопольдовны и ее фрейлины.

– Теперь можно собираться в путь-доро-

гу! – весело проговорила Елизавета, окинув глазами спальню и видя, что уже забраны все, кого ей нужно было забрать.

– Поздравляем тебя, наша матушка, с новосельем, – гаркнул один преображенец, обращаясь к цесаревне.

– Дай, Господи, жить тебе здесь подру-поздорову! – подхватил другой.

– И сто годков процарствовать! – добавил третий.

Ласковой улыбкой отвечала Елизавета на эти приветствия своих приверженцев, и видя, что все готовы, сделала Анне Леопольдовне глазами знак, чтобы она выходила из спальни. В это мгновение бывшая правительница вспомнила о письме, написанном ею с вечера к Линару, она вздрогнула от негодования при мысли, что Елизавета узнает все ее сердечные тайны, и кинулась к столику, на котором лежало письмо, чтобы взять его.

– Здесь ничего нельзя трогать! – строго сказала Елизавета, кладя на письмо одну руку, а другой отстраняя от стола Анну.

– Умоляю вас, отдайте мне его, оно вам не нужно... – прошептала молодая женщина.

Не отвечая ничего, Елизавета взяла со стола запечатанное письмо и заложила его за корсаж своего платья.

Окруженная со всех сторон гренадерами, выходила из своей спальни бывшая правительница. Позади нее с поникшей головой шел принц Антон; за ним мамки несли их детей, около которых была Юлиана. Теперь торжествующая Елизавета проходила со своей добычей через ярко освещенные залы дворца, так как хозяйничавшие там солдаты зажгли свечи во всех люстрах и кенкетах. Разбуженная начавшимся во дворце шумом прислуга сбегалась со всех сторон и, оторопелая, смотрела с изумлением, как уводили солдаты правительницу и ее семейство.

Идя по залам и спускаясь с лестницы, шедшие отдельной кучкой позади своих товарищей гренадеры принялись толковать между собой о случившемся на свой лад.

– Наша-то матушка цесаревна, не бойсь, – сама на своих супротивных пошла, а не послала других, как великая княгиня послала фельдмаршала против «ригента», – заговорил один из них.

– Не так, братец ты мой, рассуждаешь, – перебил другой, – там была особь-статья, женскому полу супротив своих ходить можно, а против мужского, да еще по ночам, никак нельзя. Да и что был за важная птица «ригент»? на нем, почитай, и заправского генеральства не было, а здесь что ни говори – император, хоть и махонький; да и мать-то его царская внучка...

– А все же не настоящая царица, какой будет теперь наша цесаревна, – возразил первый.

– Вестимо, была бы царицей, так кто бы посмел идти против нее?

– Да что, братцы, – начал молчавший пока гренадер, – теперь и войны у нас никакой не было, а вот как мы с год тому назад ходили курляндчика забирать, так совсем иное дело выходило. Орал, окаянный, во всю глотку, а ругань-то какую учинил и нам, и всему начальству. Отбивался – так я вам скажу – словно бешеный: кого в скулу треснет, кого в ухо свиснет, кому в зубы заедет; повозились мы с ним порядком, только прикладами да веревками и уняли. А теперь-то что было? Встала с

постельки, да только и проблеяла, словно голодная козочка.

– Просила, кажись, о чем-то цесаревну, – перебил один из гренадеров.

– Да не о себе, – заметил его товарищ, – а о той барышне-красотке, что с ней жила; ведь какая она пригожая! За нее-то она и просила: сразу видать, что, должно быть, куда какая добрая.

– Да что, и вправду, дурного о ней никогда слышать не приводилось; тихая была; зла никому не делала, – заговорили гренадеры.

– Вишь, муженек-то у ней плох, – начал один из них, – словно одурелая под осень муха. Выйди-ко он к нам, как следует, молодцом, да прикрикни на нас по-командирски, так того и гляди, что мы, пожалуй, и опешили бы... Значит, как есть начальство заговорило бы с нами.

– А что, ребятушки, не взяли ли мы греха на душу, ведь у нас и ей и ее сынку присяга была? – боязливо спросил один гренадер, внимательно прислушивавшийся к толкам своих товарищей.

– Какой нам грех? – бойко крикнул кто-то

из них. – Ведь говорят, что и на том свете наши командиры за нас в ответе будут, а мы ни при чем останемся.

– Так-то так, а все же и ее жалостно, двое деток мал мала меньше.

– Ну, цесаревна их милостью своей не оставит, и что им на харчи по положению следует, то отпущать им прикажет, – успокоительным голосом заключил какой-то служивый.

По выходе из дворца правительницу усадили в первые сани, на запятках и на козлах которых поместилось несколько гренадеров-победителей; в другие сани, под такой же надежной охраной, посадили принца, а в третьи – низверженного императора и его сестру с их мамками. С веселым шумом и громким гиком тронулся поезд, словно праздничный, за ним в четвертых санях ехала Елизавета с ближайшими из своих сподвижников. Поезд быстро примчался к ее дворцу, находившемуся на том почти месте, где ныне стоят казармы лейб-гвардии Павловского полка. Сюда же привезли одного вслед за другим: Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, у которого только что окончился именинный пир его жены. Всех арестованных разместили во дворце цесаревны, по отдельным комнатам, под самым строгим караулом. Из них Остерман был порядочно избит солдатами за то, что, несмотря на свою болезнь и дряхлость, он оказал им отчаянное сопротивление и, кроме того, в самых резких выражениях отзы-



вался об Елизавете и ее насилии над правительницей.

Пока весь Петербург крепко спал, не зная ровно ничего о том, что делалось на улицах и в двух дворцах, двенадцать вестовых на оседланых заранее лошадях мчались в казармы гвардейских полков и к начальствующим в столице лицам с известием о случившейся перемене правления. Сперва в городе, среди глубокой ночной тишины, слышался какой-то глухой шум и началось какое-то неопределенное движение. Обитатели и обитательницы Петербурга вскакивали с постелей, подбегали к окнам и, слыша суетню на улицах, думали, что не вспыхнул ли где-нибудь пожар. Действительно, вскоре поднялось над городом большое зарево, но оно происходило не от пожара, а от множества костров, разложенных перед дворцом цесаревны собравшимися теперь около него гвардейскими солдатами, которые, по случаю жестокой стужи, разместились около них. Толпы народа хлынули туда, но все терялись в догадках о том, что могло бы случиться необыкновенного. Бежавшие ко дворцу цесаревны осыпали

один другого вопросами, на которые, однако, никто не мог дать никакого определенного ответа.

До какой степени произошел быстро и неожиданно настоящий переворот, лучше всего можно видеть из «Записок» князя Я. П. Шаховского, проспавшего в качестве главного начальника петербургской полиции переворот, совершенный Минихом, а теперь в звании уже сенатора, не знавшего ровно ничего о вновь совершившейся перемене.

Князь пробыл до полуночи на именинах жены благоволившего к нему вице-канцлера графа Головкина и вернулся домой «в великом удовольствии и приятном размышлении о своих поведеньях, что он уже сенатор между стариками, в первейших чинах находящимися, обретается и что, будучи так много могущего министра любимец, день ото дня лучшие себе приемности ожидать и притом себя ласкать может надолго счастливым и от всяких злоключений быть безопасным». Только что успел заснуть князь-сенатор в таких приятных мечтах, как необыкновенный стук в ставень его спальни и громкий голос сенат-

ского экзекутора Дурново разбудил его. Экзекутор под окошком senatorской спальни всю мочь кричал, чтобы его сиятельство как можно скорее ехал во дворец цесаревны, «ибо-де она изволила принять правление, и я, – проговорил торопливо экзекутор, – с тем объявлением бегу к прочим сенаторам».

«Вы, благосклонный читатель, – пишет Шаховской, – можете вообразить, в каком смятении дух мой тогда находился! Ни мало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов к примечаниям не имея, я сперва думал: не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре потом увидел многих по улице мимо окон моих бегущих людей необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я поехал, чтобы скорее узнать точность такого происшествия».

Крепко подвыпившие солдаты шумели теперь перед дворцом цесаревны, ни на кого не обращая внимания; народ, не выражавший, впрочем, как это было при падении Бирона, громкой радости, до такой степени запрудил ближайшие ко дворцу улицы, что не было ни-

какой возможности пробраться в экипажах из дворца цесаревны в Зимний дворец, почему и приказано было всем явившимся к цесаревне сановникам идти туда пешком для принесения присяги воцарившейся теперь государыне. Вскоре, однако, полиция водворила в народе должный порядок; на всем пути, лежащем между двумя дворцами, были расставлены в два ряда войска, и Елизавета, окруженная своими ближайшими сподвижниками, поехала из прежнего своего жилища в Зимний дворец. Солдаты приветствовали ее громкими криками, но толпа, по свидетельству князя Шаховского, оставалась в «учтливом молчании». Всем становилось теперь жаль Анну Леопольдовну, правление которой отличалось кротостью, и все опасались своеволия солдатчины, которое и не замедлило вскоре проявиться. Гвардейцы стали вскоре буйствовать на улицах и позволяли себе обижать кого ни попало и на рынках, и в обывательских домах.

Около четырех часов вечера пушечные выстрелы, раздавшиеся со стен Петропавловской крепости, известили о переезде ее вели-

чества императрицы Елизаветы Петровны в Зимний дворец из прежнего ее дворца, в котором оставались под надежной стражей падшее брауншвейгское семейство и преданные правительнице вельможи.

Не особенно сильно терзалась Анна Леопольдовна о потере власти и величия, но она приходила в отчаяние при мысли, что ей, быть может, уже не придется увидеть Линара, и терзалась при мысли, что она будет разлучена с Юлианой. Тревожила ее и участь детей, но о судьбе своего мужа она вовсе не думала, хотя в то же время и не могла не видеть, до какой степени он был прав, когда так настойчиво предостерегал ее против замыслов Елизаветы. Анне Леопольдовне казалось даже, что теперь наступает для нее та желанная ею, чуждая всяких принуждений и стеснений жизнь, о какой она не переставала мечтать даже и в те минуты, когда, уступая настояниям Линара, готовилась провозгласить себя самодержавной императрицей. Молодая женщина порой даже радовалась тому, что с нее спало тяжелое бремя правления и что теперь не станут ее тревожить ни проис-

ки, ни интриги и что жизнь ее, хотя уже и не блестящая, пойдет спокойной колеей. Все желания ее в эту пору ограничивались только желанием скорого свидания с Линаром.

По-видимому, такое желание должно было вскоре исполниться. Письмо ее к Линару, захваченное Елизаветой, произвело на государыню впечатление в пользу бывшей правительницы. Из письма правительницы императрица могла убедиться, что Анна Леопольдовна не была непримиримым ее врагом, что молодую женщину не мучила жажда власти, что она отвергала те предложения, которые делались ей для того, чтобы избавиться от цесаревны и принять титул императрицы. Из письма этого, проникнутого от начала до конца откровенностью, Елизавета могла заключить, что Анна, лишившись однажды власти, не будет уже опасной соперницей новой государыне. Под таким впечатлением Елизавета решила поступить с бывшей правительницей как нельзя более снисходительно. Она просила маркиза Ботта передать Анне Леопольдовне, что будут приняты все меры для того, чтобы доставить принцессе и ее семей-

ству свободную, спокойную и обеспеченную жизнь. Маркизу Шетарди Елизавета говорила: «Отъезд за границу принца и принцессы решен, и, чтобы им заплатить добром за зло, я прикажу выдать им деньги на путевые издержки и оказывать им почет, подобающий их сану». В то же время в Петербурге толковали, как о деле окончательно решенном, что правительнице и ее супругу будет оставлена вся их движимость, что им будет назначено ежегодное содержание по 150000 рублей и что Анна Леопольдовна со всем ее семейством будет отпущена в Германию, для чего и ассигновано уже назначенному сопровождать ее гоф-фурьеру 30000 рублей. Со своей стороны правительница обязывалась подчиниться только следующим требованиям: никогда более не переступить через русскую границу, возвратить, прежде отъезда, все находившиеся у нее коронные бриллианты и драгоценности, оставя у себя лишь то, что было ей подарено императрицей Анной Иоановной; наконец, она должна была отречься от титулов императорского высочества и великой княгини, называясь по-прежнему светлейшей принцессой

Меклембургской и принеся императрице присягу на верность за себя и за своего сына. От принца Антона требовалось только, чтобы он сложил с себя звание генералиссимуса русских войск. О низложенном младенце-императоре не было никакого уговора, отрешение его от престола считалось делом поконченным вследствие самого хода событий.

Наконец, обещание императрицы предоставить Анне Леопольдовне свободу и соответственное ее рождению обеспечение было выражено Елизаветой и во «всенародном» манифесте, изданном 28 ноября. В манифесте этом сказано было «в рассуждении принцессы Анны и принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойства и особливой природной к ним императорской нашей милости, не хотя причинить им никаких огорчений, с надлежащей их честью и с достойным удовольствием, предав их к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

Действительно, 12 декабря 1741 года все брауншвейгское семейство было отправлено



из Петербурга в Ригу. Заведовавшему его отправкой камергеру Василию Федоровичу Салтыкову дана была секретная инструкция в том смысле, чтобы отвести «брауншвейгскую фамилию» «как можно скорее через границу», оставив ее на жительстве в Кенигсберге, куда она, по предварительному расписанию пути, должна была прибыть 28 декабря. Перед выездом Анны Леопольдовны Елизавета приказала удостоверить ее в своем благоволении и уверить, что она, принцесса, и ее семейство не будут забыты высочайшими милостями. Юлиане и сестре ее Бине разрешено было отправиться в свите бывшей правительницы.

На другой, однако, день после получения Салтыковым этой инструкции, ему был вручен противоречивший ей «секретнейший» указ, в котором говорилось: «Хотя данной вам секретной инструкцией и велено вам в следовании вашем никуда в города не заезжать, однако же, ради некоторых обстоятельств, то через сие отменяется, и вы имеете путь продолжать наивозможно тише и держать растахи на одном месте дня по два».

При приближении к Нарве занемогла ма-

ленькая принцесса Екатерина. Мать, испуганная болезнью дочери, стала просить капитана, сопровождавшего «фамилию», остановиться в дороге, чтобы дать больной малютке некоторый отдых. Имея тайное приказание замедлять сколь возможно долее выезд правительницы из пределов России, капитан очень охотно согласился исполнить просьбу Анны Леопольдовны, которая, вследствие этой задержки, приехала в Ригу только 9 января 1742 года.

Между тем в Петербурге дела принимали оборот неблагоприятный для бывшей правительницы. Остерман и Миних при допросах слагали главную вину на нее, рассчитывая всего более на то, что принцесса, переехав уже русскую границу, находится вне всякой опасности. Кроме того, Елизавета нашла нужным потребовать от Анны Леопольдовны отчеты в деньгах и в драгоценных вещах, бывших на руках у ее фрейлины Юлианы. В то же время иностранные посланники, из угодливости перед новой императрицей и желая выказать свою заботливость о ее благополучии, указывали ей на те опасности, какие могут

угрожать ее власти со стороны брауншвейгской фамилии, если эта фамилия поселится в Германии и будет пользоваться значительными средствами, назначенными ей от русского двора.

Спустя неделю по приезде Анны Леопольдовны в Ригу, прискакавший туда от императрицы курьер привез приказание задержать бывшую правительницу в Риге до окончания суда над Остерманом и Минихом. Вследствие этого принцессу и ее семейство поместили в городском замке, где они и прожили до 2 января 1743 года, когда пришло из Петербурга приказание перевести Анну Леопольдовну, ее мужа и их детей в динамюндскую крепость и содержать там под самым строгим надзором. Отношение императрицы к Анне Леопольдовне делалось все суровее, и положение «фамилии» заметно ухудшалось; с бывшей правительницей стали обходиться уже, как с простой арестанткой, и в сентябре 1743 года ее и все ее семейство отправили в Раненбург, ныне безуездный город в Рязанской губернии, и там засадили ее, мужа и детей в крепость, построенную князем Меншиковым в то вре-

мя, когда он владел этим городом.

Придворные козни против бывшей правительницы не унимались: распускали слухи об ее попытках к бегству, а также и о том, будто какой-то монах похитил бывшего малютку-императора и хотел увезти его за границу, и что предприятие его не удалось потому, что он был задержан в Смоленске. Слухи эти тревожили сильно императрицу, как бы нашептывая ей о возможности каких-либо покушений на ее власть со стороны брауншвейгской фамилии. Вдобавок ко всему этому русский посланник в Берлине, граф Чернышев, сообщал императрице, что король Фридрих II, заведя с ним разговор об императрице и выражая ей беспредельную свою преданность, заметил, что необходимо для спокойствия ее величества увезти все брауншвейгское семейство в такое удаленное и глухое место в России, чтобы никто не мог знать о его существовании.

Императрица решилась последовать этому совету, которым великий король-философ, — этот практический Макиавелли XVIII века — мстил Анне Леопольдовне за неудачу своих у

нее заискиваний против враждебной ему Австрии, не предчувствуя, что оберегаемая им теперь Елизавета доведет его впоследствии до того, что он, в припадке отчаяния, после поражения, нанесенного ему русскими войсками, приставит к своему лбу пистолетное дуло...

Наступило в Петербурге тоскливое январское утро с оттепелью и туманом, и при медленном рассвете, почти еще в потемках, рабочие принялись сколачивать эшафот перед зданием сената. На приготовленный ими эшафот поставлены были простой деревянный стул и плаха – низкий толстый обрубок дерева. Готовилось исполнение смертной казни, и толпы любопытных спешили к зданию сената, в ожидании зрелища кровавого, но вместе с тем и потешного для многих. Сенат помещался тогда в так называемых двенадцати коллегиях, где ныне университет, и собравшийся на этом месте народ с нетерпением ожидал вывода преступников из ворот сената, в который они были доставлены еще ночью. В окнах коллегий виднелось множество зрителей, между которыми находились и представители иностранных держав с чиновниками посольств.

На колокольне Петропавловского собора пробило девять часов. Ворота сенатского здания растворились, и из них выступило пе-

чальное шествие. Оно открывалось сильным отрядом гренадеров, перед которыми шли барабанщики, бывшие безостановочно «сбор». За этим отрядом везли впереди всех, в простых крестьянских санях, графа Андрея Ивановича Остермана. Голова его, поверх растрепанного парика с осыпавшейся пудрой, была покрыта дорожной шапкой, на нем был его обыкновенный домашний наряд – красный, доходивший до пяток, подбитый лисьим мехом шлафрок, неизменно служивший ему десятки лет. За санями, в которых ехал Остерман, шли пешком фельдмаршал граф Миних, вице-канцлер граф Головкин, президент коммерц-коллегии барон Менгден, обер-гофмаршал Левенвольд и «статский действительный советник» Тимирязев. Всех их, сопровождаемых и спереди, и сзади, и с боков гренадерами с примкнутыми штыками, ввели в обширный круг, составленный из плотно сомкнутой цепи солдат. Барабанный бой замолк. Четыре солдата подняли Остермана из саней и повели его на эшафот. Там они посадили его на стул. Тогда на эшафот взошел сенатский секретарь и начал читать Остерману смертный

приговор. Расслабленный старик обнажил голову и с невозмутимым хладнокровием слушал чтение приговора. Только по временам он взглядывал на небо и тихим движением головы выражал свое изумление при исчислении содеянных им государственных преступлений. Чтение приговора кончилось. Солдаты подступили к Остерману, повалили его навзничь и потом приподняли вверх его голову, которую один из палачей, сдернув со старика парик, схватил за волосы и притянул на плаху. Спокойное выражение на лице Остермана не изменилось нисколько и в эти ужасные минуты; заметно было только дрожание в руках, которые он вытянул вперед через плаху.

– Чего попусту руки суешь, – крикнул заботливо один из бывших на эшафоте солдат, – не их будут рубить, а голову!

Остерману подобрали руки и сложили их крестообразно на груди. Между тем другой палач принялся медленно вынимать из кожного мешка топор и, потрогав рукой его лезвие, стал подле плахи и замахнулся топором, готовясь, по команде секретаря, нанести



Остерману смертельный удар.

– Бог и всемилостивейшая государыня даруют тебе жизнь! – громко произнес секретарь. При этих словах один из палачей опустил топор вниз, а другой выпустил из рук волосы Остермана. Солдаты и палачи приподняли его. Остерман и теперь оставался так же спокоен, как и прежде.

– Отдайте мне мой парик и мою шапку, – сказал он окружавшим его. Ему подали их. Не торопясь нисколько, он накрыл ими голову и, не выказав ни малейшего волнения, сам застегнул ворот рубашки и шлафрока. Солдаты понесли его с эшафота в сани.

В толпе пронесся гул ропота: ожидания кровожадной черни не исполнились; но солдаты ласково обходились с осужденными: обращаясь к кому-либо из них, они почтительно называли его «батюшкой» и выказывали к ним сострадание вообще, в особенности же к Миниху, который при переходе из крепости в сенат шутил с конвойными и говорил им, что и на плахе они увидят его таким же молодцом, каким видывали в сражениях.

Действительно, если Остерман выказал

невозмутимое спокойствие, то Миних, не зная еще о том, что его ожидает помилование, и, следовательно, готовясь к смерти, как бы рисовался своим бесстрашием. Тогда как все приговоренные к смертной казни обросли во время их заключения в крепости бородами и были в изношенных платьях, один только Миних был выбрит и сохранил обычную щеголеватость в своей одежде. Гордо и презрительно, со всегдашней своей величавой осанкой, он беспрестанно озирался кругом, как будто все происходящее нисколько не касалось его. Твердыми шагами вошел он на эшафот и там с рассеянным видом выслушал сперва смертный приговор, а потом и объявление о помиловании.

На лице Левенвольда, вошедшего на эшафот после Миниха, выражалась сильная скорбь и были видны следы тяжелой болезни, но и он сохранял хладнокровие и твердость. Только Головкин и Менгден оказались малодушными: они заметно дрожали всем телом и, точно стыдясь, закрывали свои лица одеждой до самых глаз.

После того как все осужденные перебива-

ли на эшафоте, чтобы выслушать там сперва смертный приговор, а потом помилование, Миниха первого вывели из круга и в придворном возке, в сопровождении четырех гренадеров, отправили в Петропавловскую крепость. За ним повезли и его сотоварищей по несчастью, отдельно каждого в деревенских санях.

Всех, которым был объявлен теперь приговор, судили в сенате беспощадно, даже не по подлинному делу, а только по экстракту, препровожденному в сенат из тайной канцелярии и составленному там так, что обвиняемым не представлялось никаких способов даже к малейшему оправданию. Они были приговорены сенатом: Остерман – к колесованию, Миних – к изломанию членов и к отсечению головы; к последнему роду казни приговорены были также: Головкин, Левенвольд и Менгден. Следствие над ними велось с большим пристрастием не в их пользу, оно продолжалось с небольшим месяц и притом по приготовленным заранее вопросам. Следствие над ними кончилось 13 января, а 14 января состоялось повеление императрицы «су-

дить их по государственным правам и указам». В следственной комиссии, заседавшей во дворце, не видимой никем присутствовала и Елизавета. Она, находясь за устроенной перегородкой, могла следить лично за ходом всего дела, сущность которого состояла в обвинении подсудимых в намерении предоставить императорскую корону принцессе Анне, отстранив навсегда от престола цесаревну.

На другой день после объявления приговора, ранним утром приказано было отправить осужденных в ссылку с тем, чтобы на рассвете следующего дня никто из них не оставался в Петербурге. Исполнение этого распоряжения возложено было на сенатора князя Я. П. Шаховского. При этом женам осужденных объявлено было, что они, если хотят, могут отправиться с мужьями в ссылку, и все они показали в этом случае пример самоотвержения, заявив желание воспользоваться данным им разрешением.

Наступили сумерки, и все было готово для отправки Остермана; сани, назначенные для него, стояли у крыльца той казармы, в которой он содержался. Между тем старик лежал

и громко стонал, жалуясь на подагру. Солдаты подняли его с постели и бережно отнесли в сани; сюда же села и жена его Марфа Ивановна, причинявшая ему в былое время своей привередливостью много горя, но теперь оказавшаяся безгранично преданной ему подругой. Под прикрытием надежного конвоя повезли Остермана в Березов, где он окончил свою превратную жизнь. Вдова его была возвращена из ссылки и умерла в 1781 году.

После Остермана стали отправлять Левенвольда. Когда князь Шаховской вошел в большую и темную казарму, где сидел Левенвольд, к ногам сенатора, обнимая его колени, упал какой-то старик в дрянной, запачканной одежде, с седой бородой и с такими же всклооченными волосами, с впалыми щеками и бледным лицом. Он рыдал и говорил так тихо, что нельзя было разобрать его слов. Шаховской принял его за мастерового и велел вести себя к бывшему графу Левенвольду. Оказалось, однако, что эта жалкая личность и был еще так недавно блиставший при дворе обер-гофмаршал, граф Левенвольд, которому теперь изменила твердость, выказанная им

при публичном объявлении приговора.

«В тот момент, – говорит в своих «Записках» Шаховской, – живо предстали в мысль мою долголетние его всегдашние и мной виденные поведения в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерийскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении перед прочими». С надрывающимся сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольда в Соликамск, где он и умер 22 июля 1758 года, прожив шестнадцать лет в самом тяжелом изгнании.

Дошла очередь и до Миниха, этого, по словам Шаховского, «героя многократно с полномочной от монархов доверенностью многочисленных войск армией командовавшего, многократно над неприятелем за одержанные победы торжественными лаврами венчанного, печатными в отечестве нашем похвальными одами Сципионом, паче римского, восхвалявшего». И в эти роковые минуты Миних выдержал себя. Когда к нему вошел Шаховской, он стоял у стены, противоположной входу, спиной, смотря в окно. При входе

князя Миних обратился к нему и глядел такими смелыми глазами, какими окидывал, бывало, поле битвы. Он бодро пошел навстречу Шаховскому и остановился перед ним в ожидании, что тот будет говорить. Шаховской объявил указ о ссылке, и на лице Миниха выразилось не столько печали, сколько досады. Он набожно поднял руки и, возведя вверх глаза, сказал твердым и громким голосом:

– Благослови, Боже, ее величество и ее государство! – Затем, помолчав немного и обращаясь после того к Шаховскому, сказал: – Теперь, когда мне ни желать, ни ожидать ничего не осталось, я прошу только о том, чтобы для спасения души моей от всякой гибели, был со мной отправлен пастор, – и поклонившись вежливо Шаховскому, спокойно ожидал дальнейшего распоряжения.

Между тем жена его, скаредная немка, бросившая тень на фельдмаршала своими поборами, хлопотала о домашнем скарбе. В дорожном платье и в капоре, с чайником и разной утварью в руках, она, скрывая волнение, готовилась к отъезду. Миних отправился в Пелым, откуда, по распоряжению императрицы

Елизаветы, возвращался Бирон с «почетным» паспортом. На пути, при перемене лошадей на одной станции, Миних и Бирон встретились и только молча посмотрели один на другого. Двадцать лет протомился Миних в ссылке: он был возвращен в Петербург императором Петром III и умер в царствование Екатерины II, в 1767 году, 85 лет от роду, сохранив до глубокой старости изумительную бодрость.

Наступила ночь, и Шаховской, по его выражению, «нагрузя себя новыми мыслями», отправился к своему бывшему милостивцу и покровителю, графу Головкину, для исполнения и над ним состоявшегося приговора. Бывший вице-канцлер был неузнаваем: горе сломило его. Он стонал от хирагры и подагры и сидел неподвижно, владея только левой рукой. Печально и жалостно взглянув на Шаховского, он слабым голосом проговорил: «Тем более несчастнейшим себя я нахожу, что воспитан в изобилии и что благополучие мое, умножаясь с летами, возвело меня на высокие ступени, и я никогда не вкушал прямой тягости бед, коих сносить теперь сил не



имею».

Головкин отправился в Собачий Острог. Он умер в ссылке в ноябре 1755 г. насильственной смертью. Жена его Екатерина Ивановна, урожденная княжна Ромодановская, близкая родственница Анны Леопольдовны, последовала за ним в изгнание, перенося мужественно все несчастья и лишения. После смерти мужа она жила в Москве и, прославленная за свои добродетели, умерла там в 1791 году, дожив до девяноста лет.

Таким образом покончила Елизавета с теми, кого она считала людьми преданными правительнице, а следовательно, и главными своими врагами. В далекой ссылке они были безопасны для нее. Другие, незначительные личности испытали тоже тяжесть опалы. Граматин был понижен чинами, «понеже до сего в катских руках был», т. е. по той причине, что он при Бироне подвергся пытке за преданность Анне Леопольдовне. Аргамаков был отставлен от службы с тем, чтобы никуда впредь не определять. Акинфьев был переведен в армейские полки с понижением чина. Дальнейшая жизнь самого ревностного при-

верженца правительницы – Ханыкова – неизвестна.

Ожидания примирения со Швецией после низвержения Анны Леопольдовны оправдались. По поручению императрицы Елизаветы, Шетарди немедленно известил шведского главнокомандующего Левенгаупта о перемене правительства, с добавлением, что государыня крайне сожалела бы, если бы при начале ее царствования была пролита кровь шведов и русских. В то же время в Стокгольм был отправлен русский уполномоченный для мирных переговоров. Шведские пленные были освобождены, а генералу Кейту было предписано не нападать на шведов.

В противоположность той отчужденности, какой держалась правительница в отношении войска и народа, императрица объявила себя полковником всех гвардейских полков и капитаном роты, известной потом под именем лейб-компании, составленной из гренадеров, сопровождавших императрицу в ее ночном предприятии. Чтобы привлечь народ, Елизавета в течение первых шести дней после ее воцарения раздавала бедным, собиравав-

шимся перед дворцом в числе шести-семи тысяч человек, по 50 копеек на каждого.

Казалось, власть Елизаветы была окончательно упрочена, когда возникло дело о заговоре Лопухиных. Их сочувствие нечастной правительнице, выражаемое только на словах, было выставлено как злодейское государственное преступление. «Хотели, – объявляла Елизавета в своем манифесте, изданном 29 августа 1743 года, – возвести в здешнее правление по-прежнему принцессу Анну с сыном, которые к тому никакого законного права не имели и иметь не могут. Хотели привести нас в огорчение и в озлобление народу». Виновными по этому делу оказались: генерал-поручик Степан Лопухин, жена его Наталья, их сын Иван, графиня Анна Бестужева, сестра бывшего вице-канцлера Головкина, и Софья Лилиенфельдт, находившаяся фрейлиной при Анне Леопольдовне. Они обвинялись, между прочим, в том, что «прославляли принцессу». К этому делу был прикосновен и австрийский посланник маркиз Ботта, который «вмешивался во внутренние беспокойства империи». Статс-даме Лопухиной и графине Бестужевой

сперва урезали языки, а потом, наказав их кнутом, отправили в далекую ссылку. В ссылку же препроводили и бывшую фрейлину, высеченную предварительно плетьюми. Все эти знатные дамы, во время производившегося над ними следствия, побывали в застенке тайной канцелярии на «встряске» под ударами кнута.

Этот так называемый заговор был открыт в марте месяце 1743 года и произвел в Петербурге сильную тревогу. Секретарь саксонского посольства Пецольт писал: «Во дворце бодрствуют мужчины и женщины, боясь разойтись по спальням, несмотря на то, что у всех входов и во всех комнатах стоят часовые. Именитые особы не ложатся в постель на ночь, ожидая рассвета и высыпаясь днем. Вследствие этого происходит беспорядок в делах и в докладах и оказывается неурядица в общем государственном управлении».

Елизавета, встревоженная этим событием и беспрестанно запугиваемая окружающими ее царедворцами, а также и иностранными посланниками, видела в невиновой уже ни в чем лично Анне Леопольдовне главную

причину всех своих беспокойств и потому, покончив с мнимыми заговорщиками, она вознамерилась привести в исполнение те советы, какие давались ей как относительно самой правительницы, так и ее семейства...

Поселенное в Раненбурге в исходе 1743 года брауншвейгское семейство, кроме тоски изгнания, начало испытывать там и беспрепятственные лишения даже в предметах первой необходимости. Как ни тяжела была для бывшей правительницы неожиданно происшедшая в судьбе ее роковая перемена, но она пока могла переносить несчастье: подле нее был ее лучший друг – Юлиана, не терявшая никогда обычной своей веселости и тем поддерживавшая упадавшую бодрость Анны Леопольдовны. Молодых изгнанниц не оставляла также надежда на перемену к лучшему; однообразные дни коротали они в задушевных беседах, и порой Юлиана подсмеивалась даже над той западней, в которую попали и она, и ее беспечная повелительница. Бывшая фрейлина радовалась и развязке своих отношений к графу Линару, потому что брак, на который она соглашалась только из слепой привязанности к Анне, был теперь расстроен посторонними обстоятельствами, и Юлиана была довольна тем, что личной и, по ее мнению,

только временной неволей она освобождалась навсегда от предстоявших ей тягостных супружеских уз. Принц Антон в изгнании держал себя в отношении к жене «смирным и тихим» человеком, каким он был и прежде. Он никогда не укорял Анну за то, что она, пренебрегая его советами, погубила и себя, и его, и все их семейство. Когда заходила об этом речь, он, вздохнув, уходил от жены с набегавшими на его глаза слезами. На постигшее его несчастье он смотрел смиренно, как на кару Божью, и надеялся на заступничество за него и за его семейство перед императрицей со стороны родственного ему венского двора. Вообще все – и принц, и принцесса, и Юлиана утешались мыслью, что над ними разразилась только временная невзгода, что страдания их скоро кончатся и что для них начнется свободная и спокойная жизнь, хотя уже и не при той блестящей обстановке, какой они пользовались и которой Анна Леопольдовна никогда не прельщалась. Одно только обстоятельство начинало несколько тревожить их: их как будто совсем позабыли в изгнании, а забвение в настоящем случае,

как казалось им, могло быть не столько хорошим, сколько дурным предзнаменованием.

Любовь и привязанность Анны к Линару слабели постепенно. При всем ослеплении бывшей правительницы Линаром она не могла не видеть в нем одного из главных, хотя и неумышленных виновников ее падения; но в то же время ей приходилось укорять всего более себя за то, что она не последовала советам Линара относительно решительной расправы с Елизаветой. По временам, когда в воображении Анны оживала привлекательная личность Линара, когда ей припоминалось то время, которое она проводила с ним, она впадала в глубокое уныние, ее одолевала невыносимая тоска и она была готова отдать все надежды на лучшую будущность за то только, чтобы возвратить хоть на одно мгновение утраченное ею счастье. Юлиана употребляла все свое влияние для того, чтобы заглушить сердечные страдания своей подруги. В разговорах с Анной она старалась убедить ее, что Линар любил не столько ее, как женщину, сколько то величие, которое окружало ее; что он в сущности был такой человек, который



избрал любовь орудием для осуществления своих честолюбивых замыслов, и что согласие его жениться на ней, Юлиане, всего лучше доказывает хладнокровность его расчетов, а также и отсутствие страстной и искренней любви к Анне.

Если бывшая правительница еще и прежде так легко поддавалась внушениям своей неразлучной подруги, то теперь она, отчужденная от всякого другого влияния, еще легче убеждалась доводами Юлианы, которая, видя кротость и терпение принца в несчастье, стала относиться к нему совершенно иначе, нежели делала это в былое время. Сначала она редко, а потом все чаще и чаще стала приятенно заговаривать о нем с принцессой, которую когда-то так усердно восстанавливала против него. Общее несчастье мирило Юлиану с принцем, и теперь, под ее влиянием, началось между не уживавшимися прежде друг с другом супругами сближение, которое мало-помалу должно было перейти в привязанность и в дружбу. Игра в карты, чтение – это любимое занятие принцессы, хотя уже далеко не столь избыточное и разнообраз-

ное, как в Петербурге, и уход за детьми сокращали для Анны дни ее заточения в Раненбург, и она, поддерживаемая Юлианой, утешалась надеждой, что если не сегодня, так завтра придет радостная весть об освобождении: она не переставала верить в сострадание Елизаветы.

Вечером 10 августа 1744 года до правительницы дошло известие, что в Раненбург приехал из Москвы камергер, барон Андрей Николаевич Корф, женатый на двоюродной сестре императрицы, графине Скавронской. Приезд такого близкого к государыне лица оживил изгнанников новыми радостными надеждами. На другой день утром Корф явился к бывшей правительнице, но его озабоченный и сумрачный вид не предвещал ничего хорошего.

– Я приехал по повелению государыни к вашей светлости... – начал Корф и, замявшись на этих словах, он с печальным участием посмотрел на молодую женщину, на лице которой при его появлении выразилась радость.

– Вероятно, государыня забыла все наши против нее поступки и хочет дать нам свободу? – быстро подхватила принцесса.

– Ее императорское величество соизволила мне поручить передать вашей светлости ее всемилостивейший поклон и осведомиться о здоровье как вашем, так и всей вашей фамилии... – отвечал грустно Корф.

– Но что же будет с нами? – порывисто спросила Анна Леопольдовна. – Когда же придет конец нашей неволи?..

– Ее императорское величество, – начал Корф с притворным хладнокровием, очевидно, уклоняясь от ответа на обращенный к нему вопрос, – изволит пребывать теперь в Москве и находится в вожделенном здравии. Без всякого сомнения, вашей светлости приятно будет узнать об этом...

Принцесса не отвечала ничего, и только крупные слезы покатались из ее впалых глаз.

– Я желал бы иметь честь представиться вашему супругу и взглянуть на ваших детей, чтобы донесением моим о них удовлетворить ту заботливость, какую насчет их имеет всемилостивейшая наша государыня.

– Дети мои постоянно больны, а я сама страдаю. Ах! как я ужасно страдаю!.. – проговорила Анна и, закрыв глаза рукой, громко

зарыдала. – Умоляю вас, скажите мне: будем ли мы когда-нибудь свободны? – добавила она прерывающимся от слез голосом.

– Не смею долее утруждать вашу светлость моим присутствием, завтра я буду иметь счастье доложить вам о некоторых данных мне ее величеством поручениях, – сказал Корф и, почтительно поклонившись Анне Леопольдовне, вышел от нее сильно взволнованный при виде молодой страдальницы, которую он прежде видел в блестящем положении.

– У меня не хватило духу передать принцессе о том распоряжении, какое сделано государыней насчет ее, и я не в силах исполнить этого. Пойди и сообщи ей об этом, – сказал Корф ожидавшему его в другой комнате и состоявшему в Раненбурге при брауншвейгской фамилии капитану Гурьеву.

Капитан, по его приказанию, отправился тотчас же к Анне Леопольдовне и застал у нее принца Антона и двух бывших ее фрейлин, Юлиану и Бину. Все они прибежали к принцессе, чтобы узнать поскорее о разговоре ее с Корфом.

– По воле ее императорского величества

всемиловитивейшей нашей государыни, я обязан объявить вашей светлости, – сказал Гурьев, обращаясь к принцессе, – что вы и ваше высокое семейство должны немедленно выехать отсюда.

– Куда?.. – тревожно в один голос спросили все присутствовавшие.

Капитан молчал.

– Если бы нас выпускали на свободу, то ты, наверно, как добрый человек, поспешил бы обрадовать нас этой вестью, – вскрикнула Анна Леопольдовна. – Но, должно быть, нас ожидает еще худшая участь... – добавила она, смотря на Гурьева с выражением отчаяния в глазах.

– Ваша светлость, ваш супруг и ваши дети должны готовиться к немедленному отъезду, а куда – я этого вовсе не знаю, – ответил Гурьев.

– Стало быть, все кончено!.. – вскрикнула принцесса, и она пошатнулась на ослабевших ногах. Принц и фрейлины поспешили поддержать ее. Начался громкий плач, и в это время Корф, услышав, что Гурьев уже исполнил его поручение, вошел опять в ту комнату, где на-

ходилаась Анна Леопольдовна.

– Вашей светлости не остается ничего более, как только беспрекословно исполнить волю ее величества, положившись на ее милосердие... – сказал Корф кротко, но вместе с тем и внушительно Анне Леопольдовне.

– Положиться на ее милосердие? – гневно и насмешливо вскрикнула она, вскочив с кресел, на которые только что посадили ее в совершенном изнеможении. – Оставьте меня, – добавила она, повелительно показывая рукой Корфу на двери, – у меня достанет сил перенести несчастье, но я – я никогда не поступила бы так с Елизаветой, как поступает она со мной и с моим семейством... У нее нет к нам ни малейшей жалости...

Корф сделал вид, что он не слушает этих упреков, обращенных к императрице, и поспешил уйти.

Принц кинулся, чтобы успокоить жену, прося ее не раздражать государыню резкими словами, а две бывшие фрейлины Анны Леопольдовны презрительно взглянули вслед камергеру, поспешно уходившему в сильном смущении.

Принцесса, потрясенная неожиданной вестью, которая отнимала всякую надежду лучшую перемену, и вдобавок беременная в это время, слегла в постель; маленький принц был сильно болен, и сострадательный Корф, приняв все это в соображение, решился на свой страх отложить на некоторое время выезд брауншвейгской фамилии из Раненбурга, желая вместе с тем доставить ей и некоторые удобства, необходимые в дороге.

Корф безотлагательно написал в Москву вице-канцлеру графу Воронцову о том положении, в каком находится принцесса, выражая мнение, что дальний путь может вредно повлиять на ее здоровье. Он сообщил также и о болезни маленького принца, для которого поездка в осеннее время может быть даже пагубна; добавляя при этом, что «четырёхлетний ребенок, по отлучении от людей, которые с ним живут, не может быть покоен», почему он и спрашивал: не будет ли позволено взять в дорогу кормилицу и сиделицу? В пользу такого разрешения Корф приводил то соображение, что, оставаясь на их руках, младенец не будет плакать и кричать, а следова-

тельно, и «разглашения о себе делать не станет». На это представление Корфа был вскоре получен суровый отказ со строгим подтверждением увезти немедленно «фамилию» из Раненбурга.

Прежде, однако, чем был получен такой отказ, Корф отправил в Москву еще другое представление. В этом представлении он, ссылаясь уже не на беременность принцессы, но на постигшую ее тяжкую болезнь, спрашивал, нельзя ли будет отложить поездку, если болезнь ее светлости усилится, а также и о том, не будет ли ему разрешено в этом последнем случае допустить к принцессе повивальную бабку и священника, если бы она, предчувствуя близость своей кончины, пожелала исповедаться и приобщиться св. тайне?

Сердобольный барон обратил внимание и на ту беспредельную привязанность, какую имела принцесса к Юлиане. Ввиду этого он писал графу Воронцову, что если разлучить принцессу с бывшей ее фрейлиной, не предназначенной по повелению государыни к отправлению из Раненбурга, то принцесса «впадет в отчаяние».



На эти предложения Корфа не последовало из Москвы никакого ответа, и он, выждав по сделанному им расчету крайний срок, убедился в необходимости выехать безотлагательно из Раненбурга, предвидя, что дальнейшее промедление может вызвать только усиленные строгости против принцессы и ее семейства и вместе с тем навлечь неприятности на него самого.

Наступил день отъезда. Измученная душевными потрясениями, едва двигаясь на ногах от болезни, Анна Леопольдовна, при помощи Юлианы, заботилась только о том, чтобы как можно удобнее везти своих малюток. Все оделись и готовились уже садиться в поданные к крыльцу экипажи.

– Я должен доложить вашей светлости, – сказал принцессе вошедший к ней в это время с расстроенным лицом Корф, – что вам, к крайнему моему сожалению, никак нельзя ехать вместе с принцем, вашим сыном: у нас недостает лошадей, и я вынужден отправить его светлость с особым поездом вперед. Но вы, светлейшая принцесса, не беспокойтесь нисколько, так как мы на дороге догоним

принца... Проститесь с ним... на короткое, впрочем, время, – как бы поправляясь, подхватил Корф, и, проговорив это, он отвернулся, чтобы не видеть разлуки матери с сыном. Страшное предчувствие овладело Анной Леопольдовной.

– Вы хотите отнять у меня моего малютку! – с неистовством вскрикнула она и, быстро нагнувшись, крепко охватила Иванушку руками. – Я никому не отдам его... Ну, возьмите его от меня!.. Что же вы не берете? Возьмите!.. – насмешливо вызывающим голосом говорила Анна Леопольдовна, как будто уверенная, что заступничество матери преодолееет всякую силу.

– Позвольте, ваша светлость, – сурово и твердо проговорил бывший около Корфа и приехавший вместе с ним из Москвы капитан Миллер. – Принц по воле государыни поручен моим личным попечениям, – и с этими словами он высвободил малютку из слабых рук его матери, взял его в охапку и понес из комнаты. Принцесса рванулась за капитаном, но Корф и Гурьев удержали ее, а бывшие в другой комнате солдаты загородили ей выход

на лестницу. Со страшным, пронзительным визгом рухнула молодая женщина на пол, а между тем малютка с громким плачем бился на сильных руках похитителя, протягивая к матери свои ручонки.

– Отдайте мне моего Иванушку!.. Отдайте мне его!.. – кричала Анна Леопольдовна и в исступлении, не помня уже ничего, рвала на себе и волосы, и платье.

С немым состраданием и с пробивавшимися на глазах слезами смотрели все посторонние на отчаяние молодой матери. Принц Антон рыдал как дитя. Юлиана и Бина кинулись помогать Анне Леопольдовне, которая, однако, сама вскочив на ноги, точно безумная, обводила вокруг комнаты испуганным, диким взглядом, как будто отыскивая отнятого у нее ребенка...

## XLIII

Тридцатого августа, т. е. на другой день после увоза из Раненбурга Миллером принца Ивана, собралась в путь и Анна Леопольдовна с мужем и двумя маленькими дочерьми. Принцесса, несмотря на свое нездоровье и слабость, радовалась теперь предстоящей поездке, в надежде увидеться с сыном. Юлиане тоже приказано было уложить ее пожитки, и для Анны Леопольдовны было большим утешением думать, что она и на этот раз не будет разлучена со своей неизменной подругой. Но, когда уже нужно было садиться в экипажи, Корф объявил принцессе, что Юлиана не поедет с ней, так как для бывшей фрейлины не достанет в экипажах места, прибавив, впрочем, что она выедет из Раненбурга спустя несколько дней и догонит их на дороге.

При этом неожиданном известии страшный нервный припадок овладел молодой женщиной. Она поняла, что, вдобавок ко всем испытываемым ею притеснениям, у нее, наконец, хотят отнять даже и ту, которая была для нее дороже всего в жизни во времена ее

счастья и которая теперь, в дни печали и страданий, оставалась единственной ее утешительницей. В исступлении, не знавшем пределов, Анна осыпала укорами Елизавету и призывала проклятие Божье на исполнителей ее жестокого приговора. В свою очередь, и Юлиана была в отчаянии. Когда капитан Гурьев, исполняя распоряжение Корфа об отправке принцессы и видя, что никакие убеждения не действуют ни на нее, ни на ее подругу, приказал солдатам вынести Анну Леопольдовну на руках, то Юлиана как сумасшедшая кинулась к ней и, забывая все, стала противиться увозу принцессы, так что против молодой девушки пришлось употребить силу. Солдаты грубо оттолкнули ее, и одни из них, подняв Анну Леопольдовну на руки, вынесли ее из комнаты, а другие удерживали рвавшуюся вслед за ней Юлиану.

Когда принцессу усадили в наглухо закрытую повозку, то принц хотел сесть туда же, но был удержан Корфом.

– Вашей светлости, – сказал он почтительно принцу, – по указу ее императорского величества, не дозволено ехать вместе с вашей

супругой, и потому вы поедете отдельно.

Гурьев взял слегка под руку растерянного принца, только пожимавшего по привычке плечами, подвел его к такой же повозке, какая была приготовлена для его жены, и помог ему сесть. В других повозках разместились: Бина Менгден с маленькими принцессами, Корф с капитаном Гурьевым, а телеги заняла бывшая при них военная команда. Поезд был очень велик: Корфу приказано было взять с собой из Раненбурга, кроме Бины, камер-юнгферу Штурк, камердинера принца, двух поваров, двух поваренных и «скатертных» учеников, двух «хлебных» и одного «брандмейстерского» ученика, двух прачек, одного портного, одного башмачника, а также и находившегося при «фамилии» штаб-хирурга Манзея. Конвой состоял из трех унтер-офицеров и тридцати рядовых.

Разлученная со всеми, лишенная воздуха и света, точно в темном гробу, лежала в закрытой наглухо повозке больная и изнуренная страданиями бывшая правительница Русской империи. На первой же остановке Анна Леопольдовна пыталась узнать от Корфа, где ее

сын, когда догонит ее Юлиана, отчего ей не позволили ехать с мужем и куда везут их теперь? Щадя, по возможности, несчастную женщину, Корф утешал ее тем, что она скоро свидится и с сыном, и с Юлианой и что, по всей вероятности, ей после нескольких переездов будет разрешено ехать вместе с принцем. Что же касается ответа на вопрос: куда их всех везут? – то Корф отозвался, что он ничего не может сказать относительно этого, так как он сам только через каждые три дня получает из Москвы приказания, куда следует направляться далее.

– Уж не везут ли нас в Пелым, куда я сослала Бирона!.. – с ужасом вскрикнула принцесса. – Верно, Бог карает меня за то, что я жестоко поступила с регентом; но Господь правосуден и видит, что я не была виновата в этом, а был виноват Миних; я не хотела власти, я не хотела короны...

Корф не отвечал ничего на высказанную принцессой догадку о новом месте ее ссылки.

В то время, когда поезд, заведываемый Корфом, медленно подвигался вперед, его опережал другой поезд, состоявший под на-

чалством капитана Вындомского, заготовившего лошадей по той дороге, по которой везли принцессу и ее семейство. Корф, согласно с данным ему «секретнейшим» указом, за собственным подписанием императрицы, выехал из Раненбурга только тогда, когда Вындомский донес ему о поставке лошадей до Переяславля-Рязанского, а также о том, что он, Вындомский, для сделания такого же распоряжения поехал далее. Корф исполнил, но только с некоторыми послаблениями, и другие пункты упомянутого указа, в которых предписывалось ему ехать в Раненбург, взяв с собой пензенского пехотного полка майора Миллера, и, оставя последнего верстах в трех перед городом, самому при приезде туда вручить из числа приложенных к сему указу еще два указа: первый – лейб-гвардии семеновского полка капитану Вындомскому, а второй – лейб-гвардии Измайловского полка капитану Гурьеву. Затем, припася как можно скорее коляски и нужные путевые потребности, отправить Вындомского вперед для поставки лошадей, и когда о том получится от него донесение, то тотчас, взяв ночью принца Иоанна,



сдать его с рук на руки, тоже с приложенным особым указом, майору Миллеру с тем, чтобы майор тотчас же отправился в назначенный этим указом путь, а на другой день, также ночью, взять принцессу с мужем и остальными детьми, а также с назначенными для отправки с ними людьми, и ехать куда предписано в указе.

У Корфа не хватило духа исполнить в точности этот указ в отношении малютки-принца: он не решился похитить тайно ночью ребенка у матери, но дал ей возможность проститься с ним и утешал ее скорым свиданием с малюткой. Этим он думал, но ошибочно, смягчить хоть несколько жестокость данного ему указа.

Анна Леопольдовна ошибалась, полагая, что ее и ее семейство везут в Пелым, и напрасно терялась в догадках о том, где хотят скрыть ее сына. Местом нового заточения «фамилии» был назначен Соловецкий монастырь. Отдаленность этой обители и трудность доступа к ней по неприветливому бурями и льдами Белому морю казались Елизавете недостаточными для того, чтобы пребыва-

ние «фамилии» в таком глухом и отдаленном месте обеспечивало ее от тех опасностей, которыми могла угрожать ей падшая династия. Ближайшие советники императрицы по этому делу признали необходимым, по случаю ссылки в Соловецкую обитель бывшей правительницы и ее семейства, принять чрезвычайные, небывалые еще меры строгости, и Елизавета вполне согласилась с их мнением. В Соловки был послан капитан Чертов, чтобы устроить там помещение для отправляемых туда изгнанников. Ему был дан для вручения соловецкому архимандриту особый указ за собственноручной подписью императрицы. В указе этом повелевалось: приходящих на труд и по обещанию в Соловецкий монастырь людей выслать всех немедленно и вновь таких людей туда не пускать, а приезжающим в монастырь позволять только помолиться святым соловецким угодникам и отпеть им молебен и затем тотчас же удалять их из монастыря. Ключи от монастыря предписано было иметь Корфу, с тем чтобы после его отъезда они были переданы капитану Гурьеву; ворота отпирать днем не рано и запирать их посто-

янно еще до наступления сумерек и затем ни для кого особо их никогда не отворять. Архимандриту оставаться в монастыре безысходно и держать там монахов безысходных же; ввиду этого приказано было составить список наличных монахов и новых впредь не принимать. Караул у монастырских ворот содержать не послушникам, а военной команде, в которую набрать сержантов не из гвардии, а из армейских полков. Каждое письмо, от кого бы оно ни посылалось из монастыря и кем бы оно там ни получалось, показывать Корфу или тому главному начальнику, которым он будет заменен. Исполнение всего этого требовалось от архимандрита при выдаче особой подписки, в которой он за несоблюдение в точности данного ему указа подвергал себя лишению монашества, священства, чести и живота.

Брауншвейгское семейство везли в Соловки к Архангельску, через Переяславль-Рязанский, Владимир, Ярославль и Вологду, но так, чтобы эти города миновать проездом, вовсе не останавливаясь в них. Проехав Вологду, Корф и его спутники должны были заявлять,

что они по высочайшему указу едут для осмотра соляных промыслов, а иногда сказывать, что они отправляются на богомолье в Соловки. К Архангельску следовало подвезти ссыльных в глубокую ночь, посадить их там на приготовленные заранее морские суда, на которых и следовать немедленно в Соловецкий монастырь, где оставить принцессу с мужем, детьми и служителями в «команде» у капитана Гурьева, прапорщика Писарева и солдат. При этом предписывалось: «мешкотности не учинить и поспеть к Архангельску в половине сентября, дабы доехать морем до указанного места». По прибытии к монастырю «арестантов» велено было ввести туда и разместить ночью, чтобы их никто не видел. К суровости такого заточения прибавлены были теперь еще и новые лишения. В указе, данном Корфу, между прочим, сказано было следующее: «На пищу и на прочие нужды, что будет потребно, брать от архимандрита за деньги, а чего нет, то где сыскать можно, чтоб в потребной пище без излишеств нужды не было; токмо как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, какой был

прежде, но такой, чтобы человеку можно было сыту быть, и кормить тем, что там можно сыскать без излишних прихотей».

Корф обо всем, что касалось исполнения данного ему указа, должен был доносить прямо императрице и, окончив возложенное на него поручение, возвратиться в Петербург через Олонецк, дав Гурьеву, произведенному теперь в майоры, инструкцию о содержании принцессы с мужем, детьми и служителями так, чтобы «никто ни видеть их, ни говорить с ними не мог не только из живущих в монастыре, но даже и из служителей и караула, кроме лишь находящихся при них женщин и одного особо приставленного к ним бессменного и вполне надежного караульного».

Еще большей суровостью отличалась инструкция, особо данная Миллеру и касавшаяся бывшего императора. Миллеру предписывалось, чтобы он после того, как Корф отдаст ему «известного младенца четырехлетнего, приняв онаго, посадил в коляску и сам сел с ним, имея в коляске своего служителя или солдата для бережения и содержания того младенца, а именем его называть – Григо-

рий». С этим младенцем и шестью солдатами Миллер должен был ехать в Соловецкий монастырь и сказывать по тракту, что он послан от камергера барона Корфа вперед для осмотра приготовленных подвод и переправ, «а о том, что при нем находится «младенец», ни где и никогда не объявлять и никому, даже подводчикам, его не показывать, имея коляску всегда закрытою». В Архангельске Миллер должен был посадить на судно «младенца» ночью. В монастырь пронести его также ночью, в четыре приготовленные для него комнаты, и пронести так закрытым, чтобы никто не мог его заприметить, и оставаться там жить, неотменно строго наблюдая, чтобы кроме него, Миллера, его служителя или солдата, никто его «Григория» не видал бы. Около того помещения, где будет жить «младенец», содержать самый строгий караул, а его самого «никуда из камеры не выпускать и быть при нем днем и ночью слуге, чтобы в двери не ушел или в окно от резвости не выскочил».

Ехавшему перед Вындомским, а следовательно перед Миллером и Корфом, капитану гвардии Чертову повелено было: по приезде в

Соловецкий монастырь приискать там покои, приличные на такое употребление, как прежде в Раненбурге, и приискать их в такой стороне монастыря, в которой из него нет никакого выхода. В одном месте должно было быть четыре покоя, в другом, особом, но не в дальнем расстоянии от первого, двадцать покоев; ход в эти помещения с монастырского двора; если нет тут каменной стены, оградить крепким деревянным забором, сделав в нем одну только маленькую дверь. По поводу таких распоряжений Чертов должен был сообщить соловецкому архимандриту, что те покои назначаются для жительства некоторым людям, «определенным от ее императорского величества», и чтобы он, архимандрит, о всех распоряжениях, которые будут сделаны им по сношению с Чертовым, никуда рапорта не посылал и известия никакого – ни письменного, ни словесного – не давал. В удостоверение же того, что все эти требования будут исполнены в точности, архимандрит должен был дать Чертову подписку, угрожавшую его высокопреподобию тем же самым, чем угрожала ему подписка, данная им прежде, по прочтении

ему высочайшего указа.

В дополнение ко всему этому Корфу приказано было, что в случае, если поздняя бурная осень или льды не допустят его перебраться морем в Соловки, зазимовать на взморье, в Карельском Никольском монастыре, находящемся в 30 верстах от Архангельска, предъявив тамошнему архимандриту тот же указ, какой должен был быть предъявлен Соловецкому, и поступив во всем прочем точно так же, как следовало бы поступить по приезде в Соловки.

Медленно подвигался поезд на глухой север. Вындомский расставил лошадей на расстояниях от 25 до 30 верст, а болезненное состояние принцессы не позволяло ускорить езду по дорогам, трудно проезжим и в сухую летнюю пору, а теперь и вконец испорченным непрерывными осенними дождями. Следуя инструкции, Корф объезжал города, останавливаясь от них верстах в трех, так что бывшая правительница, проводившая когда-то жизнь в роскошных дворцах, была рада теперь отдохнуть в грязных и курных крестьянских избах. На этих отдыхах она, поль-



зуюсь снисходительностью Корфа, как бы случайно встречалась на несколько минут с мужем и дочерьми. О сыне же и об Юлиане она не знала ничего и, потеряв всякую надежду увидеть их когда-нибудь, мысленно навеки прощалась с ними.

5 октября Корф был еще в 130 верстах от Шенкурска и здесь получил от Чертова уведомление, что за льдами, показавшимися в Белом море, переезд в Соловки сделался невозможен.

# XLIV

В земле двинской, этом древнем достоянии когда-то вольного и могущественного Великого Новгорода, главным городом были Холмогоры. Приезжавшие на далекий север для торговли с русскими английские купцы завели здесь свои конторы и товарные склады, и в конце XVII века в Холмогорах была учреждена архиерейская кафедра. При Петре Великом занимал ее епископ Афанасий, усердно боровшийся с расколом; такое усердие не обошлось, однако, ему даром. В горячем богословском споре один из раскольников, для вящего доказательства правоты своих слов, дернул Афанасия за бороду, да дернул так, что половина бороды осталась на лице у преосвященного, а другая очутилась в руке изувера. Вырванная часть бороды не росла более, и тогда Афанасий для соблюдения единообразия в своем святительском лике стал брить уцелевшую половину бороды, и вследствие этого он был единственным безбородым иерархом в нашей православной церкви. Зато же и любил царь Петр Алексеевич —

ненавистник бород – потрепать ласковой рукой холмогорского владыку по его гладко выбритому подбородку. С особенным удовольствием сделал он это в свой приезд в Холмогоры, где обзаводился и обстраивался преосвященный. Рядом с Спасо-Преображенским, только что отделанным собором, самой великолепной в ту пору церковь во всем Северном крае, Афанасий вдалеке от городских жилищ построил архиерейский каменный двухэтажный дом в двадцать комнат. Заглянул царь в епископские палаты и понравилось ему, что Афанасий хочет жить, как подобает его высокому духовному сану.

– Хорошо, вельми хорошо, владыко, в твоём обителище, а покажи-ка мне твое хозяйство, – сказал царь.

– Изволь, государь, – отвечал архиерей и повел Петра по всему своему подворью. Здесь все оказалось в порядке: перед домом был выкопан глубокий пруд, и Афанасий доложил царю, что в этом пруду он разведет разную рыбицу. Увидел царь и огород, заведенный епископом; огород был хорош: на грядках были посажены и рассада, и морковь, и горох, и

огурцы, и брюква.

– Дельно, – сказал ласковым голосом царь, обращаясь к Афанасию, – ты, преосвященный, ни в чем нуждаться не будешь: разводи злаки во славу Божью и на пользу человека. Посмотрит люд православный на своего пастыря – и станет перенимать от него хорошее.

Всю архиерейскую усадьбу осмотрел государь с обыкновенным своим вниманием. Заглянул царь и в погреба, и в амбары, и в кузницу, и на мельницу, которая, весело помахивая крыльями, вертела большие жернова. Всем царь остался как нельзя более доволен. Он отслушал обедню в крестовой архиерейской церкви и громким голосом прочитал «апостол» и, закусив после обедни, самым дружелюбным образом расстался с Афанасием.

– Молись, преосвященный, усердно Богу, – сказал ему царь, – на то ты и монах; да только и по хозяйству не плошай и веди свое хозяйское дело и вперед так же исправно, как ты, с благословения Божьего, его начал, – сказал государь архиерею на прощанье.

Вскоре после смерти Петра епископская

кафедра была перенесена из Холмогор в Архангельск, и построенный Афанасием в Холмогорах дом остался необитаемым, под надзором одного монаха. Живший в этом доме в полном приволье монах был поздней осенней ночью разбужен наехавшим внезапно в Холмогоры гвардии капитаном Чертовым с собственноручным указом императрицы. В ту пору капитан гвардии был лицо куда какое важное, и крепко заспавшийся монах сильно струсил при виде такой персоны, да притом и с прозванием, особенно страшноватым в ночную пору. Прежде чем входить в какие-нибудь объяснения с оторопевшим иноком, капитан достал дорожную чернильницу, перо и, прочитав ему бумагу, потребовал под написанным его рукоприкладства. Между тем следом за капитаном въехала во двор архиерейского дома прибывшая с ним военная команда. Старик, не понимая хорошенько в чем дело, взял перо и дрожащей рукой учинил под предъявленной ему бумагой требуемое от него рукоприкладство. В бумаге же этой значилось, что подписавший ее, под страхом лишения священства, монашества, чести и жи-

вота, обязуется никому никогда не говорить ни слова о том, что он будет видеть и слышать. Затем капитан Чертов, остававшийся с глазу на глаз с преподобным отцом, объявил ему, что по указу ее императорского величества он, капитан, должен будет занять со своей командой архиерейский дом и произвести в нем немедленно некоторые постройки, так как дом этот предназначен государыней для помещения в нем «известных персон».

Через несколько дней закипела здесь деятельная работа: в архиерейском доме были сделаны кое-какие поправки, а от двора отделили некоторое пространство, которое и обнесли высоким и толстым забором, так что ни с одной стороны нельзя было подсмотреть, что происходило на огороженном месте.

Работа эта была окончена спешно, и в глухую полночь на 6 ноября в ворота вновь построенного забора въехало несколько повозок; из них одна была закрыта наглухо. Жалостно застонали на своих петлях крепкие ворота, и глухо застучали надежные железные затворы за въехавшими во двор повозками. Бывшие уже в архиерейском доме с Черто-

вым солдаты стали с заряженными ружьями у входа в дом, а другие были расположены цепью от этого входа до самых ворот. Тогда из закрытой повозки вышел солдат с небольшой тщательно обернутой ношей на руках и быстро, по приказанию Чертова, ожидавшего прибытия поезда, вбежал по указанной ему лестнице. Следом за солдатом пошел прибывший с поездом офицер. Началось размещение служивых, и на другой день еще более была усилена в архиерейском доме строгость военного караула.

Спустя три дня, в такую же позднюю пору, въехал во двор архиерейского дома другой поезд; он состоял из большего числа повозок, нежели первый. Этот второй поезд был принят с такими же предосторожностями, как и первый. В нем, кроме главного начальника, двух офицеров и военной команды, были две молодые женщины и нестарый еще мужчина, которых, окруженных со всех сторон солдатами, быстро повели в архиерейские палаты.

– Так вот куда мы попали! – с грустью проговорила одна из женщин, – что это такое?..

какой-нибудь город или монастырь? – вопро- сительно добавила она, торопливо оглядыва- ясь вокруг.

Никто не дал ей на этот вопрос никакого ответа.

«Сегодня ровно четыре года, как я, на мое несчастье, сделалась правительницей!.. Боже мой! когда-то кончатся мои страдания!..» – по- думала вновь привезенная узница.

– А где же Юлиана, где Иванушка? – спро- сила она, обращаясь к сопровождавшим ее лицам. Но и на этот вопрос, высказанный и с беспокойством, и с волнением, не было полу- чено ею никакого ответа.

Печально и сурово выглядывало новое жи- лище бывшей правительницы, отличавшееся неприветливостью старинных монастырских построек, а теперь еще и обращенное в место строгого заточения. Так называвшаяся «гости- ная» Анны Леопольдовны была самая боль- шая архиерейская палата. В ней было два ок- на; их глубокие амбразуры и вделанные в них толстые железные решетки слабо пропускали тусклый свет короткого северного дня; и тя- жело висели в этой комнате большие стрель-



чатые своды. Эта продолговатая комната была разделена деревянной перегородкой, за которой была спальня принцессы. Все убранство «гостиной», имевшей и в ширину, и в длину по тринадцать шагов, состояло из простого дивана, обитого кожей, и таких же четырех стульев. В переднем углу, а также и по стенам, примыкавшим к окнам, висели старинные иконы с теплившимися перед ними лампадками, а над диваном был портрет Петра Великого, напоминавший беспрестанно узнице о ее счастливой сопернице. Как все это было противоположно той роскоши и тому блеску, которые когда-то окружали Анну в ее петербургских дворцах! Богатая ее уборная, отделанная с таким вкусом Линаром, заменена была теперь маленькой келейкой, в которой только и было, что большой дубовый комод с испорченными замками и массивными медными ручками да маленькое зеркальце на одной сломанной ножке, перевязанной веревочкой. В других комнатах, с таким же и даже еще более плохим убранством, разместились принц Антон, дочери принцессы и приехавшая с ними в заточение сестра Юлианы,

Бина Менгден, бывшая фрейлиной правительницы, молодая девушка строптивого и порывистого нрава.

Но если так печально было новое жилище Анны Леопольдовны, то и представлявшиеся из окон его виды нагоняли неодолимую тоску. Решетчатые окна выходили в небольшое пространство, огороженное высоким забором; из них были видны небольшой пруд с его мертвенно-сонной поверхностью, несколько деревьев, разбросанных там и сям, и хозяйственные постройки. Вновь построенный забор, представлявший как бы отдельное внутреннее укрепление, опоясывала в некотором расстоянии каменная стена с четырьмя по углам ее башнями. За забором и за стеной, из окон второго этажа архиерейского дома, открывалась пустынная, нескончаемая даль с извивавшейся по ней петербургской дорогой. Горизонт окаймляли холмы и пригорки.

Даже в летнюю пору унылы были здешние окрестности, но все-таки зелень весны и лета хоть несколько оживляла их; зимой же они, под белым покровом снега, становились еще печальнее. Невысоко и ненадолго поднима-

лось над ними зимой холодное солнце, но зато и долго, и ярко обливал их в ту пору года месяц своим бледным светом. Летом, наоборот, солнце не сходило с неба, и его свет сливался с негаснувшей во всю ночь зарей, и казалось, что томительному дню не будет конца. Кругом все было пустынно и молчаливо, изредка только, да и то вдалеке, лениво тянулся мимо шедший из Архангельска обоз да доносился благовест и трезвон с колоколен городских церквей.

Мучительные дни начались в Холмогорах для Анны Леопольдовны, и ей нельзя уже было предвидеть никакого исхода. На милосердие и сострадание восторжествовавшей Елизаветы нечего было и надеяться. Императрица все суровее и суровее относилась к своей пленнице, и положение правительницы становилось все тяжелее и тяжелее; очевидно стало, что ей не будет оказано никакой пощады, никакого снисхождения. Не любя никогда шумного и многолюдного общества, Анна, на высоте окружавшего ее царственного величия, мечтала постоянно о тихой и покойной жизни. Но не такая жизнь, полная всевоз-

можных лишений и унижений, грезилась ей. Часто, в каком-то оцепенении, неподвижно по нескольку часов кряду сидела теперь бывшая правительница на одном месте, и в воображении ее так живо являлись безвозвратно минувшие для нее дни. Тогда прежнее равнодушие к власти сменялось в ней властолюбивыми порывами, и жестоко укоряла она себя за свою снисходительность и доверчивость к Елизавете. Она мечтала о том, с какой бы радостью схватила она опять ту власть, которую так оплошно выпустила из своих рук, и тогда, думала она, не было бы никакой пощады вероломной сопернице. Но ненадолго поддавалась такому чувству молодая женщина, так как она быстро приходила к сознанию своего настоящего бессилия.

– Не нужно мне ни власти, ни почестей, ни богатства, – повторяла она себе самой, – мне нужна только свобода; дайте ее мне!.. – Но и свобода была отнята у нее навеки.

Не одни только блестящие дни своей жизни хотела бы теперь вернуть бывшая правительница. В сравнении с настоящим заточением даже пребывание ее в Риге и заключе-

ние сперва в дюнаминдской крепости, потом в Раненбурге казались ей счастливой порой. Тогда ее не покидала еще надежда на перемену к лучшему: она мечтала о возможности выехать из России, встретиться опять с Линаром и провести жизнь спокойно, вдалеке от бурь и тревог. Всем эти ожиданиям не суждено было, однако, исполниться. Из временной узницы, которую на первых порах окружали и довольством, и соответственным ее сану почетом, она обратилась теперь в вечную невольницу, которой все сильнее и сильнее давали чувствовать тягость ее ужасного положения: ее завезли в глухую даль и разлучили с теми, кто был для нее дороже всего на свете...

С тревогой в душе обращалась Анна Леопольдовна к окружавшим ее с вопросами о сыне и об Юлиане, дружеские беседы с которой так заметно облегчали ей тоску изгнания. Вопросы эти выслушивались сурово, и их или проходили совершенным молчанием, или же на них давали уклончивые ответы, которые еще сильнее волновали и раздражали молодую женщину.

Между тем придирчивость Елизаветы к бывшей правительнице усиливалась все более и более. Еще во время содержания правительницы в Риге до императрицы дошло известие, что брауншвейгское семейство не оказывает приставленному к нему В. Ф. Салтыкову должного уважения. По поводу этого императрица потребовала от Салтыкова объяснения, пригрозивши, что в случае если этот слух справедлив, то она примет другие меры. «Вам надлежит, – писала ему Елизавета, – того смотреть, чтобы они вас в почтении имели и боялись вас». Спустя немного времени после этого, Елизавета прислала в Ригу к правительнице запрос о ненайденных в золотом нахтише (шкатулке) бриллиантах и о том опахале с рубинами и алмазами, который был в руках правительницы в тот вечер, когда Шетарди на бале возбуждал зависть Елизаветы против Анны. Вообще Елизавета проявляла теперь мелочную мстительность раздраженной женщины, подавлявшую в ней то чувство великодушия, которое она могла бы оказать как полновластная правительница.

После того как Чертов донес Корфу о невозможности из-за поздней уже на отдаленном севере осени плыть морем в Соловки, Корф, исполняя данное ему повеление, должен был отправиться на зимовку в Никольский Карельский монастырь и оттуда весной перебраться на Соловки. Между тем проезд в Никольский монастырь оказался теперь неосуществимым: доехать до него сухим путем, по топким болотам и трясинам, не представлялось возможности, а настоящей проезжей дороги к нему проложено не было; пробираться же на лодках вдоль морского берега было, за непогодами, настолько опасно, что Корф не решился пуститься в это плавание. Кроме того, Чертов сообщил Корфу, что здания Никольского монастыря пришли в такую ветхость, что прожить в них зиму без значительных поправок никак нельзя. При этом он указал на Холмогоры, где находился обширный, никем не занятый архиерейский дом, удобный для помещения в нем брауншвейгской фамилии. Корф представил обо всем

этом императрице, прося разрешения поселить изгнанников в Холмогорах; но ему дозволено было только прозимовать там, с подтверждением ехать весной в Соловецкий монастырь.

Подавленная горем, мучимая разлукой с сыном и с Юлианой, принцесса невыносимо страдала в месте нового своего заточения, а между тем для нее приближалось время родов. Сам Корф поехал в Архангельск и, живя там под чужим именем, как будто для своего семейства, нанял кормилицу и пригласил повитуху-немку, которых под непроницаемой тайной привез в Холмогоры, взяв с них предварительно грозную подписку не разглашать никогда ничего о том, что они там увидят и услышат. 19 марта 1745 года принцесса родила принца Петра. Появление на свет этого ребенка было причиной новых терзаний для Анны: ее не покидала мысль, что к ее преследуемой судьбой семье прибавился еще новый страдалец. Рождение принца было тщательно скрыто от всех. Корф был его восприемником, а окрестил его крестовой монах Илларион Попов, который дал подписку, что он «такого-то



числа был призван к неизвестной персоне для отправления родительских молитв, которое ему как ныне, так и во все прочее время иметь скрытно и ни с кем об оном, куда призываем был и зачем, не говорить, под опасением отнятия чести и живота».

В день рождения принца Петра Корф получил от императрицы разрешение поселить брауншвейгскую фамилию в Холмогорах «навсегда». Ходатайство об этом со стороны Корфа было уважено, потому что при плавании в Соловецкий монастырь на судах невозможно было бы избежать огласки, в особенности же потому, что с Соловков в течение нескольких месяцев – прекращается плавание по Белому морю – нельзя было бы получать в Петербурге о «фамилии» никаких донесений. Поселив Анну Леопольдовну и ее семейство в Холмогорах и дав секретную инструкцию майору Гурьеву, назначенному главным надсмотрщиком за узниками, Корф уехал в Петербург.

Все надежды Анны Леопольдовны исчезли теперь безвозвратно: она поняла, что ей не предстояло уже ничего другого, как только безысходное суровое заточение, нескончае-

мый ряд всякого рода лишений, начиная со свободы и кончая мелочными потребностями ежедневного обихода, и вдобавок – что было всего ужаснее – вечная разлука с любимым первенцем-сыном, а также с Юлианой, без поддержки которой Анна Леопольдовна совершенно упала духом. Здоровье принцессы было надломлено и болезнью, и душевными страданиями, и не сбылось завистливое опасение Елизаветы, которой казалось, что в ту пору, когда она станет увядать, Анна будет цвести и миловидностью, и молодостью. Беззаботная Елизавета, пользуясь полной свободой и окруженная роскошью и удовольствиями, сохраняла еще замечательную красоту женщины средних лет, тогда как ее прежняя соперница под гнетом тяжелой неволи быстро увядала, несмотря на свою раннюю молодость. Никто бы не узнал теперь бывшую правительницу, отличавшуюся стройностью станна и цветущим здоровьем, в изнуренной и не по годам состарившейся изгнаннице. Ее болезненный и страдальческий вид, осунувшиеся щеки, глубоко впавшие и лишившиеся блеска глаза, согнувшийся стан, неровная по-

ходка и исхудалая, когда-то высокая грудь говорили о том, что ей пришлось перенести в жизни, и предвещали, что она недолголетняя обитательница на земле.

Печально и невыносимо медленно тянулся для Анны Леопольдовны каждый день заточения. Она знала, что завтра будет то же самое, что было сегодня и вчера. Как растерянная бродила она по комнатам своего угрюмого жилища; даже прогулка вне его позволялась ей только летом, на короткое время, и притом на небольшом, со всех сторон огороженном пространстве. Убийственная тоска томила ее все сильнее и сильнее; она не имела никого, с кем бы могла отвести душу в дружеском разговоре, как это бывало прежде, когда с ней жила Юлиана. Она не могла даже развлечься чтением, так как ей дозволено было давать только книги духовного содержания. Все сношения ее с кем бы то ни было из посторонних, кроме находившейся при ней прислужницы, были пресечены, и она не знала не только о том, что делалось за оградой ее тюрьмы, но даже и о том, что делалось за стенами ее собственного тесного жилища. Вид ее

мужа, к которому она стала теперь чувствовать привязанность, как к единственному близкому ей человеку, преданному ей и покорному пред нею, увеличивал еще более ее страдания. Принц Антон безропотно переносил свою горькую участь и служил для Анны живым и постоянным укором за все ее прошлое. Дети не утешали ее; напротив, даже нагоняли на нее самые тяжелые, неотвязчивые думы: глядя на своих несчастных малюток, она вдавалась в отчаяние, предвидя их печальный жребий. Но всего более мучила принцессу судьба похищенного у нее и неизвестно куда сокрытого старшего сына и бесследно исчезнувшей Юлианы.

Не только действительность, окружавшая молодую страдалицу, но и страшные сновидения беспрестанно возмущали ее. Часто, в тревожном забытьи, заменявшем теперь для нее спокойный, подкрепляющий сон, ей грезился ее несчастный «Иванушка». То представлялся он ей в том царственном величии, которое должно было бы быть его уделом, и тогда сердце матери начинало биться радостным трепетом. То являлся он ей жалким бедняж-

кой, в лохмотьях и рубищах, с испитым лицом; тоскливо смотрел он на свою мать, как будто желая сказать ей что-то. Анна кидалась к малютке, но сновидение быстро исчезало. То виделся он ей в каком-то беспредельном пространстве, в сонме ангелов и херувимов, и, уносясь в светлую даль с веселым личиком, манил ее к себе своей ручонкой. Анна тщетно рвалась к нему, болезненно замирало у нее сердце, и она пробуждалась с громким, отчаянным плачем. Но самым мучительным для Анны сновидением было повторение ее прощания с сыном. В это потрясавшее ее мгновение пред нею оживала действительная разлука, со всеми ужасами отчаянья и томления. Грезилась ей и Юлиана, то в виде веселой, беззаботной девушки, какой она была когда-то, то в виде страдальицы, убитой горем; являлся ей в сновидениях и Мориц, и тогда призраки минувшего воскресали перед ней... Все эти грезы принимали какие-то фантастические образы, при которых печальная действительность смешивалась с причудливой игрой расстроенного воображения.

Встревоженная сновидением, Анна Лео-

польдовна быстро вскакивала с постели и вы-  
бегала за перегородку своей спальни. Там, как  
обезумевшая, долго рыдала она или при беле-  
соватом свете зари, не гаснувшей на ночном  
летнем небе, или при ярком свете месяца,  
проникавшем в долгие зимние ночи в окна ее  
жилища. Тоска и отчаяние щемили ее сердце,  
и она чувствовала, что скоро не станет у нее  
сил, чтобы переносить истомившее ее горе.  
Между тем прибавилась еще новая скорбь:  
Анна Леопольдовна опять готовилась быть  
матерью третьего ребенка, рожденного в  
неволе, и 8 февраля 1746 года в холмогорском  
заточении появился на свет Божий новый уз-  
ник, окрещенный под именем Алексея, с та-  
кой же таинственностью, с какой был окре-  
щен брат его, Петр.

Измученная тяжелой жизнью и изнурен-  
ная трудными родами, лежала Анна Леополь-  
довна в постели в полузабытьи, когда в сосед-  
ней комнате слышался сдержанный шепот  
между хлопотавшими около нее врачом Ман-  
зеом и приставленным к ней для надзора  
майором Гурьевым.

– Мне необходимо видеть сейчас же прин-

цессу, чтобы лично вручить ей эту бумагу, – настоятельно шептал майор доктору.

– Принцесса так слаба, что я опасюсь за ее жизнь; она может умереть каждую минуту, – прошептал Манзей.

– Поэтому-то мне еще необходимее видеть ее безотлагательно. Я сам буду в ответе, если не исполню как следует данного мне повеления, – возразил майор.

– Передайте мне эту бумагу; я улучу минуту и предъявлю ее принцессе, – проговорил доктор.

– Я никому не могу передать ее и должен сам объясниться по поводу ее с принцессой с глазу на глаз, – решительным и уже несколько возвышенным голосом сказал Гурьев.

Манзей увидел бесполезность дальнейшего сопротивления и осторожным шагом вошел в комнату принцессы, чтобы предупредить ее о полученной из Петербурга бумаге.

– Быть может, наконец я буду свободна... – проговорила слабым голосом Анна. – Зови его скорее.

Гурьев, получив позволение войти к принцессе, попросил Манзея уйти из ее комнаты.

Затем он удалил из другой комнаты как доктора, так и прислугу, запер двери на замок и, убедившись, что никто ничего не может подслушать, вошел к принцессе. Анна Леопольдовна не могла приподняться и только ласковым взглядом встретила Гурьева.

– Я беспокою вашу светлость по чрезвычайно важному делу... Я никак не мог медлить вручением вам этого указа, – сказал он, подавая принцессе бумагу, которую она взяла от него дрожащими руками. Он помог ей приподнять немного голову на подушке и поднес к ее глазам стоявшую на столе свечку.

С трудом начала читать Анна поданный ей указ. Сильная дрожь пробегала по всему ее телу, и вдруг она с пронзительным криком выпустила из рук бумагу.

– Нет, нет!.. этого не может быть!.. Пощади ее, Лиза!.. Умоляю тебя, пощади ее... она не виновата... – кричала в беспамятстве Анна Леопольдовна.

Гурьев кинулся опрометью за доктором, надеясь при его Помощи добиться от принцессы какого-нибудь ответа, но ожидание его не исполнилось. В сильном горячем бреду



она что-то бессвязно шептала, как будто разговаривая сама с собой.

– Мне кажется, что на выздоровление ее нет никакой надежды, и вы только напрасно будете мучить ее вашими расспросами, – сказал доктор майору.

Постояв некоторое время у постели больной, Гурьев удалился, приказав доктору немедленно известить его, как только у принцессы появится сознание.

Бумага, содержание которой так сильно поразило Анну Леопольдовну, был указ императрицы, предписывавший Гурьеву допросить принцессу об алмазах. Подобного содержания указы получались уже несколько раз, и принцесса отзывалась, что она не брала алмазов и никому их не передавала. Таким ответом, по-видимому, довольствовались прежде в Петербурге, но на теперешнем указе была следующая приписка, сделанная собственноручно императрицей: «А ежели Анна запирается станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи, что я принуждена буду Жульку (Юлиану) пытаться; то ежели ее жаль, то она ее до такого случая не допустила»

бы».

После этого потрясения болезнь Анны Леопольдовны пошла быстрыми, неудержимыми шагами. Тщетно Манзей заготовлял микстуры, пилюли и разные другие снадобья и напрягал свои медицинские знания, чтобы пособить принцессе; ясно было, что молодая жизнь угасала и что страдания Анны были выше ее сил.

Приближался ее последний час, и кончина ее была кончиной праведницы. Приходя не надолго в сознание, она шепотом молилась за сделавших ей зло, за своих преследователей, за клянувших и ненавидевших ее, и только при воспоминании о Елизавете она вздрагивала, и молитвенный лепет замирал на мгновение на ее иссохших губах; но Елизавете Анна готова была простить все, если бы только были пощажены ее малютки. В минуты сознания Анна силилась схватить ослабевшими руками руки мужа и целовала их.

– Я много виновата перед тобой, – говорила она ему, – прости меня... – и при этих словах крупные слезы выступали на ее потухших глазах. Сознание, однако, скоро терялось, и

тогда умирающей овладевал горячечный бред. В это время то радостная улыбка проявлялась на ее бледном лице, и она тихим голосом повторяла имя Морица, как будто припоминая что-то давно забытое, то она начинала метаться, как будто желая вскочить с постели.

– Не уводите от меня Юлиану – вы станете мучить ее; она ни в чем не виновата; виновата я, – возьмите и мучьте меня... я все вынесу... – При этом лицо ее искажалось от ужаса, и она протягивала вперед исхудавшие руки, как будто старалась удержать кого-то.

Принц сидел на постели, в ногах жены, закрыв ладонями лицо. Он глотал слезы и дрожал, как в лихорадке. Монах и доктор стояли молча в изголовье отходившей, сознавая свое бессилие подать ей духовную и телесную помощь.

– Где мои дети?.. Где мой Иванушка?.. Отдайте мне его!.. – то громко, то шепотом повторяла она. – Где он? – вдруг вскрикнула она пронзительным голосом, схватив себя в отчаянии за голову и заскрежетав плотно стиснутыми зубами. Это было последнее усилие

умирающей. Ее колыхавшаяся от волнения грудь стала подниматься все слабее, дыхание становилось труднее, и она, обводя бессознательно кругом глазами, шептала только: «Иванушка!.. Иванушка!..». Но напрасно звала она к себе своего малютку, хотя одна только глухая каменная стена отделяла ее от существа, на которое ей так хотелось взглянуть в предсмертную минуту. Она не знала, где ее сын, а между тем пронесенная за три дня до ее приезда в Холмогоры таинственная ноша был ее малютка, содержащийся теперь в заточении рядом с ней...

Бывшей правительницы не стало 7 марта 1746 года. Она скончалась двадцати семи лет от роду...

## XLVI

Перед самым отъездом из Холмогор Корф, призвав в занимаемый им особый покой Гурьева, вел с ним продолжительную беседу, приняв предварительно большие предосторожности, чтобы никто не мог подслушать их, а затем передал Гурьеву копию «цидулки», оставив подлинник ее у себя. Через несколько дней после этого, в глухую ночь привезены были подпоручиком Писаревым и самым надежным из бывших при нем унтер-офицеров бочонок спирта и выдолбленная из дерева колода, в каких еще до сих пор у нас в лесистых захолустьях хоронят покойников. Поклажу эту Писарев и служивый при помощи самого Гурьева не заметно ни для кого внесли в особую кладовую, и потом Гурьев нередко заходил в кладовую, чтобы посмотреть, нет ли утечки из бочонка.

Когда скончалась Анна Леопольдовна, и бочонок, и колода были употреблены в дело. Гурьев предъявил штаб-хирургу копию с «цидулки», содержание которой было следующее: «Ежели, по воле Божией, случится ино-

гда из известных персон смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положи в спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить по тому же, токмо сюда не присылать, а доносить нам». Засмоленную колоду с телом, обтянутую железными обручами, и бочонок с внутренностями принцессы вставили в крепкий ящик, набитый льдом. Гурьев в нескольких местах запечатал колоду и ящик своей печатью, и в ночь на 10 марта отправил тело принцессы в Петербург в сопровождении подпоручика Писарева и нескольких солдат, и, кроме того, наперед послал нарочного с пакетом на имя кабинет-министра, барона Черкасова, извещая его об отправке тела Анны Леопольдовны. Манзей принял все меры предосторожности для сохранения трупа, а стоявшие еще в ту пору морозы способствовали этим мерам. На дороге Писарев получил посланный ему навстречу из кабинета указ, в котором ему предписывалось от последней перед Петербургом станции ехать с телом принцессы прямо в Александро-Невскую лав-

ру. Приказание это было исполнено им 18 марта, и Писарев на другой же день, с находившимися при нем солдатами, отправлен обратно в Холмогоры.

Главной соперницы Елизаветы не стало, но дети Анны Леопольдовны тревожили еще ее, и она старалась скрыть их в глубокой от всех тайне. Написав принцу Антону письмо с выражением своей горести о кончине его супруги, Елизавета потребовала от него собственноручной записки о кончине принцессы, с тем, однако, чтобы он в своей записке не упоминал, что Анна Леопольдовна скончалась вследствие родов. Во «всенародных» объявлениях не было также упомянуто об этом, а оповещалось только, что принцесса скончалась от «огневицы», т. е. от горячки. Гурьеву и Писареву запрещено было говорить кому-либо о числе детей покойной принцессы.

На другой день после привезения тела бывшей правительницы в лавру были посланы повестки ко всем знатным придворным лицам. Их извещали этими повестками, что «принцесса Анна Люнебургская горячкою скончалась, и ежели кто пожелает, по христи-

анскому обычаю, проститься, то бы к телу ее ехали в Александро-Невский монастырь; и могут ездить и прощаться до дня погребения ее, т. е. до 22 числа марта». Одновременно с этим кабинет-министр, барон Черкасов, сообщил со своей стороны: петербургскому архиерею – о начатии над телом принцессы, после осмотра его врачами, установленного над усопшими чтения; синоду – «об учинении церковной церемонии к погребению принцессы, по примеру матери ее, царевны Екатерины Ивановны», и генерал-прокурору, князю Трубецкому, – «о позволении всякому приходить для прощания к телу принцессы».

Сколь возможно большое разглашение о смерти бывшей правительницы было в видах Елизаветы; но та торжественность погребения, какая предполагалась прежде, была отменена. Императрица словесно повелела синодальному обер-прокурору, князю Шаховскому: во-первых, об отпевании тела находившимися в то время налицо в Петербурге архиереями с прочим духовенством, по церковному положению, «не употребляя при этом никаких других церемоний», и во-вторых, об



именовании покойной «в потребных церковных воспоминаниях благоверною принцессою Анною брауншвейг-люнебургскою». Вместе с тем ускорено было и погребение Анны, так как оно вместо 22 числа было назначено на 21 число.

В этот день, приходившийся на пятницу вербной недели, поутру в 8 часов собрались в Зимний дворец знатнейшие особы; мужчины были в черных кафтанах, дамы – в шелковых черных платьях. В исходе 10 часа императрица и великая княгиня Екатерина Алексеевна отправились в Александро-Невскую лавру в сопровождении придворных, и по окончании погребения принцессы императрица обедала у своего духовника Дубянского, а великая княгиня – у камер-юнкера Сиверса. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, в ту пору «недомогал» и потому не был на похоронах Анны Леопольдовны.

Тело принцессы предано было земле в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, против царских врат, при сходе с солеи. В настоящее время прах ее покоится в этой церкви под плитами пола, но без всякой

надписи.

Надобно полагать, что вскоре после кончины принцессы – неизвестно, впрочем, когда именно и почему – старший сын ее, с чрезвычайными предосторожностями, был перевезен из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость. Там, 27 июня 1764 года, он был заколот приставленными к нему караульными офицерами, при безумной попытке поручика пехотного смоленского полка Мировича освободить его вооруженной рукой.

Участь других лиц, являвшихся в нашем рассказе, была следующая:

Юлиана Менгден во все время царствования Елизаветы Петровны, т. е. в продолжение с лишком двадцати лет, содержалась одиноко под самым строгим надзором в Раненбурге. Неизвестно, исполнила ли императрица свою угрозу пытаться ее по поводу исчезновения алмазов; по всей вероятности, угроза эта не была приведена в исполнение, так как она была направлена, собственно, против Анны Леопольдовны. У Шетарди встречается, впрочем, известие, что граф Линар, узнав о падении Анны Леопольдовны, прислал с нарочными в

Петербург бывшие у него драгоценности, заявив, что они были вручены ему правительницей для того, чтобы отдать их в Дрезден в переделку на новый фасон тамошним ювелирам. Петр III, по вступлении своем на престол, немедленно освободил из заточения Юлиану, которая потом жила в Риге и умерла там в 1781 году.

Судьба сестры ее, Бины, была жестока. Вспыльчивая и раздражительная, она вскоре после смерти Анны Леопольдовны впала в буйное помешательство: бранилась с представленными к ней караульными, которые нарочно дразнили ее, кидалась на них с ножами и вилками. Все это кончилось тем, что ее в холмогорском заточении продержали безвыходно в одной комнате два с половиной года, не позволяя даже ей переменить белья и подавая ей пищу из-под двери, «как собаке». Она была еще жива в 1775 году, и затем всякие сведения о ней прекращаются.

Застигнутый роковой вестью в Кенигсберге, Линар поворотил назад и, приехав в Дрезден, вступил снова в саксонскую службу; но счастливая звезда его закатилась уже навсе-

гда. Он безвестно провел остаток своей жизни и умер в 1767 году. Младший брат его был в 1776 году датским посланником в Петербурге и принимал деятельное участие в переговорах России с Данией о голштинских делах. Он оставил после себя записки о своей дипломатической службе. Потомки его существуют ныне в Пруссии, из них старшему в роде присвоен княжеский титул.

Проходил год за годом, и мертвящая тоска царила по-прежнему в холмогорском заточении. Принц Антон, пораженный потерей жены и удрученный бедствиями, быстро дряхлел и, вдобавок ко всему, совершенно ослеп. Прежде чем постигло его это ужасное несчастье, он со слезами умолял императрицу даровать ему свободу. Елизавета соглашалась на это, но с тем только, чтобы принц не брал с собой из Холмогор своих детей. Он отказывался принять это условие и, видя бесполезность своей мольбы, безропотно покорился преследовавшей его судьбе. Он начал униженно благодарить императрицу за присылку ему ничтожных подарков, как, например, за анталрома или за бочонок данцигской водки. Все

свои попечения направил он на своих подраставших детей: учил их читать и писать и, согласно мысли своей покойной жены, вселял в них равнодушие к земному величию. Он скончался 4 мая 1776 года. Тело его, положенное в гроб, обитый черным сукном с серебряным позументом, было вынесено из дома в ночь с 5 на 6 число и «тихо похоронено на ближайшем кладбище, подле церкви, внутри ограды дома, где арестанты содержались», в присутствии одних только «находившихся вверху для караула воинских чинов, с строжайшим им запрещением рассказывать кому бы то ни было о месте его погребения».

После смерти принца Антона в холмогорском заточении томились еще двое узников и две узницы. Их продолжали содержать в царствование Елизаветы с прежней строгостью. Всякое сообщение с посторонними было им запрещено, и они были лишены даже самого необходимого, как, например, обуви. Вырастая среди русских простолюдинов, они не знали другого языка, кроме русского, усвоив при том его местное наречие.

Императрица Екатерина II, вскоре по

вступлении на престол, смягчила участь детей Анны Леопольдовны, а впоследствии, убедившись, что они не представляют решительно никакой политической опасности, вознамерилась отправить их в датские владения и поручить их там покровительству родной сестры их отца, вдовствовавшей королевы датской Марии-Юлианы. Переговоры об этом начались в марте месяце 1780 года и кончились тем, что условлено было сыновей и дочерей Анны Леопольдовны поселить в Ютландии, в небольшом городе Горзенсе. В эту пору принцессе Екатерине, родившейся еще в Петербурге, было уже 38 лет. Она была белокура и походила на отца. В молодых летах она потеряла слух и, кроме того, была косноязычна. Сестре ее, принцессе Елизавете, родившейся в дюнаминдской крепости, было 36 лет. На десятом году возраста она, при падении с каменной лестницы, расшибла себе голову и страдала постоянно – особенно же при перемене погоды и в ненастье – ужасными головными болями. Одна только она походила на мать и своим умственным развитием превосходила всю свою семью. Оба ее брата, Петр и

Алексей, из которых одному было в эту пору 35 лет, а другому – 34 года, походили на отца. Из них принц Петр, поврежденный в детстве, был жалким калекой: спереди и сзади у него были небольшие горбы, правый бок и левая нога были кривы; но зато другой принц, Алексей, отличался хорошим телосложением и здоровьем, но умственно был крайне ограничен. Все они были застенчивы, робки и очень добры. Жили они между собой чрезвычайно дружно. Время они проводили в Холмогорах следующим обыкновенным порядком: летом работали в огороде, ходили за курами и утками, катались в лодке по пруду или по двору в старой архиерейской карете, читали церковные книги и играли в карты и шашки. Принцессы, кроме того, занимались шитьем белья.

Когда перед отъездом холмогорских узников в Данию их посетил, по приказанию императрицы Екатерины, местный генерал-губернатор Мельгунов, то принцесса Елизавета сказала ему, между прочим, следующее:

– Отец наш намерен был ехать в свою землю. Тогда для нас было очень желательно жить в большом свете: по молодости своей

мы еще надеялись научиться светскому обращению. Но в теперешнем положении нам не остается ничего больше желать, как только жить здесь, в уединении. Рассудите сами, можем ли мы желать чего-нибудь другого? Мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и здесь почти состарились. Теперь большой свет не только для нас не нужен, но он нам и мы ему были бы в тягость; мы не знаем, как обходиться с людьми, а научиться этому уже поздно. Мы просим вас, – продолжала принцесса со слезами и поклонами, – исходатайствовать нам у ее величества милость, чтобы нам позволено было выезжать из дому на луга для прогулки; мы слышали, что там есть цветы, каких у нас нет...

Вдобавок к этому принцесса Елизавета сказала Мельгунову, что хотя по милости государыни ей и сестре ее присылают из Петербурга разные наряды, но они не употребляют их, потому что ни прислуга, ни они сами не знают, как надевать и носить их, почему и просила, чтобы был «прислан такой человек, который умел бы их наряжать».

В час ночи с 26 на 27 июня 1780 года Мель-



гунов перевез на лодке принцев и принцесс из Холмогор в Новодвинскую крепость. При виде ее они ужаснулись, полагая, что их везут в место нового, еще более сурового заточения, но опасения скоро миновали. У крепости стоял наготове военный фрегат «Полярная Звезда», который в ночь на 30 июня и повез их в Данию, под другим названием и под купеческим флагом. Императрица Екатерина щедро одарила принцев и принцесс и назначила им всем ежегодную пенсию в 32000 рублей. 13 октября 1780 года брауншвейгское семейство прибыло в Горзенс. Туда же приехали с ними православный священник и русская прислуга.

Тихо и дружно между собой жили в этом безвестном городке дети Анны Леопольдовны. Из них первой скончалась Елизавета, 20 октября 1782 года. Спустя пять лет, 23 октября 1787 года, умер принц Петр, за ним скончался принц Алексей 30 января 1798 года. Одинокой осталась теперь принцесса Екатерина; пребывание в Горзенсе сделалось ей невыносимо, и она просила императора Александра Павловича о позволении возвратиться в Россию,

для поступления в монашество. Ответа на эту просьбу не было дано никакого, и 9 апреля 1807 года ее не стало.

На принцессе Екатерине окончилась печальная летопись этого злосчастного семейства, – летопись, полная слез и бедствий и обогрелая кровью ни в чем не повинного страдальца...

# УЗОРЫ РОМАНИСТА (Взгляд Евгения Карновича на историю)

Весьма известный до революции, разносто-  
ронне образованный, часто публиковав-  
шийся в газетах и журналах писатель, исто-  
рик, журналист Евгений Петрович Карнович  
сегодня оказался среди неоправданно забы-  
тых литераторов. Как это нередко случалось,  
не профессиональный уровень, не тематика  
его работ, но единственно взгляды на истори-  
ческий процесс, оказавшиеся несозвучными  
и потому неприемлемыми, послужили основ-  
ной причиной для искусственного отторже-  
ния Евг. Карновича от русского читателя на  
протяжении восьми десятилетий.

Устраняя эту очевидную несправедли-  
вость, полагаем целесообразным вкратце рас-  
сказать об авторе публикуемого романа.

Родился Евгений Карнович в с. Лупандине,  
неподалеку от Ярославля, 28 октября 1824 го-  
да в добропорядочной дворянской семье. По-  
сле того как стараниями приглашенных учи-

телей ему была дана разносторонняя домашняя подготовка, Карнович поступил в столичный педагогический институт.

Существенный перелом в том, что принято именовать устоявшимся течением жизни, произошел за три года до окончания курса; в 1841 году скончался его отец, после чего выяснилось, что финансовое состояние семьи прямо-таки чудовищно: сплошь долги. (Расхожая ситуация, не случайно она проецировалась на судьбы многих персонажей русской литературы XIX века.) В этой связи молодому человеку пришлось серьезно подумать о добывании средств. Замыслы у Карновича тех лет были честолюбивые, связанные с профессиональными занятиями литературным трудом, – однако подобного рода прожекты он вынужден был на время отставить.

В последовавшие за окончанием (1844) института полтора десятка лет акцент пришлось сделать на зарабатывании денег. С 1844 по 1849 г. Евгений Карнович служил преподавателем в одной из гимназий Калужской губернии, затем был переведен в Виленский учебный округ – чиновником при канцеля-

рии виленского генерал-губернатора, затем – правителем дел в канцелярии попечителя местного учебного округа. После выхода в 1859 г. в отставку, Е. П. Карнович, до того уже сумевший напечатать несколько статей и очерков в периодике, да, кроме того, переведший с греческого Аристофановы комедии («Облака» и «Лизистрата» – оба пер. 1845), перебрался в Петербург, где всецело занялся литературной деятельностью.

История и художественная литература в наибольшей степени привлекали Евгения Карновича. Не отдавая предпочтения какому-либо из двух направлений, он старался равномерно распределять свои силы между написанием научных исследований, популярных исторического же характера работ, а также рассказов, повестей и романов из прошлого России.

Несколько облегчал множественность, сложность его замыслов тот факт, что практически все сочинения Карновича повествовали о различных событиях, разных аспектах одного и того же – XVIII века русской истории, – так что подготовительные материалы

для какой-либо статьи могли быть использованы также в дальнейшем при написании художественных произведений. Конец 50-х и 60-е годы ознаменованы в творчестве Евгения Карновича созданием целой серии сугубо исторических работ. В этот период он продолжает начатую с 1857 года на страницах «С.-Петербургских ведомостей» публикацию очерков о польской старине (отдельное издание в 1873 г.), а также печатает работы: «Санкт-Петербург в статистическом отношении» (1860), «Исторические и статистические сведения о существующих ныне государствах» (1860), «О разработке статистики народного просвещения в России» (1863), «Еврейский вопрос в России» (1864), «О развитии женского труда в Петербурге» (1865).

Благодаря широкой эрудиции, умению вычленить существо проблемы и доходчиво изложить свою точку зрения, газетные и журнальные выступления Евгения Карновича привлекали читателей. В авторах такого уровня, такой профессиональной подготовки нуждались тогдашние периодические издания. Не случайно Карнович получал много-

численные предложения выступить по тому или иному поводу в печати. С 1865 по 1875 г. он был постоянным сотрудником газеты «Голос», в 1875-76 редактировал «Биржевые ведомости», в 1881-82 редактировал журнал «Отголоски». Еще более расширилась его читательская аудитория в связи с публикацией, начиная с начала 70-х годов, многочисленных работ по вопросам юриспруденции. Эти материалы охотно печатали известные в России периодические издания; он сотрудничал в «Русской старине», «Древней и новой России», «Историческом вестнике», «Русской мысли», «Неделе», «Наблюдателе», «Народной школе», «Нови».

Занимаясь историческим анализом, – на основе чего писал монографические труды, – не чурался Карнович и более легкого, научно-популярного, как сказали бы мы сейчас, жанра: компилятивные в своей основе, исторические книги «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий», «Исторические рассказы и бытовые очерки», «Замечательные богатства частных лиц в России», «Родовые прозвания и титулы в России и сли-

ание иноземцев с русскими» создали автору репутацию талантливому популяризатора исторических знаний.

Накопленный за годы работы материал позволил Евгению Петровичу Карновичу сравнительно легко сочинять исторические повести и романы. О помянутой сравнительной легкости беремся судить по формальному признаку – частоте создания художественных произведений. Вслед за целой серией рассказов он печатает роман «Мальтийские рыцари в России», а затем – буквально через год после этого – роман «Любовь и корона», свое наиболее удачное произведение данного жанра.

В русской истории XVIII век – бабий, истинно. С момента прихода к власти царевны Софьи, занимавшей трон в 1681-89 гг. («бабий век», таким образом, несколько опередил XVIII век, хотя и закончился пораньше: вышло «так на так»...), с единственным долгим перерывом, пришедшимся на эпоху Петра Великого, во главе России практически постоянно стояли женщины. Поначалу сие вызывало шок – самим, что называется фактом; впо-



следствии общество привыкло, как будто так и надо... Женское правление из национально-го курьеза превратилось в этакую элегантную традицию.

Екатерина I, Анна Иоановна, Анна Леопольдовна, Елизавета, Екатерина Великая. Пять имен, пять колоритных исторических периодов, среди которых не всякий решится выделить и безусловно предпочесть какой-либо один. С точки зрения генерирования позитивных для России явлений условное первенство (в истории, по сути своей, все у с л о в н о) мы бы отдали Екатерине II, однако в том, что касается личностного неблагополучия, – тут, пожалуй, все пять женщин приблизительно равны.

Наименее продолжительное время среди пятерых помянутых женщин находилась у власти Анна Леопольдовна, в лютеранском своем девичестве Елизавета-Екатерина-Христина, – с ноября 1740 года по ноябрь 1741 г. Или, точнее, 381 день. Таким образом, уже в самом выборе главной героини сказался исследовательский интерес писателя. Да кроме того, читать исторический роман, повествуя-

ций о сравнительно малоизвестном периоде истории, – для многих интереснее. Так что в этом отношении литературный расчет Е. Карновича оказался правильным.

А для исторического романиста правильный выбор н а т у р ы – это уже полдела. По прошествии века с момента появления романа мы сегодня решились бы утверждать, что «Любовь и корона» – одно из лучших произведений отечественной словесности, посвященное тому времени, когда Россия от архаичного во многом века Анны Иоановны перешла к европеизированной эпохе Елизаветы. Правление Анны Леопольдовны и явилось таким логически необходимым элементом-переходом, когда русская история делала вдох, переводила дыхание. Тем и примечательно.

На девять десятых роман «Любовь и корона» – это повествование о молодой (по сегодняшним понятиям – так совсем молодой), двадцати одного года от роду, женщине, которая волею судеб фактически сделалась правительницей страны проживания. Месяцы ее правления оказались не лучшими для России; месяцы эти давали не раз и будут еще

предоставлять материал для литераторов, – поскольку давно подмечено, что чем хуже то или иное время для страны, тем оно лучше для историков – и тем более для художников, степень вольности обращения с материалом у которых значительно выше.

На долю спокойного, выдержанного, без чрезмерных панегирических интонирований, базирующегося на солидной документальной основе романа о времени Анны Леопольдовны выпал немалый читательский успех. Впрочем, успех, рискнем тут мы предположить, оказался бы и значительнее, когда бы не одно обстоятельство, досадное для Евгения Карновича, курьезное с точки зрения сегодняшнего читателя, вовсе не единичное в истории отечественной литературы.

Карновича невероятным образом опередил Всеволод Соловьев!

Уже после того, как Евгений Карнович закончил сбор материала, логически выстроил фрагменты в единое повествование и даже написал значительную часть книги, – вдруг появляется на прилавках добротный, умный, фактологически достоверный роман «Капи-

тан гренадерской роты», действие в котором происходит в те же, что и у Карновича, месяцы русской истории.

Два больших произведения, построенных на сходных материалах и повествующих об одном и том же хронологическом периоде для книжного рынка 70-х годов XIX века был перебор. Только при умелом распоряжении собранным материалом, при нахождении удачного авторского ракурса мог Карнович рассчитывать на последующий читательский и, следовательно, издательский успех. Иначе говоря, ему предстояло решить, насколько целесообразно выходить на публику с «Любовью и короной» – при том, что трактовать эту проблему приходилось так: что нового роман «Любовь и корона» предложит читателям.

И тут Евгений Карнович показал себя умелым тактиком.

Он, безусловно, понимал, что Вс. Соловьев написал без преувеличения хорошую книгу: интригующую читателя, исполненную легкой, что называется, рукой, с мобильным действием. Зная свой тяжеловатый слог, свою обстоятельную манеру изложения фактов, в по-

мянутых выше областях с Соловьевым он конкурировать едва ли мог. Следовательно, требовалось найти чужие слабые качества и вместо них продемонстрировать сильные.

Вс. Соловьев своим романом «Капитан гренадерской роты» продолжал, едва ли отдавая себе в том отчет, традицию гоголевского «Ревизора» в том, что касается соотношения между формальным заявлением темы (название) и ее воплощением. Подобно тому, как «Ревизор» есть все, что угодно, только не повествование о ревизоре, – так и «Капитан...» – не рассказ о Елизавете, иносказательное прозвание которой вынесено в название соловьевского романа. Однако дело не только и не столько даже в этом. Соловьев сумел написать исторический роман, роман о дворцовых переворотах 1740-41 гг. практически без Анны Леопольдовны, которая у него отнесена к персонажам второго, если не третьего ряда. Из «Капитана гренадерской роты» читатель узнает о Бироне, Минихе, Остермане, а также о Елизавете, Лестоке, де ла Шетарди куда больше, чем о центральной фигуре того периода. Говоря таким образом, мы, однако, не

склонны специфику романного структурирования рассматривать как элемент, позволяющий делать о ц е н о ч н ы е выводы. У Всеволода Соловьева получился хороший роман – без Анны Леопольдовны; этим и решил воспользоваться Карнович, намерившийся-таки довести замысел до логического конца.

Прежде всего, он решительно, таким шахматным, пожалуй, даже ферзевым прорывом вывел Анну Леопольдовну на авансцену; когда правительница и не особенно нужна автору, она продолжает оставаться на переднем плане повествования. В первом, что называется, приближении «Любовь и корона» рассказывает именно об Анне Леопольдовне. И эта подробность выгодно отличает запоздалый роман Карновича. Еще одной существенной особенностью «Любви и короны» оказалось концентрирование авторского внимания на фигурах ближайшего к правительнице возрастного круга. Так, если 29-летний Вс. Соловьев рассказывает главным образом о солидных, немало поживших на свете, в бытовом отношении опытных и ушлых людях, то роман 55-летнего Евгения Карновича – о со-

всем еще молодых людях. Соловьев рассказывает о том, как делят власть; Карнович ведет речь о том, как люди дружат, любят (или не любят), как пожинают плоды житейской юношеской неосмотрительности.

Намеренно отходя от элементарной анимации исторических событий, Карнович рассказывает и аргументированно заключает, что молодая правительница потеряла власть главным образом потому, что фактически ее, власть эту, не приобретала; легко доставшееся было столь же легко и отторгнуто. Да и прежде, то есть до насильственного отторжения, власть не представляла для правительницы большой ценности и практически не использовалась ею.

Впервые опубликованный в 1879 году, роман «Любовь и корона» получил хорошую прессу и был несколько раз переиздан. Книга пришлась читателям по вкусу – своей размеренной, спокойной тональностью, насыщенностью малоизвестными фактами. На это, в частности, обращал внимание рецензент влиятельных «Отечественных записок» (№ 12, декабрь 1879 г.), написавший: «Между нашими

многочисленными историческими романистами г. Карнович избрал себе благую часть: он не приукрашивает истории, не драматизирует исторических фактов, а рассказывает, как все и происходило в действительности, спокойно, просто и несколько сухо... Читателю гарантирована верность изображаемых фактов...». Тот же рецензент справедливо замечает, что по добросовестному привлечению всех сколько-нибудь примечательных материалов и бережному препарированию не только исторических фактов, но даже реплик подлинных участников рассматриваемых событий роман «Любовь и корона» имеет некоторое сходство с трудом профессионального историка.

С конца семидесятых годов Евг. Карнович начал писать легко, на одном дыхании. Вслед за упомянутыми выше он издал еще целый ряд повестей и романов исторической тематики: «Самозванные дети» (1880), «Придворное кружево» (1885), «Сельская жизнь» (1886), «Пагуба» (1887), «Переполох в Петербурге» и «Лимон» (1887).

Более чем через столетие с момента созда-



ния и через много десятилетий после своего последнего издания в России произведение Е. Карновича о давних перипетиях нашей истории из вынужденного затворничества в фондах крупнейших библиотек приходит теперь в новой орфографии – к новому читателю.

*Константин Новиков*